

844(НЕМ)
С-56

СОВРЕМЕННЫЕ НЕМЕЦКИЕ ПЬЕСЫ

Г. БЕНДЕР • М. БИЛЕР • В. БОРХЕРТ • В. БРЕДЕЛЬ • Б. БРЕХТ

М. БРУНС • Г. БЁЛЛЬ • Р. ВЕЙС • С. ГЕЙМ

Г. ГЛОГЕР • А. ДЁБЛИН • А. ЗЕГЕРС • В. ЙОХО • К. КАММЕР

П. КЁРНЕР-ШРАДЕР • Э. ЛЕНЦ • К. МУНДШТОК • Г. МЮЛЛЕР

Г. ПУМП • Х. РАУХФУС • И. РИХТЕР-ДЕ ВРОЕ • Б. РИТГОФ

Л. ФЕЙХТВАНГЕР • Л. ФРАНК • Ф. ФЮМАН • Г. ХАУЗЕР

С. ХЕРМЛИН • Р. ХЁНЕ • Э. ШТРИТТМАТТЕР

И(нем)

С 56

СОВРЕМЕННЫЕ НЕМЕЦКИЕ РАССКАЗЫ

1945—1955

69

ПЕРЕВОДЫ
С НЕМЕЦКОГО
ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Н. КАСАТКИНОЙ
Р. РОЗЕНТАЛЬ
В. СТАНЕВИЧ

КОПИЕ А НГПИ
Коп. № 38070

1959 г.

07

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ!
МОСКВА · 1959

**Составитель
и автор предисловия
СЕРГЕЙ ЛЬВОВ**

ПРЕДИСЛОВИЕ

В 1951 году Издательство иностранной литературы выпустило сборник немецких рассказов, относящихся в основном к первым послевоенным годам («На переломе»). Хронологические рамки нового сборника шире: он охватывает рассказы немецких писателей из числа созданных за десять-двенадцать лет после окончания второй мировой войны.

События недавней истории и животрепещущие явления современности определили их темы. Болью пронизаны страницы рассказов, говорящие о трагедии, которую народам мира, в том числе и немецкому, принесло кровавое господство фашизма. Гордостью и волнением дышат строки, посвященные антифашистской борьбе, ее героям и мученикам. С горечью говорят рассказчики о тех сторонах недавнего прошлого Германии, которые облегчили фашизму приход к власти.

Многие писатели, представленные в этой книге, стремятся отразить глубокие изменения в жизни страны и сознании немцев после разгрома гитлеровской военной машины, когда «третья империя» рухнула, оставив как зловещую память о себе бесчисленных убитых и искалеченных, разрушенные города и изувеченные судьбы. Другие писатели обращаются к событиям более поздним. Их рассказы связаны с послевоенной действительностью Германии, когда на ее земле ясно обозначились два противоположных пути развития.

Один путь — это путь Восточной Германии. Здесь ликвидировано господство юнкеров и монополий, уничтожен милитаризм и сама возможность его возвращения, искоренен нацизм. Здесь создано государство трудящихся — Германская Демократическая Республика, ставшая важным фактором мира в Европе, строящая социализм.

Другой путь — это путь Западной Германии, где восстановлено всевластие монополий, возрожден милитаризм и процветают идеи реванша, где создано государство, которое привязало себя к агрессивной политике Североатлантического пакта.

Существование двух немецких государств с различным общественным устройством отражается на развитии современной немецкой литературы.

Творчество писателей ГДР питается новой действительностью. Оно развивается в тесной связи с жизнью республики. В нем с каждым годом все сильнее звучат не только мотивы резкой критики прошлого, но и активного утверждения настоящего. Продолжая и разрабатывая традиции реалистического искусства, писатели ГДР обогащают их новыми художественными принципами, присущими методу социалистического реализма.

Прогрессивные западногерманские писатели работают в обстановке открытого наступления милитаризма. Они вынуждены завоевывать позиции на книжном рынке, наводненном реваншистской и неонацистской литературой. Они обращаются к читателю, который находится под сильным воздействием всей реакционной литературы Запада. Творчество этих писателей сложно и противоречиво. Нередки случаи, когда западногерманский писатель, придерживающийся антивоенных и антифашистских политических взглядов, в своей художественной практике отражает всевозможные влияния модернизма.

Деление нашего сборника на две части — рассказы писателей ГДР и рассказы писателей ФРГ — отвечает реальным условиям и реальным особенностям развития современной немецкой литературы. Однако при всех различиях между литературой ГДР и литературой ФРГ, прогрессивные немецкие писатели и на востоке и на западе страны хотят помочь будущему объединению Германии как миролюбивого и демократического государства. Они понимают, что путь к такому объединению лежит через контакты и соглашения между обоими немецкими государствами. Эта идея, которую последовательно отстаивает в своей политике Германская Демократическая Республика, находит отклик среди части литераторов ФРГ, ее горячо поддерживают все писатели ГДР. Об этом свидетельствуют и совместные декларации писателей обоих немецких государств и некоторые совместные издания, например

«Немецкие голоса 1956 года», где представлены произведения писателей ГДР и ФРГ. Существование общих реалистических традиций и гуманистических устремлений позволяет и нам объединить в одной книге рассказы писателей ГДР и рассказы прогрессивных писателей ФРГ.

Во время господства гитлеризма в Германии многие ее лучшие писатели находились в эмиграции. Некоторые из них по разным причинам после окончания войны не вернулись на родину, а такой, например, романист и рассказчик, как Дёблин, хотя и вернулся, но, горько разочарованный западногерманской действительностью, на склоне лет вновь покинул страну и умер во второй эмиграции. Творчество писателей-эмигрантов, разумеется, в большей степени принадлежит современной немецкой литературе, чем литературе тех стран, где они жили последние годы. В нашем сборнике эти писатели представлены рассказами Фейхтвангера и Дёблина.

Читатель встретит в этой книге представителей разных поколений немецких рассказчиков — от таких известных и старых мастеров, как Б. Брехт, А. Зегерс, Л. Франк, В. Йохо, до молодых прозаиков, как, скажем, западногерманский писатель Бёлль или Гейнер Мюллер — прозаик и драматург, ставший известным в ГДР в самые последние годы.

Возможности рассказа очень широки. Мы включили в книгу и рассказы, граничащие с очерком, и такие, которые по объему и разработке характеров приближаются к повести, и, наконец, типичные для современной немецкой прозы короткие рассказы, нередко выделяемые критикой в особую жанровую группу.

* * *

Нет нужды характеризовать в предисловии все включенные в книгу рассказы, но нужно и можно кратко очертить главные идейно-художественные проблемы, с ними связанные.

В течение всех послевоенных лет для прогрессивной немецкой литературы сохраняла и сохраняет свою остроту и важность тема второй мировой войны. Правдиво и глубоко изобразить ее причины и следствия, показать, какую трагедию нес миру германский империализм, какие бедствия были уготованы человечеству гитлеровскими воен-

ными авантюрами и сколь пагубна была политика фашизма для самой Германии, означало помочь целым поколениям немцев сделать из прошлого выводы для настоящего и для будущего.

Эта тема особенно важна и сложна потому, что современный немецкий писатель, который военную тему раскрывает с антивоенных позиций, имеет сильного противника. Пропаганда милитаризма в литературе Западной Германии прибегает к самым различным, зачастую весьма изощренным приемам. Идеи агрессии выражаются не только на страницах откровенно реваншистских «воспоминаний» генералов разбитого вермахта, не только в примитивных повестях бывших геббельсовских репортеров, которые расписывают войну как цепь увлекательных приключений. Проповедь реакционных взглядов на войну в книгах западногерманских писателей нередко гримируется то поверхностной пацифистской терминологией, то скрывается за внешним подражанием широко известным книгам о «потерянном поколении», то предстает в обличье будто бы аполитичных, будто бы беспристрастных «свидетельств очевидцев».

Один из излюбленных приемов этой литературы — беллетризация пропагандистского лозунга о «солдатском товариществе», которое-де стирало в вермахте все социальные различия, объединяя «окопным братством» всех — от солдата до генерала. Лучшие немецкие писатели среди прочих нацистских мифов разоблачают и этот миф, особенно живучий, особенно часто выражавшийся средствами литературы.

Литературная критика ГДР по достоинству оценила включенный в наш сборник рассказ Франца Фюмана «Однополчане», как одно из наиболее значительных произведений о войне в современной немецкой прозе. Молодые люди, действующие в этом рассказе, — грубые парни, удачливые стрелки, разбитые любители выпивки — поначалу выглядят образцовыми персонажами из бесчисленных книг, написанных ради прославления солдатчины и возвеличения тех «ландсеров», для которых-де нет выше чувства, чем «фронткамерадшафт», и гимна, более волнующего, чем солдатская песня «Был у меня товарищ». Но первая же роковая случайность, грозящая однополчанам бедой, как непрочную шелуху, сдирает с них обличье преданных друзей. Ради спасения собственной шкуры они

начинают шпионить друг за другом, они готовы пойти на любую ложь, любое предательство, любое преступление. Фюман показывает, что это мгновенное превращение не случайность, оно порождено всем фашистским воспитанием. Так осуществлялась проповедь о «сверхчеловеке», такими были плоды аморализма, возведенного нацистами в степень государственной доктрины.

Во многих рассказах сборника изображено прозрение немецкого солдата, приходящего к пониманию преступности гитлеровской войны. В соответствии с суровой исторической правдой оно изображается как запоздалое прозрение.

На эту тему написан рассказ Карла Мундштока «До последнего солдата». Он содержит не только расчет с фашизмом, но и развенчание индивидуализма. Не случайно центральный персонаж этого рассказа действует в обстановке, в которой так любят изображать своего героя — сильную одинокую личность — современные западные писатели, подновляющие проповедь буржуазного индивидуализма. Здесь есть все внешние аксессуары повествования о «настоящем мужчине»: и безмолвные снежные горы, и ледяная стужа, и погоня на лыжах, и столкновение с преследователем один на один. Но они переосмыслены прозаиком, служат не прославлению сильного одиночки, а развенчанию его слабости. Только в последний час своей жизни герой рассказа начинает понимать, что его привели к гибели и фашизм, и его собственное бездействие перед лицом фашизма, и его собственное убежденное одиночество.

Одним из краеугольных камней фашистской идеологии было требование слепой, ничем не ограниченной верности «фюреру». Остро и сильно разоблачена проповедь этой покорности, а вместе с ней и злоещее позерство фашизма, его претензии на героические роли, оборачивающиеся подлым и кровавым фарсом, в рассказе Гейнера Мюллера «Железный крест», действие которого разворачивается в последние дни войны.

Ряд рассказов писателей ГДР, включенных в сборник, относится к первым послевоенным годам: здесь запечатлены первые шаги трудящихся, осознающих себя хозяевами своей судьбы, строителями новой действительности. Эрвин Штриттматтер рисует эпизод из жизни деревни в Восточной Германии вскоре после земельной реформы («И все это ради пяти бананов?»), Пауль Кёрнер-Шрадер

(«Иоганн Вильке читает книгу») изображает тот период, когда создавались первые коллективные хозяйства в деревне, Рудольф Вейс («Первый вечер») повествует о том, как нелегко начинали свою работу активисты Культурбунда.

Рассказы эти, интересные своим материалом, тем, что они посвящены большим преобразованиям и значительным процессам в жизни народа, художественно неравноценны. Если рассказу Кернера-Шрадера присущ некоторый схематизм в обрисовке действующих лиц, а Рудольф Вейс кое-где срывается на очерковую манеру письма, то пластическим словесным мастерством, безусловно, отмечен рассказ Штриттматтера. Писатель великолепно владеет и бытовым деревенским говором и символикой контрастных поэтических образов. Различие в судьбе тех, кто ощутил себя хозяином на земле, полученной после земельной реформы, и тех, кто бежал на Запад и мыкается теперь в барачных лагерях, воплощено в двух образах, проходящих через всю ткань рассказа: спелые, брызжущие соком груши в руках крестьян-новоселов и высохшая, съезжившаяся гроздь бананов. Беглец прислал ее в родную деревню, как весть о преуспевании, но односельчане прочли по ней утаенную правду о горьком вкусе подачек, полученных на чужбине...

С рассказом Штриттматтера перекликается рассказ Стефана Гейма «Бацилла», хотя его действие происходит в иные годы, а центральным персонажем является не крестьянин, а интеллигент. Доктор Геппнер, бежав на Запад, получил, правда, не засохшую гроздь бананов в лагере для перемещенных лиц, а текущий счет в банке и прочие жизненные блага. И все-таки он чувствует себя обманутым и обокраденным, ибо после работы в ГДР ему уже трудно становиться в положение высокооплачиваемого, но безгласного слуги буржуазных концернов.

Писатели ГДР постоянно размышляют о современных судьбах молодежи на востоке и западе страны, ибо эти мысли неотделимы от мыслей о будущем немецкого народа. Этой теме посвящены рассказы Ирены Рихтер-де Врое, Марианны Брунс, Манфреда Билера, Катарины Каммер, Хильдегард М. Раухфус.

Иногда, например, в рассказе Рихтер-де Врое «Полицейский вахмистр Ротдорн возвращается на родину», столкновение прошлого и настоящего воплощается как

коллизия отцов и детей. Молодой актер — Ротдорн младший — идет на разрыв не только с отцом, но и со всем тем, что в его сознании олицетворяет вахмистр Ротдорн — военный преступник, чествуемый в Западной Германии. И этот конфликт с отцом, назревавший с детства как эмоциональная неприязнь душевно тонкого человека к грубому солдафону становится теперь непримиримым идейным столкновением: сын твердо ощущает свою связь с новой действительностью ГДР и свое неприятие западногерманского образа жизни.

Разумеется, грань между старым и новым не всегда проходит там, где пролегает она в рассказе Рихтер-де Врое. Женщина-врач из рассказа Катаринны Каммер связала свою жизнь с антифашистской борьбой и коммунистической партией, порвала с мужем-нацистом и была вынуждена оставить дочь. Нелегко ей было спустя много лет объяснить дочери, выросшей в Западной Германии и воспитанной отцом в его духе, почему она избрала свой путь — путь борьбы за мир, демократию, прогресс. И это стремление во что бы то ни стало объяснить дочери прошлое, чтобы помочь ей в настоящем найти место по эту сторону баррикады, составляет не только идею рассказа «Другого пути нет», но как бы воплощает ту борьбу, которую ведет прогрессивная немецкая литература за души всей немецкой молодежи, в том числе и молодежи Западной Германии.

Юные герои рассказа Манфреда Билера «Птичник» не знают тех колебаний, которыми отмечен путь юноши в рассказе Рихтер-де Врое и девушки в рассказе Каммер; они не только выросли в новой послевоенной действительности демократического государства, но всецело ей принадлежат, принадлежат всем строем сильных чувств, всей цельностью здорового мироощущения. Не для того, чтобы омрачить ясный солнечный свет, пронизывающий атмосферу этого счастливого дня, появляется человек, который рассказывает юноше, как некогда здесь, где он сидит с любимой девушкой, штурмовики истязали его отца. Юные живут в настоящем и для будущего, но они должны знать о прошлом, потому что прошлое не сдалось без боя, оно притаилось в тени и готовится к атакам на новую жизнь, которую нужно уметь защитить.

В рассказе Стефана Хермлина «Комендантша» изображена одна из таких атак — фашистская провокация, орга-

низоманная против ГДР в июне 1953 года. Хермлих показывает, как реакционеры, поднявшие голову в дни путча, и даже бывший надсмотрщик гитлеровского концлагеря, изображающая, что вновь наступает ее время, маскировали суть своих действий демагогической фразеологией «европейского единства» и «защиты западной демократии». И это разоблачение фашизма под новым камуфляжем придает рассказу своеобразную политическую остроту.

Заслуженно большое место в творчестве писателей ГДР занимает тема интернациональной солидарности трудящихся в борьбе с реакцией и империализмом. Эта тема звучит и в рассказе Вилли Бределя «История автослесаря Лю Фэн-хао и студентки Лин Пи-фань», написанном на материале китайских событий 1919 года; проходит она и сквозь рассказ Гаральда Хаузера «У подножия Спящего Рыцаря», посвященный боевому союзу антифашистов разных национальностей в годы второй мировой войны. Интернационализм немецких прогрессивных писателей проявляется и в пристальном интересе к жизни простых людей разных стран мира. Об этом, например, свидетельствует рассказ Анны Зегерс «Крисанта», говорящий о горькой и трудной судьбе мексиканской девушки.

...Особо нужно сказать о единственном рассказе исторического жанра «Сладкая горечь ночных теней», который принадлежит перу Рейнгарда Хёне и воссоздает одну из страниц биографии замечательного художника Возрождения Альбрехта Дюрера. Этот рассказ был включен в книгу «Немецкие голоса 1956 года». Выбор составителей был не случаен: Дюрер — один из значительнейших представителей гуманизма, к традициям которого обращаются прогрессивные деятели культуры современности. Рейнгард Хёне стремится показать, что большой художник, оценивая значение своего дара и смысл своего труда, измеряет их самой высокой мерой — необходимостью людям. Пусть вывод облечен в форму рассуждений художника на евангельские мотивы. Это не делает рассказ мистическим. Ведь в эпоху Дюрера самые передовые идейные искания нередко выступали в религиозном обличье.

Таковы главные темы, такова основная проблематика рассказов, созданных писателями ГДР в период 1945—1955 гг.

Скольким нападкам подвергалась литература ГДР со стороны буржуазной критики и ее ревизионистских под-

голосков! И хотя внутренние причины для этих атак были, разумеется, политическими, они маскировались рассуждениями о нивелировке формы, об утрате художественного своеобразия. На самом же деле, как не похожи друг на друга рассказчики ГДР, как широк диапазон прозы, которая включает в себя произведения Фюмана и Штриттматтера, Мундштока и Хермлина, Зегерс и Гейма!

* * *

Наиболее сложным и противоречивым среди всех западногерманских рассказов, представленных в сборнике, является рассказ Вольфганга Борхерта «Вдоль по длинной, длинной улице». Вместе с тем это, пожалуй, самое характерное произведение писателя, трагический жизненный путь и творчество которого оказали большое воздействие на западногерманских литераторов, стоящих на антимилицаристских позициях.

В прозе Борхерта постоянно и сильно звучит мотив осуждения захватнической войны, отвращения к ее жестокости и преступности. Его рассказы проникнуты жгучей болью, вызванной мыслями о жертвах войны, презрением и ненавистью к тем, кто на ней наживался. Наконец в них выражено пламенное желание предостеречь людей против опасностей новой войны, угрозу которой Борхерт ощущал даже в самые первые послевоенные годы. Но и рассказ «Вдоль по длинной, длинной улице» и другие его произведения обнаруживают противоречие между идеей — важной и нужной людям — и ее болезненно-осложненным выражением. Свою антивоенную проповедь, звучащую как стон и крик человека, преследуемого неотвязными воспоминаниями, Борхерт выражает в приемах экспрессионистского письма, доведенных до предельной сложности. Этим он, разумеется, несколько ослабил воздействие своих книг на широкий круг современников.

Антивоенной теме посвящены и некоторые другие рассказы западногерманских писателей. Интересно, что рассказ «Июньская ночь» Ганса Бендера по-своему перекликается с уже охарактеризованным нами рассказом писателя ГДР Манфреда Билера «Птичник». В рассказе Бендера молодые влюбленные, полные своим юным счастьем, натываются на столб, у которого был расстрелян солдат, в последние дни войны восставший против ее бессмыслен-

ности. Память о его судьбе — предостережение для тех, кто сегодня молод. Эта мысль, не продекларированная автором, а составляющая внутреннюю суть его рассказа, очень важна для Западной Германии. Там есть немало охотников отвлечь молодежь от важных проблем современности, прежде всего от проблемы войны и мира проповедью бездумного эгоизма, мнимой нейтральностью в политических вопросах. И когда западногерманский прозаик всем подтекстом рассказа говорит своему читателю, как это делает Бендер: нет личного счастья, которое было бы свободно от воздействия прошлого и настоящего твоей страны, от ее истории и ее политики, — это очень важно.

Один из виднейших немецких писателей старшего поколения Леонгард Франк представлен в сборнике рассказом «Портрет». Богатая старуха, слепо преданная гитлеризму, гибнет под развалинами собственного дома, разрушенного бомбардировкой, но и мертвая она мешает жизни, отравляя воздух смрадом тления. Ее образ становится гротескным символом фашизма.

Правящие круги ФРГ охотно украшают свою политику демагогическим морализаторством на христианские темы. Подлинная сущность той христианской морали, которую буржуазия приспособила себе на потребу, облик современного священника-дельца, бойко извлекающего выгоду из торговых сделок и конъюнктурных трудностей паствы, со злым сарказмом обрисованы в рассказе «Долги платить — в мире жить» Готгольда Глогера. А созданный в нем портрет «почтенного бюргера», преуспевающего дельца и лицемерного ханжи, и душный мирок воинствующего филистерства запечатлены в этом рассказе так, словно в Западной Германии никогда и не умирал родной город Дитриха Гесслинга, увековеченный в «Верноподданном» Генриха Манна.

Критики нередко указывают на католицизм талантливого западногерманского писателя Генриха Бёлля, причем подчас связывают это обстоятельство с оценкой его творчества. Но достаточно прочитать его рассказ «Приключение», чтобы увидеть, сколь формальна эта характеристика. Право же, трудно придумать более злой портрет современного католицизма, чем созданный Бёллем. Чего стоит храм — этот духовный профилакторий, где дежурные исповедники, которых вызывают звонком только что согрешив-

шие прихожане, дают грешникам экстренное отпущение грехов по деловито сокращенной программе!

На первый взгляд может показаться, что другой рассказ того же автора «И был вечер, и было утро...» — всего лишь бытовая зарисовка. Но как сильно передано в нем ощущение бессмысленной пустоты жизни без идеи и цели! Герой рассказа еще не знает, как и во имя чего хочет он прожить свою жизнь, но при одной мысли о том, что его жизнь может пойти по бессмысленному маршруту мещанского существования, ему становится страшно: такая жизнь кажется ему не лучше смерти.

В рассказах Бёлля и Глогера точно обрисованы некоторые, главным образом бытовые стороны западногерманской действительности. Беспощадные там, где дело идет о нравах, рассказы эти куда осторожнее, когда дело касается политики в ее, так сказать, чистом виде. И тут их дополняет гамбургский писатель Ганс Пумп. В рассказе «Субчик» писатель зло и беспощадно разоблачает легенду об «экономическом чуде», о всеобщем процветании — эту козырную карту официальной боннской пропаганды.

Пумп ведет своего читателя на окраину большого города, в прогнившие бараки, на городскую свалку, где ютятся люди, лишенные и средств к существованию, и надежд. Он изображает страшную судьбу подростков, которым жизнь не дает ничего, кроме развращающих гангстерских фильмов, прослеживает, как растлеваются детские души.

Интересно сопоставить подростков из рассказа Пумпа с подростками из рассказа «Все мы люди» писательницы ГДР Марианны Брунс. Под напускной грубостью и мальчишеской бравадой у ребят, изображенных Брунс, — отзывчивые сердца, открытые души. Это потому, что у них в жизни есть твердая почва и ясная цель. Но как страшно опустошены и развращены мальчишки гамбургских окраин в «Субчике» Пумпа! Сверстники героев Брунс, они кажутся людьми с другой планеты.

Чтобы передать весь ужас существования городского дна, Пумп не останавливается перед самыми отталкивающими подробностями. Но, словно бы поняв, что само по себе протокольное воспроизведение мерзостей существования, скрывающегося за рекламным фасадом боннского «процветания», еще ничего не объясняет, Ганс Пумп вводит в свой рассказ прямое публицистическое отступление.

В нем писатель не только говорит о том, что трагические судьбы подростков, изображенных в его рассказе, — плод реакционной политики боннского правительства, но и с прямотой, редко встречающейся в литературе Западной Германии, показывает, сколь мнимой является оппозиция этой политике со стороны социал-демократических лидеров. Пусть Гансу Пумпу не удалось органически сочетать публицистику, введенную в рассказ условным сюжетным приемом, с бытовыми сценами, написанными в предельно натуралистической манере, — художественный просчет писателя очевиден, но бесспорна разоблачительная сила его произведения.

Разумеется, можно заметить противоречивость и других рассказов западногерманских писателей. Так, например, мы ясно улавливаем наивные ноты сентиментальности в «Невидимом соседе» Зигфрида Ленца.

Но, оценивая рассказы западногерманских писателей, мы должны помнить о политической обстановке, в которой они появляются, о литературной атмосфере, которой они противостоят. И это позволит нам понять положительное значение той критики буржуазной действительности, которая присутствует в них, хотя и носит ограниченный и непоследовательный характер.

Те же соображения в значительной степени могут быть отнесены и к рассказу Альфреда Дёблина «Мать ждет на Монмартре». Напряженное ожидание матери — одной из многих матерей, — которая долгие месяцы после войны надеется на возвращение сына, пропавшего без вести, ее тревога, ее нарастающие сомнения, ее отчаяние переданы с большой силой. Но писатель сознательно подчеркивает условность рассказа, почти изолируя центральную героиню от реального мира, показывая все окружающее лишь сквозь ее смутное восприятие. Здесь действует вообще «мать» и вообще «сын», здесь до минимума сведены реальные обстоятельства жизни, конкретные приметы времени. Если причины и силы, которые определили трагический удел героев рассказа, оставлены в тени, если война существует в сознании матери, как некий необъяснимый фатум, отнявший у нее сына, тогда, разумеется, те гуманистические идеи, ради защиты которых создавалось это произведение, звучат приглушенно. Но тем не менее это гуманистические идеи!

* * *

Рассказ — один из самых подвижных и изменчивых жанров литературы. Он способен раньше других более монументальных жанров откликаться на события современности. Понятно, что в последние годы в немецкой печати, особенно в периодике, появилось немало новых примечательных рассказов. Издательство иностранной литературы готовит третий сборник послевоенных рассказов немецких писателей, который охватит более поздний период.

Сергей Львов

БИБЛИОТЕКА ИГПИ

Инв. № 38070

1958 г.

1



Манфред Билер

«ПТИЧНИК»

Мать Михаэля рассмеялась глубоким грудным смехом:
— Что ты так уставился на меня?

Михаэль продолжал, усмехаясь, смотреть на нее.

— Ступай вниз и наколи дров! Нечего сидеть сложа руки. Отпуск дан не только для того, чтобы бездельничать.

Михаэль не тронулся с места.

— Слушай, мама, ты не могла бы уступить мне на завтра свой велосипед?

— Мой велосипед? У тебя ведь есть...

— У меня — да, но у Ингрид, знаешь ли...

Юноша покраснел. Внизу, когда Михаэль колол дрова, он все основательно обдумал. Ему уже восемнадцать лет. Может он иметь подругу? Даже двух, если, конечно, захочет.

И все же он покраснел. Он казался себе ужасно глупым. Между двумя пятнами на столе он провел линию, перечеркнул ее, попытался счистить щеткой и в конце концов начал насвистывать. Он свистел очень тихо.

На усыпанной гравием дороге управлять велосипедом было трудно, и Михаэль из осторожности ехал медленно. У перекрестка они остановились и сошли с велосипедов. Михаэль прислонил свой к дереву.

— Куда же мы поедем?

— Мне хочется искупаться.

— В таком случае надо ехать к озеру Воллин.

Ингрид взглянула на него:

— Я могу научить тебя плавать.

Михаэль рассмеялся.

— Нет, двинемся дальше. Искупаться мы сможем и в другом месте. Поедем через Штрец и Гассен в Дорфельд.

— Потому что ты там родился?

— Да. Вот мне и хочется туда поехать, но есть кое-что и поважнее.

Они покатали по шоссе в сторону Штреца. Позади еще видны были выбеленные дома поселка с красными крышами.

На душе у них было радостно. От встречного ветра платье Ингрид раздувалось и билось о стройные колени. Михаэль смотрел вдаль, на дорогу.

— Знаешь, мама рассказывала, что в нескольких километрах от деревни, в которую мы едем, около мельницы, есть ресторан. Раньше, когда мама работала в Дорфельде, она всегда ходила туда танцевать.

— И тебе хочется туда?

— Ну, я решил, что тебе ведь все равно. Это место называется «Птичник», и оно должно быть около мельницы.

— Ты думаешь, там настоящая ветряная мельница?

— Не знаю. Когда мы уехали из Дорфельда, я был еще так мал, что не мог добежать даже до конюшни.

— Но ветряная мельница — это, наверное, очень красивая штука.

Они ехали по липовой аллее. Деревья бросали прохладную тень на их разгоряченные лица.

— В Италии, — задумчиво сказала Ингрид, — небо всегда такое же синее, как у нас сегодня.

— Верно оттого там и люди красивые.

— А как по-твоему, я сегодня красивая?

Михаэль затормозил и внимательно посмотрел на нее. Прежде чем ответить, он замялся.

— Ты такая красивая, что мне хочется тебя поцеловать.

— А я тебе не разрешаю. И кроме того, ты ведь на велосипеде.

— Я же могу слезть.

— Нет, нет, лучше оставайся, где ты есть. Расскажи еще о «Птичнике».

Но Михаэль был не бог весть каким рассказчиком. Он наслаждался ветром, солнцем, тенью деревьев, а расска-

зывать ему совсем не хотелось. Один раз Михаэль положил руку на плечо Ингрид, помогая ей при подъеме.

— У тебя горячее платье!

— Это, наверно, от солнца.

— А если не от солнца?

— Тогда ты ошибаешься.

— А вдруг я не ошибаюсь?

Но Ингрид не ответила. Она не раздумывала, было ли этому виною солнце, или юноша, или усилия во время езды. Она катила вперед, смеялась, поглядывала на своего спутника и непринужденно болтала. А Михаэль все еще не знал, как с ней держаться.

— Может, поедem побыстрей?

Они понеслись вперед и мчались до тех пор, пока не взмокли от пота, и лишь тогда замедлили ход. Лицо Ингрид побледнело от усилий, но она не отставала. А он, разумеется, ничего не заметил, ему хотелось ехать еще быстрее.

— Передохнем немного, хорошо?

— Как хочешь. — Он спрыгнул с велосипеда и расмеялся: — Ты уже выбилась из сил?

Но Ингрид не слушала его. Она лежала среди росшего на краю дороги вереска, закинув руки за голову и слегка приоткрыв рот.

— Тебе нехорошо?

— Нет. Ничего.

— Конечно, не надо было так мчаться. Прости!

Михаэль сел около нее. Мимо пронеслась машина.

— Незачем извиняться. Я ведь и сама хотела ехать быстро.

Михаэль пристально смотрел на нее. Она закрыла глаза, но у нее были такие длинные ресницы, что можно было подумать, будто она сквозь них подглядывает.

Он долго смотрел на девушку. Платье было ей в груди очень тесно. К горлу Михаэля подкатил горячий комок. Когда Ингрид, наконец, открыла глаза, он отвернулся и стал разглядывать яблони, посаженные вдоль шоссе.

— В этом году хорошо уродились яблоки. Жаль, что часть сливовых деревьев померзла. Нынешний апрельский мороз натворил много бед.

Ингрид сзади смотрела на его спину. Когда она думала о его плечах и крепких объятиях, у нее начинала кружиться голова.

— Да, да, сливовые деревья действительно очень жалко.

Она сняла туфли и потерла ступни о песок.

— Вставай, поедem дальше.

Они поднялись, он почистил ей платье, потом не спеша они поехали дальше. Ингрид связала туфли шнурками и повесила на руль. Слева была низина, справа поднимался склон холма. На нем росли высокие сосны. Между деревьями мелькали луга и перелески. Вообще местность здесь была несколько однообразна.

Они вдыхали свежий ветер, их лица купались в зеленой тени. Через два часа они приехали в Дорфельд. Михаэль спросил дорогу на «Птичник».

— Велосипедом еще четверть часа. Возьмите вправо, мимо мельницы, затем по средней дороге, и вы приедете прямо к месту.

— Там можно поесть?

— Ясно. А вечером будут танцы.

Михаэль поблагодарил, и они покатались дальше.

— Значит, здесь все, как было прежде. Мне уже не терпится посмотреть. Мама говорила, что там всегда было очень весело.

— Почему же сыну будет скучно?

Они ехали через деревню. Было воскресенье. Несколько человек стояло около церкви, несколько — около дома культуры.

Ингрид и Михаэль смотрели по сторонам. Михаэль поклонился кому-то.

— Кто это?

— Я и сам не знаю, но лицо этого человека мне очень знакомо.

Вскоре они увидели мельницу.

— Это водяная мельница, — сказал Михаэль.

Мельница была старая, с маленькой плотиной. Обогнув мельницу и проехав по деревянному мосту, они остановились у воды. Ручей был не шире четырех метров. Они положили велосипеды на траву и сбежали с откоса.

Ингрид опустила ноги в ручей.

— Холодная? Да?

— Нет, терпимо.

— Пойдем. Мне в самом деле хотелось бы сначала посмотреть этот «Птичник». Сюда мы можем еще вернуться.

Дорога была неширокая. По обе стороны цвел жасмин, позади высились буки. У решетчатых ворот дорога обрывалась. Они спешились, вошли во двор и закрыли за собой ворота. Подойдя к дому, они прислонили к стене велосипеды и заказали подавальщице обед.

Перед домом они увидели столы и окруженную каштанами площадку для танцев. Сквозь цветущие ветви пробивалось солнце, и от этого бело-розовые цветы каштанов казались прозрачными. Было очень жарко, и обоим хотелось пить.

Они уселись на веранде. Ингрид снова надела туфли. Здесь были только две крестьянские семьи, которые, видимо, справляли какой-то семейный праздник. Ингрид и Михаэль с удовольствием ели сытный обед и запивали сидром.

— А что мы будем делать после обеда? — спросила Ингрид.

— Спать. Ляжем в тени.

— Хорошо бы пойти искупаться, — смеясь, сказала она.

— Сначала отдохнем.

Михаэль представлял себе это место совсем иначе. Может быть, из-за названия. А тут были такие же дрозды и воробьи, как и дома.

— Не понимаю, что особенного находила здесь мама. Весь этот «Птичник» — обыкновенный ресторан в лесу.

— Уж твоя мама знала, почему она больше всего любила ходить сюда, я ее понимаю. Ведь днем это место выглядит совсем по-другому. Все дело в солнце. Но вечером, когда горят фонари...

Пообедав, они встали и побродили немного по дорожкам.

— Давай ляжем вон там.

— Что ты! Под жасмином! От него можно опьянеть.

— Но ведь не обязательно лежать так долго.

Они пошли дальше и наконец улеглись в лощинке, под двумя буками, дававшими достаточно тени. Лишь небольшие солнечные блики падали сквозь трепетную листву на их лица.

— Попробуем уснуть?

— Все равно ничего не получится.

— Но попытаться ведь можно?

Ингрид положила голову ему на грудь.

— Не дыши так глубоко, — сказала она.

— Но мне нужен воздух.

— Твоя грудь все время так неровно опускается и поднимается, что я не могу уснуть.

Михаэль не отвечал, играя ее волосами. Он взял в рот былинку и стал смотреть на листья, стараясь не делать слишком глубоких вздохов.

Ингрид так тесно прижалась к нему, что ему стало жарко. Поездка, сытный обед и целая неделя трудной работы утомили ее, и она уснула, прежде чем Михаэль успел дожевать свою травинку. А юноша лежал, размышляя о всякой всячине. В голове у него была полная неразбериха. Из-за неловкого положения заныла рука. Как бы освободить ее? Ему было очень неудобно, но голова ее так доверчиво покоилась у него на груди, что он не мог просто взять и уйти. Он должен быть здесь, когда она проснется. А Ингрид спала крепко.

Михаэль осторожно вытащил руку, отодвинулся и тихонько встал. Еще раз взглянул на нее и отошел. Михаэль был молод и совершенно неопытен. Он сделал несколько шагов между буками и вышел на дорогу. За дорогой лежали поля. Вид был очень красивый. Он пошел полями, разглядывая рожь и картофель. Вдоль межи цвели маки.

Сегодня он видел многое, чего не замечал обычно. И желтизну ржаного поля, и зелень межи, и синеву васильков, и пурпур маков. Все это, хоть и знакомое ему с детства, сейчас показалось таким неожиданным и новым, что у него от волнения забилось сердце. Он никогда не думал, что в окружающей его природе, в том, что давала ему жизнь, можно увидеть столько необыкновенного. Все это казалось ему раньше вполне естественным, как пот во время жатвы, как полдник, как внезапный апрельский мороз, который губит несколько деревьев. И вот он увидел, как все это прекрасно. Михаэль вдруг вспомнил, что он и Ингрид сказал сегодня, что она красивая.

И поля и цветы были словно на картине. Он боялся прикоснуться ко всему этому. На мгновение юноша почувствовал глубокое одиночество, тоскливо засосало под ложечкой. Он попытался засвистеть. Свистеть можно всегда, мать знала, какое облегчение дает музыка. А уж на свою мать он может положиться.

Она, вероятно, бывала и здесь. Ему казалось, что человек, видевший поля такими, какими он их видел сейчас,

должен отличаться от других. Почему же он никогда не замечал этого у своей мамы? Она рассказывала только о тех временах. Но о природе, о природе?..

Михаэль начал рвать маки, только маки, добавляя к ним немного зелени.

Когда он возвратился в тень, у него все еще колотилось сердце. Он стоял перед Ингрид и смотрел на нее. А она спала. Михаэль положил букет девушке на грудь. Один лепесток мака легко лег на ее губы и чуть шевелился. Он сел около нее и стал ждать. Полчаса назад он, пожалуй, взял бы ее за руку и сказал: «Вставай, пойдём дальше». А теперь он сидел и смотрел на нее. Потом растянулся рядом, упершись локтями в землю. Когда она проснется, я скажу ей: «Я собрал немного цветов и думал, тебе будет приятно». — «Большое спасибо», — скажет она, они встанут и пойдут.

Но, когда она проснулась, он ей ничего этого не сказал. А несколько минут спустя Михаэль сказал впервые в своей жизни слова, которые ему нелегко было произнести, хоть они и были искренни: «Я люблю тебя».

И Ингрид ответила совсем не так, как он ожидал, — она посмотрела на него и мягко сказала: «Я люблю тебя».

Им обоим хотелось зареветь, хотя для этого, кажется, не было никаких причин. Но скоро это прошло. Робость была побеждена молодостью, и, когда они поцеловались, оба были уверены, что в целом мире только они любят по-настоящему. Те, кто любит, в этом всегда правы.

Солнце стояло еще довольно высоко над полями и лесом, когда они вышли на дорогу. Они шли наугад, потом свернули с дороги и зашагали по меже. Михаэль и Ингрид были совсем одни. Михаэль скользил рукой по колосьям и с радостью ощущал, как они упруго сгибаются и тут же выпрямляются. Молодые люди дошли до какого-то пруда. Ивы склонились к воде, было очень тихо.

Они прилегли в тени. Им хотелось так много сказать друг другу! Но оба боялись сказать что-нибудь глупое. Они знали, что любят, и слова казались лишними. Только раз она спросила:

— Ты в самом деле находишь, что я красивая?

— Зачем тебе это знать?

— Потому что иначе я не могу поверить, что ты меня любишь!

— Ты красная, и, что бы ни случилось, всегда верь, что я люблю тебя.

Они опять поцеловались и поверили в свою любовь.

— Может, теперь искупаемся? — спросил Михаэль.

Они разделись и побежали в воду. Они стали хлопать по воде руками, вспенивая ее. Потом поплыли в разные стороны и на середине пруда встретились. Ингрид положила ему на спину руки, и он, плывя, тянул ее за собой.

Медленно поплыли они обратно и, только выйдя на берег, заметили, что оба наги. Нерешительно отошли они от воды и остановились; долго смотрели они друг на друга.

— Ты даже красивее, чем я думал.

— А какая у тебя широкая грудь!

Потом он поцеловал ее, и они не находили ничего плохого в том, что стоят так и целуются. Затем они легли на песок и продолжали целоваться, пока не обсохли после купанья; и еще полежали немного на солнце.

Когда начало темнеть, Ингрид и Михаэль возвратились в «Птичник». Горели фонарики.

Они сели под открытым небом за один из столиков. Михаэль сдул цветы каштана, упавшие с дерева на пеструю скатерть, и заказал два стакана вина. Они пили вино и влюбленными глазами смотрели друг на друга.

За соседним столиком сидели двое мужчин и две женщины. Один из мужчин посмотрел в их сторону и узнал Михаэля. Он что-то сказал своим соседям и подошел к столику, за которым сидели Ингрид и Михаэль.

— Добрый вечер.

Ингрид и Михаэль ответили.

— Ты ведь меня узнаешь? Верно?

— Твое лицо мне знакомо, но не знаю откуда.

— А ведь сегодня в деревне ты поздоровался со мной.

Михаэлю хотелось остаться одному с Ингрид, и он недовольно проворчал:

— Я всегда так делаю.

Мужчина рассмеялся и ответил:

— Твой отец был точно таким же...

Когда кто-нибудь говорил о его отце, лицо Михаэля становилось серьезным. Он гордился отцом и имел все основания гордиться им.

— Присаживайся к нам. Откуда ты знаешь моего отца?

Незнакомец сел.

— Я работал здесь раньше с твоим отцом, пока они его не... ну, ты знаешь...

— Здесь, в Дорфельде?

— Да, конечно; в «Птичнике» это и началось, здесь мы познакомились.

— Моя мать тоже познакомилась с ним в «Птичнике». Вы часто бывали тут вместе?

— Да, до тридцать третьего года. Мы оба приходили сюда до тридцать третьего.

— И что же случилось?

— Ты не знаешь? Разве мать не говорила тебе?

— Нет, расскажи, пожалуйста.

Незнакомец встал, собираясь уйти.

— Спроси у матери.

Но он знал, что каждой матери очень тяжело говорить о таких вещах, знал он, что и матери Михаэля очень тяжело рассказывать об этом сыну. Поэтому он снова сел.

— Ну хорошо, я расскажу, расскажу вам обоим, но вы должны продолжать пить вино и танцевать. Жизнь идет своим чередом. Прошлое не забылось, но оно не должно угнетать вас, причинять вам горе, понимаете?

Оба внимательно посмотрели на него и кивнули.

— Когда в тридцать третьем году к нам нагрянули штурмовики и мы хотели их выгнать, они схватили твоего отца, меня и еще несколько человек — нас была всего горсточка, — бросили в грузовик и увезли. Мы им совершенно не были нужны, да и рассказать-то могли бы очень немного: мы ведь не были активистами. Им только надо было поиздеваться над кем-нибудь. Они втолкнули нас в «Птичник» и принесли с мельницы кнуты. Сначала мы сдерживались, но потом, когда уже не было сил терпеть, стали кричать. Стоявшие во дворе говорили, что мы кричали очень громко. Тяжелое было время!

Незнакомец рассказывал все это медленно, слово за словом, спокойно и уверенно, как будто выучил наизусть. Ингрид смотрела на скатерть с узором из цветов. Цветы сплетались в длинную-длинную гирлянду, и, когда казалось, что круг завершен, он начинался вновь. Наконец

девушка подняла глаза на обоих мужчин, смотревших друг на друга твердым взглядом.

— Спасибо тебе, что ты рассказал нам об этом, — сказал Михаэль, — хорошо, что именно ты рассказал. — И, сделав над собой усилие, добавил: — Моя мама тоже считает, что то было тяжелое время, — ему хотелось ослабить напряжение, хотелось, чтобы стало немного легче; но он был не в силах шевельнуться и сидел на стуле неподвижно, как чурбан.

— Кланяйся от меня матери и не обижайтесь.

Он пожал руку девушке, потом юноше. Затем возвратился к своему столу и некоторое время сидел молча, пока его спутники снова не развеселили его. Михаэль и Ингрид тоже несколько минут молчали. Они чувствовали в себе что-то, с чем сначала нужно было справиться. Желая помочь Ингрид, Михаэль сказал:

— Пойдем потанцуем.

Но, посмотрев на нее, он смутился. Ингрид не ответила. Она уже не смотрела на цветы. Она уже не видела ни цветов на скатерти, ни цветущих деревьев, она видела на столе кнуты и пыталась представить себе, как кричат мужчины. Она еще никогда не слышала крика мужчины. Хотя знала, что мужской крик страшнее женского, но представить его все же было невозможно.

Музыка продолжала играть, однако девушке было больно. У многих так бывает: когда на сердце тяжело, слушают музыку.

— Поверь мне, лучше не думать об этом. Может, не следовало сюда приезжать.

Ингрид посмотрела на него.

— Не говори так. Мы обязаны знать об этом. Иначе многое забывается.

— Но мы не должны из-за этого падать духом.

— Нет, конечно. Теперь пойдем танцевать.

И они танцевали среди других веселившихся людей, но смотрели только друг на друга. И никогда еще их нежность и любовь не были так глубоки, как во время этого танца. Говорить они не могли, да и все слова были бы лишними. В своем молчании они были гораздо ближе и понятнее друг другу. Они могли отдаваться своему чувству, не боясь, что это им прискутит. Они всегда были новы друг для друга и верили, что так будет

всю жизнь. Это был их танец. Все, кто любит, танцуют этот танец.

И они снова подошли к столику, снова пили вино и опять танцевали. Белое вино было терпкое, и от него сохло во рту.

Ингрид провела языком по губам, и они заблестели. Танцуя, она продолжала водить языком от одного уголка губ до другого. Они танцевали, тесно прижавшись друг к другу. Наблюдая за ними издали, можно было сразу понять, что они очень влюблены. Но то, что их любовь расцвела, как дерево, в течение одного дня и вечером уже принесла свои плоды, плоды, которые созрели, этого никто не мог видеть, это знали только они.

— Пора ехать.

— Да, жаль.

Они сели на велосипеды, доехали до ворот, открыли их и покатали к мельнице. От лунного света плотина казалась ослепительно белой. Мельница выделялась на фоне неба, резко чернея в вечерней синеве.

— Я схожу еще раз вниз, к ручью, — сказала Ингрид.

— Поздно. Ты простудишься.

— Пойдем вместе.

Они обогнули мельницу и сбежали к ручью. Там они сели, любуясь серебряной плотинкой. Они молчали до тех пор, пока их дыхание не стало спокойнее.

— Может быть, когда их били, была тоже такая ночь?

— Может быть, была такая же ночь, но они не видели ни ручья, ни плотины.

— В такие ночи...

Потом они поехали дальше.

— Я оставила на столе цветы.

— Я тебе подарю другие.

Когда они добрались домой, петухи еще не просыпались.

**ИСТОРИЯ АВТОСЛЕСАря ЛЮ ФЭН-ХАО
И СТУДЕНТКИ ЛИН ПИ-ФАНЬ**

«Советское правительство отказалось от... завоеваний, которые сделало царское правительство...

Советское правительство отказывается от получения с Китая контрибуции за Боксерское восстание 1900 года...

Советское правительство уничтожает все особые привилегии, все фактории русских купцов на китайской земле...

В Китае не должно быть иной власти, иного суда, как власть и суд китайского народа».

Обращение Совета Народных Комиссаров от 20 августа 1919 года.

Мы, рабочие, — это власть.
Нам Сегодня принадлежит!
ХО АЙ ХО!
Нам Грядущее счастье сулит!
ХО АЙ ХО!

Мы ведущий и строящий класс.*

Китайская рабочая песня.

Что и говорить, демонстрация в стране, терзаемой гражданской войной, в стране, где каждый провинциальный генералишка вершит суд и расправу, не диво. Но в истории народов подчас и не столь важные события приобретали решающее значение. Демонстрация же студентов и рабочих Пекина 4 мая 1919 года на площади Тяньаньмынь перед Воротами небесного спокойствия была в жизни нашего народа историческим поворотным пунктом. Правда, мы, участвовавшие в ней, не догадывались об этом. Но мне хочется рассказать не только об этой демонстрации, а прежде всего о моем друге Лю Фэн-хао и студентке Лин Пи-фань, о близких мне людях.

* Перевод Ирины Оныщук.

Ни Лю Фэн-хао, ни я не были студентами. Он работал автослесарем в той же пекинской авторемонтной мастерской, находившейся в Посольском квартале, где я пытался научиться ремеслу слесаря. В этой мастерской я с одиннадцати лет работал подручным, в ученики меня не взяли — у моего отца, рабочего-строителя, не было денег, чтобы заплатить за меня мастеру. В мастерской было около двадцати слесарей и вспомогательных рабочих, большей частью молодых парней. У некоторых из них в голове были только танцы да девушки или спорт. В конце рабочего дня они умывались и принаряжались. А зайти случайно какой-нибудь заграничный дипломат справиться о своей машине, они теряли всякое чувство собственного достоинства и заискивающе кланялись. Да что дипломат! Перед их шоферами они гнули спины и чувствовали себя на седьмом небе, если кто-нибудь из них снизойдет и угостит «настоящей» — так они называли заграничную сигарету.

Молодой автослесарь Лю Фэн-хао ненавидел иностранцев. Он ненавидел их всех без исключения, будь то генералы или их шоферы. Он не обменивался с ними дружескими взглядами, никогда не брал чаевых, не выкуривал «настоящей». Он плевал им вслед, когда они выходили из мастерской. Один старый рабочий попытался разъяснить ему, что не все иностранцы одинаковы, — напротив, и у них бывают схватки между теми, у которых есть все — и богатство и власть, — и теми, у которых нет ничего, которые бесправны и работают на своих белых господ, как белые рабы. А Фэн-хао в ответ на эти разговоры только иронически усмехался. Белые, те, что являлись в Китай — знатные господа или лакеи, — презирали китайцев и чувствовали себя их повелителями.

Я обычно присединялся к Фэн-хао. Меня влекло к нему, я восхищался им. Мне нравился его необузданный характер, его гордость. Он обладал необыкновенной силой и без труда приподнимал легкой автомобиль, если нужно было подложить колоды под оси.

Тогда-то из далекой Европы донесся ветер, разросшийся у нас в бурю. Как всякому известно, Китайская республика в первую мировую войну была союзником Америки, Англии и Франции, и многие китайцы верили, что можно рассчитывать на благосклонную поддержку со стороны этих государств. А что вышло? Державы-

победительницы поступили с нами, как с колониальным народом. В Версальском договоре они встали на сторону императорской Японии против Китайской республики. Они узаконили захват Японией бывшей арендной области немецкого имперского рейха Цзяочжоу. Это вызвало страшное возмущение. Фэн-хао торжествовал.

— Где же ваши белые союзники, рабочие Европы и Америки? — кричал он. — Подождите, господа скоро снова придут в нашу страну, и мы будем надрываться, жилы из себя тянуть ради жалких подачек!

В те дни пекинские студенты показали себя самыми смелыми, самыми боеспособными патриотами Китая. Они проходили процессией по улицам и призывали рабочих и всех граждан не мириться с этим позорным решением. Они несли плакаты с лозунгами протеста против держав-победительниц, предавших Китай в Версале. Они шли на фабрики и обращались к рабочим, звали их к общей борьбе против чужеземных разбойников, врагов китайского народа.

Рабочих ремонтной мастерской нельзя было узнать. Те, которым обычно не было никакого дела до политики, кричали громче всех. Фэн-хао был отчаянным сорви-головой. Он кулаками выставил из мастерской трех польских шоферов. Он первым начал ломать машины дипломатов, стоявшие на ремонте. Мы сгрудились вокруг него, он был нашим вожаком.

На другой день в мастерскую пришли двое студентов и студентка — маленькое, нежное существо с кожей удивительной белизны и узкими, красивого разреза глазами, в которых при виде разрушений сверкнул задорный огонек. Но, когда она услышала, что мы избили шоферов, выражение ее лица изменилось, глаза стали серьезными, почти печальными.

— Вот это ни к чему, — просто сказала она. — Они не виноваты.

Глаза Фэн-хао гневно сверкнули.

— Нет, эти лакейские душонки тоже виноваты! — крикнул он. — Стоит только их белым хозяевам свистнуть, и они, как псы, набросятся на нас!

Маленькая студентка, едва достававшая Фэн-хао до плеча, подошла к нему и, подняв на него взгляд, сказала спокойно и твердо:

— Мы должны действовать трезво, с умом, иначе мы не поможем, а только навредим нашему народу. Куда как просто вымещать злобу на мелких грешниках. Крупные негодяи, грабители и палачи народа — вот кто должен почувствовать на себе нашу силу!

— Вы только послушайте! — крикнул Фэн-хао. — Нас снова хотят укротить, удерживают от борьбы с этими белыми бандитами!

Студенты убеждали его, подступали с аргументами и доказательствами, а маленькая студентка не проронила больше ни слова, она лишь пристально смотрела на него. В эту минуту Фэн-хао в измазанной, грязной одежде представлял собой великолепную фигуру рабочего. В каждом его движении чувствовалась мощь. А как он был пылок! На каждое слово у него находилось два. Его глаза блистали то иронией, то гневом.

Один из студентов вскочил на станок и призвал всех явиться 4 мая на демонстрацию к Воротам небесного спокойствия.

Фэн-хао отвернулся. Его взгляд словно говорил: «На демонстрацию? Зачем? Тут нужна революция!»

Студентка спросила его, придет ли он. Он ответил уклончиво: он, мол, и сам еще не знает.

Студенты ушли, а беседа в мастерской продолжалась. Фэн-хао стал спокойнее и молчаливее. Когда к нему обращались, он отвечал двумя-тремя словами. Вдруг, ничего не говоря, он выскочил из мастерской и побежал по улице.

Через некоторое время Фэн-хао вернулся назад, тяжело дыша и вытирая тыльной стороной руки мокрое от пота лицо. С этой минуты он стал еще скупее на слова и наконец совсем перестал обращать внимание на оклики и вопросы. Еще до конца рабочего дня он умылся под ржавым умывальником, стоявшим тут же, в цеху, переоделся и ушел.

Не значит ли это, что мы прекращаем работу? Возражений ни у кого не было. Но внезапная перемена в поведении Фэн-хао встревожила меня. Я сорвал с крючка шляпу и бросился за ним.

Он уже достиг угла улицы и пересекал небольшую площадь. Я не терял его из виду. Фэн-хао шел не спеша и, видимо, без всякой цели, хотя то и дело оглядывался. На перекрестке остановился, раздумывая, куда пойти, и,

словно наудачу, выбрал одну из улиц. Иногда он поворачивал и возвращался назад по улице, которую только что прошел. Тогда я прятался в подворотне или замирал перед витриной. Так он бродил по городу несколько часов. Я не мог объяснить себе его блужданий и наконец перестал его преследовать.

На другое утро я застал в мастерской только троих рабочих. Да и мы ушли, хотя мастер уговаривал нас остаться. Меня тянуло к Фэн-хао. Он жил со своими родителями в узком мрачном переулке, в так называемом Монгольском квартале. Семье принадлежали две небольшие комнатки, расположенные вровень с землей. У дверей стоял железный горшок, несколько мисок и деревянный чан. Мне пришлось прождать Фэн-хао до вечера. Наконец он пришел утомленный и внешне спокойный, но глаза его блестели беспокойным блеском. Моему приходу Фэн-хао, казалось, обрадовался, но о мастерской и товарищах и слышать не хотел. Мы сидели, говоря о ничего не значащих пустяках. Вдруг он наклонился ко мне и тихо сказал:

— Я так и не нашел!

— Кого? — спросил я.

— Кого? — он смотрел на меня с удивлением, словно не понимая моих слов. Потом губы его дрогнули: — Студентов!

— На что они тебе понадобились?

Он ничего не ответил, поднялся и принялся ходить взад и вперед мимо грубого деревянного стола, стоявшего в комнате. Наконец он сказал:

— Завтра четвертое, день демонстрации. Демонстрация... — повторил он. — Маршировать и петь песни, и это уже кое-что!

— Вот там ты обязательно встретишь...

— Маленькую студентку? — персбил он.

— И ее тоже, — ответил я.

Фэн-хао глупо уставился на меня, и светлая улыбка вдруг озарила его лицо.

— Правильно! — ликующе крикнул он. — Там мы найдем ее!

Теперь все было ясно. Фэн-хао искал студентку. Он был попросту влюблен.

По дороге домой я от удовольствия покачивал головой. С какой легкостью любовь захватила и положила на

обе лопатки такого великана! Я представлял себе их рядом: высокий, здоровенный Фэн-хао с его бычьей шеей и с ним маленькая, нежная, белолицая студентка с черными как смоль косами. Ну не забавно ли?! Потом я решил, что пара из них выйдет замечательная. И опять рассмеялся: ведь еще не доказано, что студентка полюбит Фэн-хао. Она даже не подозревает о его любви. Теперь меня разбирало любопытство, что же будет дальше. Мы с Фэн-хао уговорились встретиться за час до демонстрации у начала Посольского квартала, недалеко от Ворот небесного спокойствия. Когда я пришел, улица уже была запружена многотысячной толпой. На каменных оградах и стенах домов висели плакаты с лозунгами и картинками, призывая на демонстрацию. На стене квартала посольств огромными буквами было написано:

Китайцы, забудьте партийные распри!

Объединяйтесь и гоните иностранцев вон из нашей страны!

А вот и Фэн-хао. Лицо его горит от возбуждения. Вероятно, он уже обрыскал всю площадь.

— Если ты ее найдешь, — сказал он, — то встретимся здесь, на углу... Узнай во что бы то ни стало, как ее зовут и где она живет. Понял?

Понял ли я?!

Фэн-хао продолжал, не обращая внимания на мою ироническую улыбку:

— Я буду искать здесь, а ты пойдешь вон в том направлении.

Я не успел оглянуться, как его уже и след простыл.

Со всех сторон к площади стекались толпы народа: рабочие в синих комбинезонах, купцы, торговцы, ремесленники в темных куртках и длинных пиджаках, колонны работниц с текстильных фабрик, рикши, грузчики; даже старые женщины вместе со всеми шли через площадь, торопливо семеня своими изуродованными ногами.

Отдельными группами приходят студенты и студентки. В руках у них шелковые платки с вышитыми на них лозунгами. Площадь бурлит. Держат речи, затягивают песни, выкрикивают угрозы, произносят клятвы. Я отдался на волю этого людского моря, кипящего патристическим воодушевлением; присоединился к торжественным

обещаниям всегда, при всех условиях, что бы со мной ни случилось, хранить верность делу народа. Я был полон самых благородных стремлений, как и несчетные тысячи людей вокруг меня. Все они, те, что всегда равнодушно проходили мимо, не замечая друг друга, и часто затевали отвратительные споры, доходившие до оскорблений, до драк, — в этот день все они были братьями, членами одной огромной семьи. Я понял величие и благородство народа Пекина и был невыразимо счастлив.

Потом я вспомнил, что нужно искать маленькую студентку. Да, найди в этом море голов крохотное существо! Безнадежное дело, — подумал я и стал протискиваться через толпу к императорскому дворцу, где над трибуной, наспех сколоченной из досок, развеялись полотна знамен. Ораторы обращались к толпе с речами. Словно засасываемые водоворотом, люди устремлялись к трибуне и окружали ее зыбщимся морем. Вдруг мне показалось, что на трибуне я увидел Фэн-хао в первом ряду, сразу за оратором. Проталкиваясь между людьми, я пробирался к трибуне. Да, это он! И рядом с ним — только теперь я заметил это, — рядом с ним стояла маленькая студентка. Мне казалось, что Фэн-хао тоже увидел меня в толпе; я приподнялся, замахал руками, несколько раз крикнул: «Хао!» Стоявшие вокруг сердито зашикали на меня, и я замолчал. Нет, Фэн-хао не видел меня. Как я был рад, что он встретил ее!

Вы хотите знать, что стало с автослесарем Лю Фэн-хао и Лин Пи-фань — так звали маленькую студентку. Они действительно стали парой. Легко сказать — стали. А сколько им пришлось преодолеть трудностей, перед которыми у них могли бы опуститься руки, сколько вынести оскорблений! Отец Лин Пи-фань был профессором, он и мысли не допускал уступить дочь какому-то рабочему человеку без рода и племени. А тогда решающее слово в этом вопросе принадлежало родителям. Восставать против этой древней традиции считалось безнадежным делом. Но маленькая Пи-фань была революционеркой и беспримерно храбрым человеком. Она была глуха к голосу предков и родителей и слушалась только зова своего сердца. Видя, что упреки и угрозы не действуют, отец проклял Пи-фань, а об отцовском проклятии в народе говорят, что в нем страшная, губительная сила.

Пи-фань покинула родительский дом. В ее маленьком теле жила великая энергия и большая душа.

Грянул на Востоке гулкий гром орудий,
Всколыхнул всю землю, пробудил повсюду.
Как весенний ливень сникнувшие травы,
Смелость и надежды в сердце у бесправных*.

Фэн-хао и Пи-фань сняли скромную квартирку. Они вместе учились, вместе посещали рабочие кружки. В двадцать лет Фэн-хао выучился читать и писать.

Лю Фэн-хао стал секретарем Пекинской партийной организации, а Лин Пи-фань, много лет заведовавшая курсами, стала руководить партийным образованием. Несмотря на большую ответственность, лежавшую на них, они по-прежнему были молоды, охотно смеялись и шутили, как в первые дни своей любви. Люди, подобные им, привлекают народ на сторону партии не только своей политической деятельностью, но, быть может, еще в большей степени, примером. Бедные и угнетенные, не раз испытывавшие обман и предательство, не только слушают слова — они хорошо видят и людей, обращающихся к ним. Кто хочет завоевать их доверие, тому нельзя защищать народное дело лишь на словах. Он обязан делать это каждым своим поступком, всей своей жизнью.

Когда в 1927 году Чан Кай-ши заключил с иностранными державами союз против своего народа и объявил коммунистов вне закона, в Пекине были брошены в тюрьмы сотни коммунистов и среди них Лю Фэн-хао и Лин Пи-фань. Лин Пи-фань умерла на восьмом году заключения. Фэн-хао через десять лет вышел на свободу. Боль от потери Пи-фань почти убила его. Каждый раз при виде полицейского ярость овладевала Фэн-хао, и он готов был вцепиться ему в глотку. Тогда ему казалось, что он слышит голос Пи-фань: «Пусть силу твою, любимый, почувствуют крупные негодяи, грабители и палачи нашего народа».

Фэн-хао отправился в Йенань и вступил в Красную Армию. Двенадцать лет он был солдатом народа. Участвовал в сотнях боев и сражений. Когда была одержана победа, Фэн-хао оставил армию в чине полковника. Вновь он не женился. Это было бы изменой Пи-Фань — так думал он.

* Перевод Ирины Оныщук.

СТАРАЯ ШЛЯПА

Когда в Париже репетировалась «Трехгрошовая опера», мое внимание с самого начала привлек молодой актер, исполнявший роль бродяги Фильча, подростка, который стремится приобрести квалификацию профессионального нищего. Быстрее большинства остальных он понял, как именно надо репетировать: ошупью, словно прислушиваясь к собственной речи, предлагая наблюдательности зрителей те человеческие черты, которые они сами могли наблюдать в человеке.

И я нимало не был удивлен, когда застал его как-то раз утром в одной из самых больших костюмерных, куда он пришел по собственному побуждению вместе с исполнителями главных ролей; он вежливо пояснил, что ему надо найти шляпу для своей роли.

Я помогал героине выбрать костюмы, на что ушло несколько часов, и краешком глаза наблюдал за тем, как он ищет шляпу.

Он заставил порядком поработать служащих костюмерной, и скоро перед ним возвышалась гряда головных уборов; прошло около часа, пока он отделил две шляпы из этой гряды и теперь должен был, наконец, сделать окончательный выбор. На это ему потребовался еще час.

Я никогда не забуду выражения муки на его изможденном подвижном лице. Он никак не мог решиться. Полный сомнений, он взял одну из шляп и долго смотрел на нее с видом человека, который вкладывает свои последние, скопленные за долгое время деньги в заведомо ненадежную авантюру, из которой потом не выпутаешься. Полный тех же сомнений, положил он ее обратно, но отнюдь не так, как кладут вещь, к которой никогда более не прикоснутся. Конечно, шляпа несовершенна, но, пожа-

луй, она лучшая из всех, какие здесь есть. С другой стороны, хотя она и лучшая, она все же несовершенна!

И он взял другую, все еще не сводя глаз с той, которую только что отложил в сторону. Вторая шляпа, по-видимому, тоже имела свои преимущества, только они были совсем другого характера, чем недостатки первой.

Именно это так затрудняло выбор.

Здесь были запечатлены все оттенки упадка, недоступные беглому взгляду; первая из этих двух шляп в бытность свою новой была, пожалуй, дорогой, но пребывала теперь в еще более плачевном состоянии, чем вторая. Но носил ли Фильч когда-нибудь дорогую шляпу или, во всяком случае, более дорогую, чем вторая? Насколько она изнасилась? Берег ли Фильч ее в своем падении, и имел ли он возможность ее беречь? Или это вообще была не та шляпа, которую он носил в лучшие времена? Давно ли были эти лучшие времена? Как долго может носиться шляпа? Воротничка Фильч не носил — это было установлено в одну из бессонных ночей, — лучше совсем не носить воротничка, чем ходить в грязном (великий боже, так ли это?). Но все равно, решение принято, все внутренние дебаты по этому поводу закончены. Галстук был — это тоже решено. Но как должна выглядеть при этом шляпа? Я увидел, что он закрыл глаза и как бы оцепенел. Он снова проходил все стадии падения, одну за другой.

Так и не осененный свыше, он открыл глаза и машинально надел шляпу на голову, по-видимому, делая попытку решить вопрос чисто эмпирически, и тут его взгляд снова упал на ту шляпу, которую он отложил в сторону. Его рука потянулась за ней, и он долго стоял так, с одной шляпой в руке и другой на голове — художник, разрываемый сомнениями, с отчаянием вопрошающий свой опыт, мучимый почти неутолимым желанием найти тот единственный путь, который позволит ему за четыре минуты на сцене воплотить всю судьбу и все свойства своего героя — словом, кусок жизни.

Когда я опять взглянул на него, он решительным жестом снял шляпу, резко повернулся на каблуках и отошел к окну. Он смотрел на улицу невидящими глазами и только спустя некоторое время снова взглянул на шляпы, на этот раз небрежно, почти со скукой. Он глядел на них издаലെка, холодно, без всякого интереса.

Затем, не посмотрев больше ни разу в окно, он ленивой походкой подошел к шляпам, взял одну из них и бросил на стол, чтобы ее завернули.

Во время следующей репетиции он показал мне старую зубную щетку, которая высовывалась из верхнего кармана его куртки и должна была свидетельствовать о том, что Фильч и под арками моста не решается отступить от главнейших признаков цивилизации. Эта зубная щетка показала мне, что никакая шляпа, даже самая лучшая, не могла удовлетворить актера.

«Вот это, — подумал я радостно, — и есть актер нашего века, века науки».

ВСЕ МЫ ЛЮДИ

Они были разочарованы. Ругались, как взрослые. Добрых полчаса болтаешься у стадиона, потом узнаешь, что автобус, на котором должны приехать игроки команды «Сталь», потерпел аварию и запаздывает, а еще через двадцать минут объявляют: он вовсе не придет. Матч не состоится!

Они работали на стройке учениками и были еще слишком юны для танцзала — куда им было податься на остаток воскресного дня? Глубоко засунув руки в карманы, они уныло плелись в гуще возвращавшейся со стадиона толпы, потом сбились в кучку у края дороги и выжидательно смотрели на медленно подходившего к ним юношу, широкоплечего и грубоватого.

— Что дальше?

Юношу звали Вилли Клейнганс¹. Это был сильный и самостоятельный парень. Кому постоянно угрожает опасность уже в силу своей фамилии получить прозвище Малыш-Гансик, тот волей-неволей заставляет себя стать могучим Вилли; тот первым сообщает своему ломающемуся голосу низкие басовые нотки и старается говорить как можно громче; тот вырабатывает у себя крепкие мускулы и тяжелую походку уверенного в себе мужчины. Да и в работе старается быть не последним.

— В кино? — предложил один из шести мальчиков. Он был любитель чтения. Его и сейчас тянуло устроиться где-нибудь у забора, на солнышке, и читать; стало уже довольно тепло. Но он не хотел расставаться с приятелями. Что-то носилось в воздухе. Казалось, что у них в виду — первоклассная затея: Клейнганс Вилли так

¹ Буквально — маленький Ганс (нем.).

многообещающе сопел своим толстым носом, ловя свежий весенний ветер!

— В кино? — лениво переспросил он и, прищурившись, посмотрел на трамвай, шедший в сторону города: разочарованные любители спорта облепили его, как муравьи дохлую мышь.

— В кино мы и вечером не опоздаем...

И внезапно прыгнул в трамвай, идущий в обратном направлении — из города — и совершенно пустой.

Остальные пятеро прыгнули за ним следом, они смеялись, кричали и спрашивали у Вилли, не спятил ли он.

— Куда же мы?

Смеясь и толкая друг друга, все шестеро стояли на передней площадке. Им было негде повернуться на этом узком пространстве. Они шумно осведомились о названии конечной остановки. У них не было ни малейшего представления, где она находится. Им еще не приходилось бывать там.

Не попали они туда и на сей раз. Кто же способен добровольно выдержать такую пытку: полчаса неподвижно стоять на одном месте! На худой конец, надо хоть пересест в другой трамвай. Правильно, Вилли! Всем выходить! Пересадка!

Так в конце концов шестеро мальчиков попали в отдаленное предместье, в котором, на беду, не было ничего особенно привлекательного. Однако они твердо решились что-то испытать, что-то предпринять, что-то совершить и потому, исполненные дерзкой отваги, шествовали по улицам, пока последний дом не остался позади. Без руля и без ветрил неслись они через поле и лес, с пением вступили в ближайшую деревню, сорвали нарцисс, распустившийся у забора крестьянской усадьбы, и, испуская торжествующие крики, украсили им шапку могучего Вилли.

Пели черные дрозды. Прелестно. Но что же дальше? Какое-нибудь приключение с девчонкой — вот что было бы сейчас кстати. Без него такая вылазка теряет всякий смысл. Они не говорили этого вслух, но смутно чего-то ждали...

— Сюда! Поглядите-ка!

— Что там у тебя?

— Дикие кролики!

— Где?

— Убежали. Туда, в норку...

— Ты бы хоть одного поймал!

Все шестеро прыгнули в песчаный карьер, вырытый в лесу, недалеко от дороги.

Желтым блеском отсвечивали крутые стены. Вверху, на краю карьера, торчали полуобнаженные корни сосен. Было тихо. У въезда в карьер, на узкоколейке, которая недалеко обрывалась, стояла вагонетка. Могучий Вилли взобрался в нее.

— Подтолкните меня!

Со скрипом и лязгом шаткая повозка двинулась с места. Вилли замахал руками и едва успел прыгнуть на песок, как вагонетка опрокинулась.

— Вилли, поди сюда: погляди, на что ты ступил своей лапшей!

Остальные подошли тоже. Нога Вилли разрушила здание из песка, по-видимому построенное игравшими здесь детьми.

— Крепость?

— Надо бы построить модель Высшего технического училища.

— Вот удивилась бы завтра деревенская ребятня!

— Материал не так уж плох.

— Но если строить, то с шиком и по всем правилам!

И через минуту шестеро молодых людей уже сидели в карьере и, горячо споря о верности модели оригиналу, о пропорциях и других деталях, с увлечением воспроизводили на его ровном дне здание Высшего технического училища, на строительстве которого они работали.

— Нужна вода!

Книжника Бернда, снабженного консервной банкой, командировали к ближайшей луже. Разметили парк, в котором предстояло возвести Высшее техническое училище, а на крыше корпуса № 6 даже соорудили обсерваторию. Вилли выстругал палку.

— Это будет флагшток!

— Теперь не хватает только флага.

— Кто пожертвует носовой платок?

Не нашлось никого, кто пожелал бы отдать свой.

Тогда могучему Вилли пришла удачная мысль:

— Пойдем в деревню и подведем к какой-нибудь девчонке! Надо же раздобыть флаг!

Все шестеро отправились в путь и, подгоняемые жаждой приключений, ворвались в деревню.

Стало смеркаться. Где-то скрипел насос. Из сараев доносилось звяканье ведер и мычанье коров. Миром веяло от этой деревни. Оказывается, учинять налеты на девушек не так-то просто...

Молодые люди шли по улице несколько неуверенно, но с твердым намерением «отмочить штуку».

И когда наконец появилась женская фигура, из шести глоток, словно по уговору, полилась лихая песня.

Могучий Вилли взял курс на женщину. На одной руке она держала ребенка, в другой — тяжелую ношу. То была изможденная женщина, с недобрим лицом. Нет, им нужна другая.

— Извините, тетенька, — сказал Вилли.

Следующая девушка шла с парнем. Ничего не подаетесь...

Уже показался край деревни; зашло солнце. Любитель книг Бернд заговорил о возвращении в город.

— Если вы хотите еще попасть в кино, то уже пора...

В это время из крайнего дома вышла девушка. Не вышла — выскочила! Было удивительно смешно смотреть, как она, спотыкаясь, вылетела из дверей, галопом проскакала по палисаднику и внезапно остановилась, словно курица в столбняке. А в руке — не держит ли она в руке что-то белое? Носовой платок! Ее-то нам и нужно! Вперед! Когда девушка заметила приближение шестерки молодых людей, она тронулась с места. Повернувшись к ним спиной, торопливо направилась в деревню. Ребята пустились ей вдогонку. Могучему Вилли пришлось затормозить, не то они налетели бы на нее всей оравой.

Один из них откашлялся.

— Куда так поздно, барышня?

— Ах, барышня, не найдется ли у вас огонька?

Смех без причины, еще и еще. Небольшая разрядка накопившегося напряжения.

— Где здесь ближайшая остановка?

— Барышня, у вас из левого кармана падает носовой платок.

Ага, она пошла быстрее. Не оборачиваясь, спешила вперед, низко опустив голову. Под узлом волос они отчетливо различали полоску белой шеи. Она бледно светилась в сумерках.

Тогда могучий Вилли снял шапку, сорвал с нее увядший нарцисс, нацелился и бросил. Цветок угодил в белую

шю, свалился и попал мальчикам под ноги. Девушка вздрогнула и пустилась бежать. Не оглядываясь, мчалась она по полю, преследуемая всей стаей.

— Вот теперь начинается!

Не сговариваясь, разом, они взялись за руки и замкнули девушку в кольцо.

— Наконец-то мы ее поймали!

Что произойдет теперь, когда она поймана, этого они и сами еще не знали.

Испуганно озираясь, девушка металась внутри круга. Но где бы она ни пыталась прорваться — молодые люди тесно смыкались и не выпускали ее.

— Ничего не выйдет! Попалась!

Они грозно надвигались на нее, все ближе и ближе. Плотным сжатым кольцом стояли они вокруг девушки, и ей пришлось теперь также остановиться.

Вдруг могучий Вилли прыгнул вперед, вырвал у нее из рук белый лоскут и спрятал его в карман.

Из шести глоток вырвался ликующий вопль.

Девушка же — что с ней случилось? С выражением растерянности она прижала руки к вискам, и губы ее зашевелились:

— Мой отец... но мой отец... мой отец только что скончался! Мой отец...

Казалось, она еще не в состоянии постичь того, что произносит: «мой отец умер!» И внезапно — словно страшное событие стало реальностью только теперь, когда она сказала о нем, — девушка разразилась громким, жалобным, надрывным плачем. Круг тотчас же разомкнулся, и она бросилась бежать, не разбирая дороги, прямо в поле.

Мальчики сразу умолкли и испуганно попятились. Спотыкаясь, брела девушка по полю. Одна-одинешенька в блекнущем свете дня.

— Черт побери... — пробормотал один из шести и стиснул зубы. Они искоса наблюдали за могучим Вилли. Однако тот молчал. Отсутствующим взглядом смотрел он в одну точку, но вдруг повернулся и побежал вслед за девушкой.

Когда он догнал ее, она все еще плакала.

— Вам надо пойти домой, — тихо сказал он, — становится темно.

— Но ведь не может быть, чтобы это навсегда! — выдавила из себя девушка и горько зарыдала. Она

схватила Вилли за рукав и, беспомощно всхлипывая, глядела на него, словно именно он — совершенно чужой парень — должен знать средство против страшного слова «никогда».

Они подошли к краю поля, и Вилли уговорил ее присесть на бревно. Он снял пиджак и накинул его на ее дрожащие плечи; на мгновение девушка успокоилась. Но вскоре она снова заплакала. Прерывисто дыша, с вздымающейся грудью, она рыдала так, словно какая-то сила выталкивала ее сердце из тела.

— Мне надо было еще так много ему сказать...

Вилли не мог говорить. У него тоже сжало горло. Стало прохладно. Стемнело. Только за деревней еще сиял бледный, холодный свет угасшего дня. И девушка снова заговорила, задыхаясь от слез:

— В последнее время я была с ним неласкова. Я больше не могла справиться со всем, что на меня навалилось. Одной мне было не под силу поднимать его! Приходилось каждый раз ждать, пока кто-нибудь придет и поможет мне...

Голос ее пресекся.

— Еще только раз, отец!.. — прошептала она. — Я все сделаю как следует...

Вилли взял ее руку и сжал в своей.

— Много крови... — пролепетала девушка сквозь слезы, — под конец я уже не могла этого выносить. И он, конечно, это заметил... он не мог не заметить...

И она снова ухватила за незнакомца, сидевшего с ней рядом в потемках.

Вилли не знал, что предпринять. Лоб его покрылся потом, он снял шапку. Искоса наблюдал он за девушкой и испытывал до боли тягостное чувство оттого, что она, продолжая рыдать и всхлипывать, размазывает слезы рукой. Вдруг он понял: что же ей остается — ведь он выхватил у нее носовой платок!

Смущенно вложил он его в руку девушки и сказал:

— Ах, все мы только люди...

Она умокла. Высморкалась, утерла слезы.

— Мне надо пойти домой, — тихо произнесла она, — переодеться.

Неверными шагами побрели они назад через поле в сгустившемся вечернем сумраке.

Перед дверью дома Вилли Клейнганс снял с девушки пиджак, и она впервые взглянула ему в лицо.

— Ведь правда же... — тихо произнес он, и она поняла, что это сказано в подтверждение прежних утешительных слов.

Она снова всхлипнула, но благодарно кивнула ему. Потом вошла в дом.

Остальных Вилли встретил на деревенской площади. Времени в обрез! Чтобы попасть в город, в кино, надо поторопиться! Все были молчаливы. Больше всех — Вилли Клейнганс. У него не выходило из головы то, что он сказал девушке: «Все мы только люди...» Если выпустить слово «только», останется главное: все мы люди. Разумеется, люди. Что же еще? И такая девочка тоже... Это показалось ему таким странным. И все-таки правильным...

ПЕРВЫЙ ВЕЧЕР

Манфред сидит в зале около самой двери. Перед ним на шатком грязном столе стоит ящик из-под сигар с мелочью и входными билетами.

Он дремлет, подняв воротник пальто и засунув руки в карманы. Тихо. Только кое-где еле слышно поскрипывают и потрескивают гнилые половицы. Сквозь щели плохо закрывающейся двери тянет холодом. Манфред пробует немного размять застывшие ноги. Вдруг он слегка поежился. Лицо его исказилось. «Погода меняется», — подумал он, осторожно и медленно вытягивая культю правой ноги с протезом. Его настроение было сумрачно, как и свет двух тусклых электрических лампочек, которые, свисая с потолка, болтались на шнурах над пропыленными гирляндами бумажных цветов. Он еле сдерживался, чтобы не дать воли плохому настроению и досаде. Неприглядность и нищета этого зала, единственного в деревеньке, уж, конечно, не могли улучшить его настроение.

Стены потрескались, краска облезла, а на потолке, который когда-то был белым, выступили пятна плесени. Будь его воля, он сунул бы ящик из-под сигар под мышку, решительно захлопнул за собой дверь, сел к Отто в машину и навсегда уехал бы отсюда. Да, Отто! Черт знает, где он болтается. В зале его нет. Только пожилые супруги, которые пришли точно к указанному часу, стоят около отапливающейся опилками печи и зябко потирают руки.

Именно так и представлял себе Манфред сегодняшний вечер. Он угрюмо посмотрел на часы и покачал головой. Через десять минут следовало бы начать лекцию.

В прошлый раз, по крайней мере, было так. Позавчера в Бургдорфе зал был полон за пятнадцать минут до

начала. Бургдорф? Манфред улыбается, представляя себе заново отстроенный дом культуры, сверкающие люстры, оживленных, празднично настроенных людей.

А здесь! Два человека! Он предсказывал это секретарю районного комитета еще тогда, когда тот запланировал выступление и в этой деревушке, заброшенной и отсталой. «Ничего не выйдет, — говорил он, — мы потерпим крах. Всего около двухсот пятидесяти жителей. Жаль бензина, который мы потратим на поездку!»

Но Оскар, секретарь, возразил ему: «Именно потому, что это маленькое местечко, именно потому, что оно отсталое, мы и должны туда ехать. В крупных селах новое уже пустило корни. Там работают МТС, демонстрируются фильмы и проводятся собрания, там имеется местная партийная группа и во всяком случае организация «Свободной немецкой молодежи». А в Оберхаузене ничего этого нет. Что же удивительного, если деревня спит? Ты ищешь легкой жизни, Манфред. Мы ведь не концерты устраиваем».

С досады Манфред напустился на Оскара. Это он-то, Манфред, ищет легкой жизни! Именно он?! Разве каждое организованное им до сих пор мероприятие не проходило успешно? Разве он когда-нибудь пугался трудностей? А теперь ему, видите ли, бросают упрек, что он ищет легкой жизни. Смешно! И этот пустой зал только наглядно подтверждает его мнение, что случайные наезды в маленькие местечки пока что не оправдывают себя.

Манфред встал и прсшелся перед столом. Досада так и закипала в нем, как только он вспоминал о споре с Оскаром. Был бы здесь хоть Отто! И доктор еще не вернулся со своей прогулки по деревне. Почему они оставили его одного в этом пустом, голом зале, где, казалось, из всех углов смотрят на него ехидные рожи? А толстяк трактирщик, хозяин этого помещения, прямо заявил, что они своей чепухой, как он назвал их мероприятие, не заманят ни одной собаки. Но он подвернулся под горячую руку. Манфред ему хорошо ответил, хотя, может быть, резче, чем следовало бы. И только отмахнулся, когда тот заявил, что платить за помещение придется, если даже явятся всего пять человек.

Возможно, и столько-то не придет. Во всяком случае, на это похоже.

Если бы жители деревни знали, какой замечательный доклад сделает доктор, они бы толпой повалили, но они не знают этого. Его научно-популярная лекция «Ясновидение и другие средства одурманивания народа» увлекательна и, что еще важнее, убедительна.

Неожиданно Манфред очнулся от своих мыслей: снаружи перед входом послышались громкие голоса. Удивленный и обрадованный, он снова уселся на свой стул, приготовил ящик и взял в руки пачку билетов. Дверь открылась. Мартовский воздух ударил ему в лицо, как струя холодной воды. Но никто не вошел. Голоса умолкли. Качая головой, Манфред поднялся и вышел за дверь. Пусто! Лампа на стене освещала только вход. Кругом в углах и закоулках просторной площади было темно. Манфреду послышался приглушенный смех и шепот, но видно ничего не было. Настроение его становилось все хуже. Ему захотелось выругаться, но он сдержался. С силой захлопнув дверь, он опять уселся за свой стол. «Культурная работа, — сердито проворчал он себе под нос, — к черту ее! Сначала нужно научить их прилично вести себя».

Завтра утром он поговорит с Оскаром. Смешно. Он ищет легкой жизни! Ежедневно трубить по десять-двенадцать часов — может быть, этого мало? Уже давно не помнит он ни одного свободного вечера. В конце концов он еще молод и тоже хотел бы когда-нибудь провести время со своей девушкой. А вместо этого приходится трепать здесь нервы. Манфред злобно расхохотался. В то же мгновение он подумал: а почему жители деревни не знают, какой замечательный доклад подготовил доктор? Что он, Манфред, сделал для организации этого первого вечера? Послал бургомистру несколько плакатов. И Манфред развел руками. Разве он виноват, что тот их не развесил? Ну ладно, он подождет еще немножко, вернет супругам их деньги и уйдет отсюда. Хватит! Он-то во всяком случае свой долг выполнил. Но от этого заключения ему не становилось легче. Как-никак это будет первое провалившееся мероприятие за все последнее время.

Опять открылась дверь. Две девушки лет шестнадцати-семнадцати усталились на него смущенно и в то же время вызывающе и вдруг, глупо, без видимой причины захихикав, выскочили вон. Оглушительный смех несся в открытую дверь. В стену забарабанили кулаками, зашвистели. Затем раздался быстрый топот по мостовой.

Манфред в бешенстве вскочил и, ковыляя, вышел наружу. Конечно, никого. Он услышал, как где-то на улице хлопнула дверца автомобиля. «Отто», — подумал он с горечью. Но в тот же момент его отвлек приглушенный смех. Он ощутил на себе ехидные испытующие взгляды. Он понял: от него только и ждут гневной вспышки.

— Перестаньте дурачиться! — сказал он сердито, но сдержанно. — Или вы думаете, мы приехали сюда ради собственного удовольствия? — На мгновение он замолчал, так как его собственные слова показались ему пустыми и ничего не значащими. И сейчас же взволнованно, досадуя на самого себя, продолжал: — Стыдитесь, из-за вас мы ночи не спим.

— Сидели бы дома! — возразил ему звонкий голос из-за какого-то угла. Эта реплика сопровождалась злорадным хохотом.

Манфред сощурился и мысленно измерил расстояние до угла, где, вероятно, спрятался говоривший, но вовремя вспомнил о своем протезе. Насмешливые выкрики стали бы куда злее, если бы он никого не догнал. В раздражении он молча повернулся и пошел обратно в зал.

«Больше никогда никакими силами не затащат меня сюда», — подумал он. Только он уселся, как дверь снова открылась. Он уже хотел вскочить, но увидел перед собой трех женщин и одного мужчину.

— Что, не состоится? — спросил мужчина ворчливым голосом и заглянул в зал.

Манфред поторопился уверить их, что через несколько минут все будет в порядке.

— Подождем только, пока ваши соседи загонят волов в стойла и созовут кур на насест, — добавил он несколько язвительно.

Женщины засмеялись. Только мужчина остался невозмутимым.

Манфред испытующе посмотрел на него. Худое лицо, равнодушный взгляд, грязный солдатский мундир, первоначальный цвет которого едва можно определить. Только место, где когда-то был нашит обанкротившийся стервятник, выделяется темным пятном.

— У нас побольше дела, чем у вас, — говорит мужчина, иронически усмехаясь.

Манфред внимательно приглядывается к нему. Он чувствует недоверие этого человека. Почти в каждом

местечке встречал он подобных людей. Их слишком часто обманывали за последние годы. Поэтому-то они про-веряют и взвешивают все, что им преподносят. Но Ман-фред всегда умел найти к ним подход. А сейчас он, как ни старается, ничего не может придумать. «Н-да», — только и пробурчал он и, полуобернувшись к женщине, которая спросила его, будет ли сегодня вечером что-нибудь, отве-тил утвердительно.

— Денег-то у нас не густо, — вставляет ее спутница. — Где же ваш фокусник? — и она озирается вокруг.

Манфреда точно обухом по голове ударило. «Фокус-ник», сказала она. Счастье, что доктора здесь нет. Он по-перхнулся и уже собрался было ответить, но женщина, тыча указательным пальцем ему в грудь, спросила опять:

— Фокусы-то у него хоть смешные, молодой человек? А то мы и не пойдем, правда, Лина?

— Жизнь и так достаточно серьезна, — произнес муж-чина с неприятным смешком, — и что ни день, то стано-вится печальнее!

Манфред снова увидел темное пятно на мундире и чуть не вспыхнул. Ему захотелось спросить мужчину, не ску-чает ли он по той жизни, когда на это темное пятно был нашит орел, хотел перечислить ему все успехи, достигну-тые в упорной, неутомимой работе, но не сказал ничего, стиснул зубы и промолчал. Иначе, совсем иначе нужно говорить с этим человеком, если хочешь его убедить. А сегодня Манфред просто ничего не может придумать. Голова у него, как котел, и настроение от этого не стано-вится лучше.

— Ну, как же, — повторила женщина, — смешно-то бу-дет?

Манфред вздрогнул.

— Смешно? — повторил он медленно. Судорожная веселость сменила досаду. — Конечно, будет смешно. И еще как! Наш фокусник мастер шутить. Вы будете хохотать до упаду. Представление начнется через несколько ми-нут. — И неожиданно, как заправский кассир — он услы-шал шаги на улице, — перешел на деловой тон:

— Четыре билета? Пожалуйста, каждый билет стоит одну марку пять пфеннигов. Пять пфеннигов — это куль-турный сбор, понимаете? Они пойдут в культурный фонд! Ну, что скажете?

— Что это за пять пфеннигов на культуру? — недоверчиво спросил мужчина.

— Культурный сбор, друг мой, — с готовностью ответил Манфред и посмотрел на собеседника.

Женщина, которую звали Лина, возмутилась:

— Какой там еще культурный сбор?

Манфред глубоко втянул воздух. Этого вопроса он не ожидал.

— Видите ли, — начал он, — пять пфеннигов взимаются с каждого культурного мероприятия: кино, театра, спорта, с танцев даже десять пфеннигов; все эти деньги стекаются в общую казну. И из них финансируются все культурные мероприятия. Скажем, есть здесь, в местечке, библиотека. Так вот, устройство ее, содержание и, наконец, сами книги стоят денег. Вы можете брать книги, читать их и повышать свое развитие.

Лина коротко и решительно прервала его:

— Мы не читаем, у нас нет времени!

— Ну, ваши дети читают, — пытался объяснить ей Манфред.

Женщина покачала головой:

— У нас нет детей.

Манфред вздохнул:

— Так заведите детей, это нетрудно.

Женщины захихикали.

— Ну-ну! — погрозила Лина. — Вы, я вижу, шустрый.

Смеясь, они отошли и сели на места. Лишь мужчина остался ждать ответа.

— Помимо того, — продолжал Манфред, — на эти же средства поддерживаются организации, которые проводят всякие мероприятия, как мы, например, сегодня у вас!

— Да мы ведь за это уплатили, — сказал мужчина сердито и сунул билет под нос Манфреду.

Манфреда прошиб пот. Он в отчаянии взглянул на дверь. Хоть бы Отто пришел! Или доктор! И что это Отто так долго возится с машиной? Уж не трогал бы, а то мотор опять откажет на обратном пути. Манфред был так обескуражен, что не мог произнести ни слова. Мужчина пристально посмотрел на него, еще раз язвительно засмеялся и медленно направился к женщинам. Манфред, красный, смущенный, молча выдал билеты еще трем вновь прибывшим посетителям.

«Какой позор, — думает он, — а все оттого, что мы недостаточно усвоили самые основные вещи. Завтра же утром надо обсудить это в секретариате. Как можно переубедить людей, если не знаешь, что отвечать на такие простые вопросы?»

Манфреду было ясно: все, что он говорил и как говорил, было неправильно. Ему следовало сказать о национальных премиях, новых домах культуры, о юбилеях Гёте и Баха, о воспитании молодых талантов, о новых театрах! Но поняли бы они все это? Та, которую звали Лина, безусловно, ответила бы, что о юбилее Баха она никогда не слышала, а мужчина заявил бы, что он не получал национальной премии. Нет, им нужно говорить о том, что за последние годы сделано в их деревне на эти деньги и что еще предстоит сделать. Жителям Бургдорфа нет надобности пояснять, для какой цели употребляются культурные сборы. Они ежедневно собственными глазами видят свой новый дом культуры!

Весь апломб и пренебрежение к местным жителям как рукой сняло. Манфред беспокойно заерзал на стуле, не осмеливаясь заглянуть в зал, где сидел мужчина в мундире. Разве он, этот человек, не имел основания не доверять им?

Манфред закурил сигарету и жадно затянулся. До сих пор он слишком поверхностно относился к своей работе. Мероприятия проводились по хорошо испытанной, но, как доказал сегодняшней случай, стандартной, негибкой схеме. Он гордился своими успехами и почивал на лаврах. Прищурившись, уставился он в пространство. Все надо изменить. Во что бы то ни стало. Нельзя ограничиваться посылкой бургомистру нескольких плакатов. В следующий раз перед началом доклада он скажет пару слов о назначении тех пяти пфеннигов, которые каждый посетитель уплачивает при покупке билета.

В следующий раз? Будет ли этот следующий раз? Он взволнованно поднялся. Ему пришли на ум озорники, шумевшие на улице. Если он заманит их в зал, сегодняшнее мероприятие не провалится. Не долго думая, он вышел за дверь. Примерно двадцать юношей и девушек толпились у порога и громко разговаривали. Заметив его, они умолкли и принялись рассматривать его с любопытством, но немного боязливо. Манфред заставил себя улыбнуться.

— Ну как? — спросил он возможно равнодушнее. — Мы начинаем!

— Денег нет, — прошипел кто-то сзади и дерзко посмотрел ему в глаза.

— Лучше десяток сигарет купить, — добавил другой.

— Вообще какая-то чепуха!

— Устроили бы танцы!

— Где ваш ясновидец?

— Верно, наводит тень на ясный день?

Опять поднялся хохот. Один пронзительно засвистел, сунув в рот два пальца, но, заметив на себе взгляд Манфреда, замолчал и смущенно отвернулся. Парни и девушки толкали друг друга, шушукались и вдруг все как по команде повернулись и пошли прочь.

Манфред испугался. Улыбка сошла с его лица. Если он не вернет их, все пропало. Тогда доклад действительно провалится. Они не скоро придут сюда опять.

— Минуточку! — кричит он громко и спешит их догнать. Компания останавливается и смотрит на него.

— Есть у вас сегодня вечером что-нибудь другое на примете? — Они недоверчиво смотрят на него. Некоторые девушки хихикают. Мгновение царит молчание. Наконец один, криво улыбаясь своим товарищам, нерешительно говорит:

— Нет, собственно говоря, ничего.

— Ну, тогда входите, — поспешно говорит Манфред. — Сегодня платить не нужно, потому что мы здесь впервые. Согласны?

Его слова были встречены смущенным молчанием. В это время как раз пришел Отто. Насколько нетерпеливо ожидал его Манфред до сих пор, настолько мешал он ему теперь. Поэтому он сейчас же попросил его сесть за кассу.

— Вы боитесь? — говорит Манфред вызывающе.

Один из юношей прерывает молчание:

— А что, собственно, сегодня тут будет?

Манфред уже собрался ответить, когда увидел доктора, стоявшего в дверях в группе женщин и мужчин.

— Алло, доктор, можно вас попросить на минутку? — И, обернувшись к юношам и девушкам, добавил: — Он объяснит вам лучше, чем я.

— В чем дело? — доктор Альсен посмотрел на Манфреда, потом на окружавшую его молодежь. Манфред в двух словах объяснил ему, что тут происходит.

— Ах так, — засмеялся доктор, — вы думаете, я какой-го аферист? Покажи-ка твою руку? — Он схватил за руку одного юношу, который хотел испуганно улизнуть. Серьезно и задумчиво взглянул доктор в глаза юноше. Все затаили дыхание. Только Манфред улыбнулся. Он знал этот трюк.

— Тебя зовут Ганс, — неожиданно сказал доктор. По толпе прошел шепот. — А твои друзья... — доктор Альсен испытующе посмотрел вокруг. — Вот эти двое! Правильно?

Юноша даже рот раскрыл. Что-то похожее на ужас отразилось в его глазах. Доктор звонко рассмеялся.

— Ну, что вы теперь скажете? Хуже справляюсь, чем ваши гадалки?

— Обман! — крикнул кто-то.

Доктор Альсен смеялся.

— Конечно, все это обман. Хотите знать, как я это сделал?.. Да? Хорошо, тогда входите, я объясню все, что вас интересует.

Манфред проводил доктора в зал.

— Вы знаете этого парня, доктор?

Тот лукаво улыбнулся.

— Конечно, он сын трактирщика. Я днем выпил у них кружку пива и при этом все узнал.

Когда Манфред вернулся, он услышал, как один долговязый парень с всклокоченными светлыми волосами убеждает своих взволнованных товарищей:

— Я всегда говорил, что это обман. Откуда им знать? Но моя мать верит в это!

— И все предсказания сбываются? — спросил Манфред.

Парень покачал головой.

— Она думает, что это зависит от гадалки. На рождество она была у одной, та сказала, что в дом придет письмо. Вот уж чепуха! Это и я могу предсказать. На рождество всегда приходят письма.

Он с возмущением оглянулся на своих друзей, и те тоже вдруг припомнились подобные случаи. Один из них обратился к Манфреду:

— А он в точности растолкует нам, как все это получится?

Манфред кивнул. Он вкратце рассказал им, как будет проводиться вечер, и закончил:

— Ну, теперь входите, пора начинать!

Робко подошли они к двери, потом опять остановились. Блондин осведомился, часто ли они будут теперь приезжать. Манфред ответил утвердительно и вспомнил о своем решении никогда больше не показываться в этой деревне. Он сам не понимал, как мог всерьез подумать нечто подобное. Оскар удивится завтра, когда Манфред подаст кое-какие советы для дальнейшей работы. Вслух он произнес:

— Через две недели мы приедем с лекцией об атомной энергии и будем иллюстрировать ее диапозитивами.

«Здорово!» — крикнул кто-то. И они забросали его вопросами. Только напоминание Отто: «Начинаем» — водворило тишину. Юноши и девушки осмелели. Первым вошел в зал блондин. Теснясь и толкаясь, последовали за ним остальные. Только двое парней, иронически посмеиваясь, посвистывая и засунув руки в карманы, покинули зал. Когда за последними из вошедших закрылась дверь, Манфред перевел дух. «Дело сделано», — подумал он и только теперь почувствовал, что нога у него замерзла. Поднимаясь по ступенькам в трактир, чтобы поскорее глотнуть чего-нибудь горячего, Манфред обдумывал, как он подготовит лекцию об атомной энергии. Хорошо, что у него возникла эта мысль. Сегодня доктор сорвет у них с глаз пелену, чтобы они прозрели, а через две недели — тут Манфред улыбнулся — они узнают, что нет никакой судьбы, никакого провидения и что жизнь определяется ими самими. Держась за ручку двери, он остановился. «А мужчина в мундире?» На мгновение досада вновь охватила его, но исчезла так же быстро, как и возникла. «По окончании я побеседую с ним, — подумал он. — Пусть сначала послушает доктора!»

Манфред нажал ручку и вошел.

БАЦИЛЛА

Двери вагона автоматически закрылись, и поезд отошел от станции. Д-р Геппнер вздохнул с облегчением — не слишком громко, чтобы не привлечь внимания дремавшего рядом господина. Фридрихштрассе — последняя станция Восточного сектора, за ней Западный Берлин — и свобода.

Его взгляд скользнул по Анжеле. Она нервно теребила пальто. Уж очень она бледная! Бедняжка! Годы дают себя знать. «У меня, по крайней мере, была работа, — подумал д-р Геппнер. — А что оставалось ей? Только дом и постоянные мелкие заботы: о еде, об одежде, о Хейнце — ведь мальчик рос в мире, который не был нашим миром». И все-таки он любил жену — любил спокойной любовью, не выражая своих чувств вслух.

— Теперь все в порядке, — сказал он. — Все в полном порядке.

Она взглянула на него красными от бессонных ночей глазами. Ей почти все пришлось делать самой: отобрать ценности, которые они взяли с собой, упаковать самое необходимое. Мы не можем набирать много вещей, вдалбливал Геппнер жене, — да и не к чему: нам дадут и дом, и мебель, и белье, и столовое серебро; мы будем жить лучше, чем жили до сих пор, но женщинам трудно расстаться с милыми вещами: с картинами, с книгами, с какой-нибудь лампой или вышитой скатертью, словом, с воспоминаниями... вырвать прошлое с корнем.

Да он и не мог ей ничем помочь. До последнего вечера, вплоть до последней минуты у него то совещания, то заседания, волнения, спешка... К тому же все время приходилось бороться с искушением оставить им краткие указания или хотя бы намекнуть, как поступить в том или ином случае, особенно, как быть с его новым методом, позво-

ляющим получать из бурого угля высокооктановый бензин. Но даже малейший намек мог бы вызвать у них подозрение, привлек бы к нему внимание, а ведь он знал, что бегство пройдет гладко только потому, что они слепо ему доверяют. Д-р Геппнер завоевывал это доверие годами, начиная с сорок пятого: он был одним из первых, кто вернулся на завод, одним из первых, кто на прямой вопрос русского полковника ответил: «Да, я буду работать... Разумеется, я буду работать».

— Мы скоро? — услышал он голос Анжелы.

Усилием воли д-р Геппнер заставил себя вернуться к действительности.

— Да, да, скоро будем на месте, — успокоил он жену. — Все неприятное уже позади. Мы поедем отдыхать. На озеро Комо...

Он не закончил фразы. Господин, дремавший возле него, кашлянул.

— Нам далеко еще ехать? — спросила Анжела.

— До станции Цоо. Там нас ждет машина.

Все было просто, так просто, что невольно закрадывалась мысль — что-то должно случиться, хотя после Фридрихштрассе уже ничего не могло случиться. Заводская машина подъехала к их дому, к вилле, принадлежавшей некогда одному из воротил концерна. Они с Анжелой и Хейнцем сели в машину и три с половиной часа мчались по автостраде. В придорожном ресторане он угостил шофера сосисками с картофельным салатом и кофе; в Восточном секторе Берлина шофер остановил машину у гостиницы, где по распоряжению Бахмана для них были приготовлены комнаты.

За все это время он пережил только один неприятный момент, когда шофер захотел внести чемоданы в гостиницу. Однако д-р Геппнер сумел отделаться шуткой:

— Я не старик, дружище! А это не сундуки! — сказал он с улыбкой.

— Господин Бахман приказал мне весь день быть в вашем распоряжении, — ответил шофер.

— Нет, нет, в этом нет необходимости! — Нужно было еще раз приветливо улыбнуться. — Впрочем, постойте-ка... — И он отдал шоферу тщательно запечатанный пакет; там лежала трудовая книжка д-ра Геппнера, его служебный пропуск, паспорта — его, жены и Хейнца — и письмо... — Забыл утром занести пакет на завод. Пере-

дайте его, пожалуйста, господину Бахману, как только вернетесь.

Шофер взял толстый пакет, сунул его, не раздумывая, в карман, приложил пальцы к козырьку, сел за руль и уехал.

Они с Хейнцем сами отнесли чемоданы на вокзал городской железной дороги. А теперь на станции Цоо стоит другая машина и ждет их. Все очень просто.

— Ты мне наконец скажешь, что все это значит?

Это спрашивал Хейнц, спрашивал, сердито сжав губы и наморщив юношески гладкий лоб.

Д-р Геппнер забарабанил ногтями по окну.

— Отец, — сказал мальчик громче, стараясь перекричать шум колес. — Почему ты забрал у меня паспорт, почему вы взяли меня в Берлин, почему мы не остановились в гостинице?.. Уж не хотите ли вы?..

В его голосе послышалось что-то похожее на страх, на страх, смешанный с негодованием. Заспанный господин удивленно уставился на них.

— Да, конечно, мой мальчик, этого мы и хотим, — ответил твердо д-р Геппнер. — Я тебе все объясню позже.

Поезд подъезжал к станции Цоо.

— Пошли, — сказал д-р Геппнер. Он взял чемодан, сделал Хейнцу знак, чтобы тот взял другой.

Когда они, пройдя через контроль, спускались по серым, грязным ступенькам вокзала, д-р Геппнер стал думать о том, что, собственно, побудило его отдать пакет шоферу. Не потребуют ли у него здесь эти документы? И зачем он написал Бахману письмо? Правда, в письме было всего несколько сухих строк о том, что он отказывается от своей должности на заводе и прилагает к этому заявлению соответствующие документы. Д-р Геппнер терпеть не мог неясностей: разрыв должен быть корректным, и зачем возбуждать к себе излишние недобрые чувства. Беда только, что Бахман очень умен. Он сразу почувствует, что это письмо — своего рода извинение и что уважаемый д-р Геппнер оставил себе что-то вроде мостика, пожалуй, даже не мостика, а тоненькой веревочки, чтобы с ее помощью можно было снова перебраться через пропасть, которую он сам вырыл своим бегством.

Но ведь у него не было такого намерения, когда он писал письмо. Не было! Ни в коем случае не было!

О, какой здесь комфорт и уют! Уют и комфорт!

Можно выспаться вволю, поздно позавтракать, отдохнуть наконец после всех тех лет, когда тебя постоянно торопили и ты сам подгонял себя... Наконец-то можешь сходить в кино, посидеть в кафе — здесь есть даже ночная жизнь! Все не так, как там, дома, где после восьми жизнь замирает, разве что засидишься в лаборатории, или на совещании, или тебе вдруг позвонят, что ты должен явиться к Бахману на обсуждение какого-нибудь вопроса, которые возникали непрерывно.

Здесь к нему никто не приходил, никто ему не мешал, никто не надоедал. А на заводе его отвлекали ежеминутно. И чаще всего ассистенты, эти молокососы, их было даже жаль, так они торопились за какие-нибудь шесть месяцев узнать то, что дает опыт долгих лет. Он, правда, иногда помогал им, подсказывая время от времени, как правильно решить тот или иной вопрос. Они все сумасшедшие там, на Востоке! Они хотят строить в два раза быстрее, чем позволяют человеческие силы, и поэтому, понятно, спотыкаются, топчутся на одном месте, потом начинают все сначала. И дело бы спорилось, если бы они так не спешили. А хуже всего, что этот изматывающий нервы темп они навязывали и ему. Если прежде приходилось обучать одного-двух человек, теперь к нему приставали десять, а ведь у него была и своя работа! Подумать только, даже рабочие, простые рабочие приходили к нему, переминались с ноги на ногу и говорили: «Господин Геппнер... Может быть... Нельзя ли вот это делать так, а вот это так, тогда нам удастся сократить процесс, и все пойдет лучше, и мы еще сэкономим на этом...» Хорошо хоть, что таких было немного и что их предложения большей частью никуда не годились, но один или два раза они нащупали интересные решения, которые он признал разумными и помог провести в жизнь. А почему бы и нет? Он любил завод. Он начал там работать желторотым птенцом, молодым химиком, сразу после университета; в войну он страдал вместе с другими, когда огромные корпуса завода взлетали на воздух; он был там, когда восстанавливали завод, в этот завод вложена частица его самого, д-ра Геппнера, особенно в новые агрегаты, которые были закончены только в последний год и сейчас вздымаются ввысь, так что их можно увидеть издали, даже с автострады. Когда машина везла его в Берлин, д-р Геппнер и увидел

их — последний кусочек его завода. Давно ли это было? Всего несколько дней назад, а кажется, что прошла вечность...

Он провел рукой по лбу, словно отгоняя от себя эти мысли. Нет, нет, жить там было тяжело и мучительно. Ученый — это ученый, и будьте любезны предоставить ему такие условия, чтобы он мог заниматься своей наукой, а если, кроме того, он должен заботиться о производстве, не мешайте ему заботиться о производстве и не приставайте к нему с вашим марксизмом и прочими выдумками. Как-то они даже привезли на завод одного из своих деятелей и напустили на ученых — так он такого наговорил! Если до этой сногшибательной речи кое-кто еще и колебался, то, выслушав ее, наверняка стал стопроцентным противником их режима. Нелегко пришлось потом Бахману — после собрания остроты так и сыпались.

Бедняга! Бахман порядочный человек, горит на работе. А во имя чего? Кто ему скажет спасибо? Семнадцатого июня они его подвели, эти самые рабочие, для которых он организовал ночной санаторий, и клуб, и обеды в два раза лучше, в три раза сытнее и вдвое дешевле, чем те, которые давал им прежде концерн. И все-таки Бахман не перестал с ними беседовать, разъяснять им снова и снова, что теперь это их завод и что они только себе повредили и никому другому, когда прервали производственный процесс и нанесли этим ущерб агрегатам. Идиоты! Если бы я был рабочим, подумал вдруг д-р Геппнер, я бы на коленях благодарил Бахмана за все, что он для меня сделал. Ведь старые хозяева концерна не давали рабочим и сотой доли того, что дал им Бахман. Но дело в том, продолжал размышлять д-р Геппнер, что я не рабочий, я — ученый и к тому же служащий концерна. Мне хлеб намазывают маслом с другой стороны: каждый день, который я проработал там, на Востоке, концерн во Франкфурте оплачивал вкладом на мой текущий счет. И это была настоящая валюта, а не пестрые бумажки! А как же иначе? Работая на Востоке, я служил господам из Франкфурта, я сохранял их собственность, предприятие теперь на ходу и будет на ходу в тот день, когда они вернутся, чтобы забрать его в свои руки.

Д-р Геппнер удовлетворенно кивнул. Какое ему дело до Бахмана и до того, что тот о нем будет думать? Бахману так или иначе придется пережить еще не один удар, когда он узнает, что и д-р Брунс, и д-р Колодный, и д-р

Паффрат тоже сбежали. Концерн по каким-то соображениям отозвал своих специалистов, и Бахману остались только зеленые юнцы да рабочие.

А вдруг Бахман несмотря ни на что справится? «Наш завод принадлежит народу, — сказал как-то Бахман, обращаясь к рабочим, — а мы и есть народ, значит мы работаем на себя, и поэтому нет таких препятствий, которых бы мы не преодолели».

Его бы устами да мед пить! Но пусть попробует обойтись без д-ра Колодного, д-ра Паффрата и вообще без всех, кто сбежал на Запад... Народ!.. Этот народ не может отличить черного от белого, эти люди не понимают, что для них сделано, только и знают, что брюзжать да жаловаться; а иной раз они так бесцеремонно обращались со своей народной собственностью, что д-ру Геппнеру приходилось одергивать их — ведь для него она была собственностью концерна. Ну а Бахман и те рабочие, которые приходили к нему с предложениями, как усовершенствовать тот или иной процесс, чтобы сэкономить несколько пфеннигов, — это разве не народ?..

Как все сложно... А почему он, собственно, сидит и ломает себе над всем этим голову? Все это в прошлом, путь назад отрезан.

— Что ты сказал?

Он услышал, как громко захлопнулась книга, увидел сына, лежавшего на кушетке в гостиной многокомнатного номера, который был предоставлен в распоряжение семьи д-ра Геппнера, увидел жену, которая, сидя у окна, полировала ногти. Слава богу, у семьи был теперь совсем другой вид! Первое, что они сделали в Западном Берлине — приобрели такие костюмы, в которых можно показаться в цивилизованном обществе, и роскошные чемоданы с выгравированными инициалами «Д-р Ф. Г.» — доктор Фридрих Геппнер. И обувь. И сумку, и две или три шляпки для Анжелы. Он собирался даже купить машину «Мерседес», но отказался от этой мысли из соображений географии. Ведь, чтобы из Западного Берлина попасть на машине во Франкфурт-на-Майне, нужно, к сожалению, проехать по территории той республики, из которой он сбежал. Да кроме того, концерн обещал ему и его семье билеты на самолет.

— Я только спросил, отец, не совершили ли мы ошибку.

— Тебе не стыдно, Хейнц? — сказала Анжела. — Перестань раздражать отца.

— Разве тебе там нравилось? — спросил д-р Геппнер у сына. — Разве ты не жаловался на то, чем тебя пичкали в школе, разве ты не возмущался их политикой, не подсмеивался над глупыми затеями их Союза немецкой молодежи, разве ты не мечтал о рубашках, какие носят на Западе, о ботинках, какие носят на Западе, о западных фильмах и западных книгах?

Сын молчал.

— Я понимаю, что тебе было тяжело расставаться с друзьями. Но ведь здесь ты сможешь найти новых друзей, и получше.

— Я хотел стать химиком, как ты, — ответил сын.

— Кто же тебе мешает? Университеты есть и на Западе, денег у меня хватит, чтобы заплатить за твоё обучение, и если ты хоть чему-нибудь научишься, концерн охотно возьмет тебя на работу.

— Не знаю, — сказал мальчик, — мне что-то уже не хочется быть химиком.

Д-р Геппнер закусил губу.

— Почему же? — спросил он.

— Не знаю, — ответил юноша и раскрыл книгу.

Д-р Геппнер вскочил. Он готов был дать сыну оплеуху. Но для этого сын был уже слишком взрослым. Д-р Геппнер начал ходить из угла в угол. Комната, которая только что казалась ему большой и просторной, с каждой минутой становилась все уже, все теснее. А все из-за этого ожидания. Оно может любого с ума свести. Почему им до сих пор не разрешают покинуть Берлин? Почему концерн медлит? Он хочет работать, работать и забыть прошлое, совершенствовать свое изобретение, создать что-нибудь новое, знать, что его исследования используются, что они служат людям, обогащают их жизнь!..

Он остановился. А какое ему, собственно, дело до людей, до их жизни? Он — ученый, он на службе у концерна, концерн платит ему за это, и хорошо платит. Больше его ничто не касается.

— Добро пожаловать! Добро пожаловать! Добро пожаловать! — гудел Шварц. Шварц — один из директоров

концерта — ведал кадрами, у него был хорошо поставленный голос и манера говорить со всеми запанибрата.

— О, прежде всего, дорогой доктор Геппнер, у меня для вас чудесная новость. Завтра утром вы с семьей отбываете на самолете вместе с господином Брунсом, господином Колодным и их семьями. Целый транспорт — так сказать, цирк на колесах!

Он захохотал, потирая руки.

— Мои коллеги тоже уже прибыли? — удивился д-р Геппнер. — Где же они, если это не секрет?

Шварц снова захохотал.

— Мы предпочитаем беседовать с вами с глазу на глаз. Откровенно и без обиняков. Без обиняков... — повторил он.

— Ах, вот как, — сказал д-р Геппнер и окинул взглядом кабинет. Он был отделан светлым деревом и обит песочной материей.

— А доктор Паффрат?

— Доктор Паффрат? — переспросил Шварц безразличным тоном. — Еще не прибыл. — Он указал на двух господ, стоявших подле него. — Разрешите представить вам мистера Уитерспуна.

Человек с квадратной головой и тяжелым взглядом серых глаз сухо поклонился.

— И господина Кэндла.

Господин Кэндл выглядел как помесь крупного бизнесмена и сыщика. Возможно, он был и тем и другим.

— Мистер Уитерспун представляет американскую сторону нашего предприятия, — сказал Шварц. О том, какую сторону представляет Кэндл, он предпочел умолчать.

— Разрешите мне прежде всего, доктор Геппнер, кое-что показать вам, — сказал Шварц, протягивая ему через стол лист бумаги. — Ваш текущий счет, за вычетом налогов.

Д-р Геппнер бросил взгляд на листок.

— Вы удовлетворены?

— Да.

— Чистая прибыль! — сказал Шварц. — Особенно, если учесть то обстоятельство, что ваши повседневные расходы за все десять лет оплачивали наши красные друзья.

Он снова захохотал, потирая руки, но потом перестал потирать руки и спросил:

— Не захватили ли вы с собой документы, доктор Геппнер? Я имею в виду паспорт, служебный пропуск и тому подобное.

— Все документы я вернул.

Наступило неловкое молчание. Господин Кэндл прервал его:

— Почему вы это сделали?

Хриплый, высокий голос Кэндла никак не вязался с его толстой краснощекой физиономией.

— Я не мог предположить, что они мне еще когда-нибудь понадобятся, — сказал д-р Геппнер.

Кэндл внимательно посмотрел на него.

— Ну, ладно, ладно. Это не так важно, — сказал Шварц. — Но, может быть, вы ответите нам на некоторые вопросы?

— Что здесь, собственно, происходит? — спросил д-р Геппнер. — Допрос?

— Ну что вы, ничего подобного, — сказал Шварц. — Всего-навсего ваша первая дружественная встреча с представителем концерна — нашего и вашего концерна — в обстановке полной свободы.

— Не разрешите ли мне тогда задать вам один вопрос?

Шварц пожал плечами.

— Зачем вы вызвали меня сюда? Разве я плохо работал? У вас были причины для недовольства? Все шло превосходно, предприятие росло, не слишком бурно, но и не так уж медленно, я выполнял свой долг — сохранял вашу собственность...

— Может быть, я сумею ответить, — сказал мистер Уитерспун. Он говорил на правильном немецком языке, лишь слегка запинаясь.

Два других господина почтительно молчали.

— Произошло нечто, — сказал мистер Уитерспун, полукрыв глаза, — что повлекло за собой кое-какие изменения. Нечто, заставившее нас изменить наши планы, но не отказаться от них. — Конец фразы мистер Уитерспун произнес с особым ударением. Он открыл глаза, взгляд их был жестким, как металл.

— Что же произошло? — спросил д-р Геппнер.

— Женева! — отрезал мистер Уитерспун. — Визит Адснауара в Москву. Сосуществование на неопределенное время.

Д-р Геппнер наморщил лоб.

— Я не совсем вас понимаю. Если все так, как вы говорите, зачем же вы отозвали меня, доктора Брунса, доктора Колодного и доктора Паффрата?

— Пробовали вы когда-нибудь разгрызть то, что вам не по зубам? — спросил мистер Уитерспун.

— Я не ребенок, — ответил д-р Геппнер.

— Мы тоже не дети, — сказал мистер Уитерспун. — Когда видишь, что орешек не по зубам, нечего стараться, чтобы он стал еще тверже, нужно подумать о времени, когда его можно будет разбить.

Шварц захохотал так, словно услышал удачный похабный анекдот. Господин Кэндл оставался безучастным. Д-р Геппнер подумал о Бахмане и вдруг поймал себя на мысли, что идея «разбить» Бахмана кажется ему попросту нелепой.

Озеро было сказочно прекрасным. И белоснежные горы, и дома, и пальмы видны были дважды — такими, какие они в действительности, и отраженными вниз головой в голубом зеркале озера.

Терраса гостиницы выходила на берег. Хейнц был где-то на озере, на одной из яхт, которые медленно скользили по воде. Д-р Геппнер сидел на террасе,пил маленькими глотками черный итальянский кофе и смотрел на Анжелу.

— Ты чем-то взволнован? — спросила она.

Бронзовый загар покрыл тело Анжелы и, казалось, даже разгладил морщинки на ее лице. Скоро заиграет оркестр, молодые люди не преминут пригласить ее потанцевать. «Что ж, это не так уж плохо», — подумал д-р Геппнер. Ей нравилась такая жизнь — пустая и бездумная, она была лишена всего этого там, где ему приходилось так много работать. Ей нравились мужчины и женщины, у которых была только одна цель в жизни: убить время и истратить деньги. Вечером открывались двери казино, и маленький сверкающий шарик начинал метаться по рулетке. Иногда Анжеле удавалось выиграть, тогда она, как ребенок, хлопала от восторга в ладоши.

— Ты чем-то взволнован? — повторила она.

— Не знаю, — ответил д-р Геппнер. — Просто я много думаю.

— Не надо думать.

— Привык, дорогая, — ответил он.

— А о чем ты думаешь?

Д-р Геппнер налил себе кофе и подождал, пока растает сахар.

— Все о бензине? — улыбнулась она. — Об октановом числе? О буром угле?

— И об этом тоже, — сказал он. — Но не это главное.

— Тогда о чем же?

Д-р Геппнер посмотрел на озеро, на отраженные в воде горы и пальмы.

— Я думал о том, как они со всем этим разберутся.

— Кто они?

— Ты знаешь, кто.

Она действительно знала. Он уже не раз поражался тому, как легко она его понимает. Лицо Анжелы омрачилось, вокруг глаз, которые с такой преданностью смотрели на него, появились темные морщинки.

— Будь они здесь, они уничтожили бы всю красоту и очарование этих мест, — сказала она. — Над конторкой портье они повесили бы портрет одного из своих великих деятелей, который глубокомысленно взирал бы на каждого входящего.

Д-р Геппнер улыбнулся.

— А над входом в гостиницу они повесили бы плакат: «Больше горючего народному хозяйству! Поднимем выше его качество!», или что-нибудь в этом роде.

— Что плохого, если у нас действительно будет больше горючего и качество его станет лучше? — сказал д-р Геппнер. — Горючего всегда не хватает.

— И музыка была бы скучной, — продолжала она, пропустив его замечание мимо ушей. — А кто сидел бы здесь, на террасе? Говорливые женщины с безобразными фигурами, в безвкусных платьях, мужчины в мешковатых готовых костюмах. Они играли бы в глупые карточные игры, смеялись бы глупым шуткам и пили бы глупые напитки...

— Некоторые из них... — начал он, Анжела перебила:

— А если все-таки встретится хоть один приличный человек, он наверняка окажется каким-нибудь специалистом, который боится говорить о чем-нибудь, кроме своей специальности. И мне самой придется взвешивать каждое свое слово, если, конечно, громкоговоритель не будет заглушать мой голос.

— Да, ты права, они грубоваты, — согласился д-р Геппнер.

— А все эти любезные и учтивые люди, — сказала Анжела, — будут обречены на прозябание. Или их попросту... уничтожат.

— Они мне кажутся очень скучными.

Она испуганно оглянулась.

— Пожалуйста, думай, что говоришь!

Д-р Геппнер стукнул по столу так, что задребезжала посуда. Анжела удивленно подняла брови.

— Ты же только что утверждала, что это там приходится взвешивать каждое слово.

Она недовольно покачала головой.

— Что это на тебя нашло? Ты стал просто невозможным. Там ты говорил всему «Нет», и это было понятно, теперь ты говоришь «Нет» всему, что видишь здесь.

Д-р Геппнер еле сдержался. Анжела задела самое больное место. Мысленно он нагораживал много всяких «нет», «если», «однако» и никак не мог найти себя в этом мире, который казался ему прежде его собственным миром.

— А все от того, — сказал он, — что я бездельничаю.

— Ты достаточно поработал за свою жизнь. Ты заслужил отдых.

— Но какой это отдых, когда все здесь не по мне?

— Как так не по тебе?

Д-р Геппнер ненадолго задумался, потом заговорил с жаром, размахивая рукой:

— Люди на этой террасе... и во Франкфурте, да и вообще все... все эти любезные и благовоспитанные люди, так называемые наши люди, знаешь, они кажутся мне не настоящими, они словно из прошлого...

— Ты сходишь с ума.

— И неудивительно. — сказал он.

Заиграл оркестр. Безукоризненно одетый, широкоплечий молодой человек с ничего не выражающим лицом подошел к ним, вежливо поклонился и попросил у д-ра Геппнера разрешения пригласить его даму на танец. Анжела вышла с ним на середину зала.

Небо по-прежнему было безоблачным.

Если бы не такое обширное и не так роскошно обставленное помещение, если бы картины на стенах были дру-

того содержания — это совещание можно было бы принять за рядовое совещание у Бахмана. Привычные лица: вечно недовольное — д-ра Брунса; сверкающее стеклами очков из-под мохнатых седых бровей — д-ра Колодного. Других господ д-р Геппнер тоже хорошо знал и относился к ним с уважением. И только д-ра Паффрата, с его благородным худым лицом в глубоких морщинах, с его умной улыбкой не было видно. «Концерн вымел Бахманские конюшни под метлу», — подумал д-р Геппнер. Не ожидал он, что многие из его коллег по работе там, на Востоке, — марионетки, которыми управляют, дергая за ниточки из Франкфурта.

Эта мысль давала какое-то злорадное удовлетворение: да, Бахману придется туго. И главное — совещание должно положить конец вынужденному безделью, правда, скрашенному путешествием и жарким южным солнцем. Все сидящие здесь господа, включая его самого, были первоклассными специалистами, каждый был авторитетом в своей области, и сейчас они должны получить назначения на предприятия концерна.

На председательских местах сидели Шварц и мистер Уитерспун, чуточку в стороне — неизменный господин Кэндл.

Шварц держал речь. Он говорил о преданности старому концерну, которую доказали все присутствующие здесь господа. Они лояльно и самоотверженно выполнили свой долг; дисциплинированные как солдаты, они все без исключения тотчас последовали зову руководителей концерна, расстались с домом, к которому так привыкли, расстались с друзьями и знакомыми, которые были им, бесспорно, дороги, порвали все свои связи, которыми, вероятно дорожили, и прибыли сюда, на Запад.

«А что же им оставалось делать?» — подумал д-р Геппнер, чувствуя, что сам он не очень-то высокого мнения о тех «идеалах», которые превозносил Шварц. Попробуй послушаться приказа, и на тебя немедленно состреляют донос в органы безопасности на Востоке, а они не будут любезничать с агентами западных концернов. Конечно, можно было пойти к Бахману и раскрыть свои карты. Но в таком деле решает не один Бахман... а кроме того, во Франкфуртском банке каждого из них поджидала приличная сумма, не говоря уже о пенсии, которая накопилась за эти годы. Все это сулило жизнь без забот до

конца дней! А д-р Паффрат, неужели д-р Паффрат попросту на все это наплевал?

— За преданность платят преданностью! — возглашала Шварц. — Руководство концерна, учитывая, что сотрудники концерна, работавшие, согласно договору, там, на Востоке, в труднейших условиях выполняли свой долг, концерн со своей стороны выполнил свои обязательства. И даже выполнил с лихвой. Каждому из присутствующих здесь господ был не только открыт счет в банке, но и предоставлена возможность отдохнуть бесплатно и с таким комфортом, о каком они не могли и мечтать на Востоке. Независимо от того, на какой завод будут направлены господа специалисты, каждого из них ждет отдельный коттедж, заново отстроенный, со всеми удобствами, каждый из них сможет обставить его по собственному вкусу, на средства концерна.

Д-р Геппнер заметил, что слова Шварца не были встречены с тем воодушевлением, на которое он, видимо, рассчитывал. Отпуск был уже позади, а коттедж с хорошей обстановкой у каждого из них имелся и на Востоке.

— А что же доктор Паффрат? — спросил вдруг кто-то.

— Господин Паффрат изменил нам, — ответил Шварц, явно недовольный вопросом.

— Предатель, — объявил Кэндл.

— Просто чудак. Он всегда витал в облаках, — попытался Шварц смягчить резкость Кэндла.

«Предатель, предательство, — подумал д-р Геппнер, — какие неприятные слова». В конце концов он знал д-ра Паффрата и мог поклясться, что тот не был ни предателем, ни чудачком... И кто вообще был предателем в этой игре? А может быть, правильнее поставить вопрос так: не кто предавал, а кого предавали? И тогда окажется, что ты предал себя самого...

Ему не удалось додумать до конца — Шварц опять заговорил.

— Что касается дальнейшей работы каждого из вас, — сказал Шварц, и его торжественный голос зазвучал куда суше, — может случиться так, что она окажется не такой, как хотелось бы тому или иному из уважаемых господ. Скажу откровенно, господа, мы здесь тоже не сидели сложа руки, мы тоже кое-что производили, правда, своим старым капиталистическим способом, — он захохотал, — и на каждую работенку нашелся свой человек.

Он окинул взглядом всех, сидящих вокруг стола, покрытого зеленым сукном.

— Ну, ну, господа, — сказал он. — Только прошу не делайте кислых физиономий! Каждый сверчок найдет свой шесток, но советую не забывать, что экономические условия у нас другие, чем на той стороне: мы производим лишь столько, сколько можем выгодно сбыть.

— Но ведь мой... — начал было д-р Колодный, но не dokonчил, заметив протестующий жест Шварца.

— Концерн понимает, что большинству из вас следовало бы скорее заняться спокойной исследовательской работой. Так как на всех наших заводах достаточно лабораторий, то мы и решили предложить вам, господа...

— Одну минуту, прошу вас...

— Слушаю вас, доктор Брунс.

Д-р Брунс встал. Это был человек невысокого роста, с хмурым челом, похожим на тучу перед грозой.

— Может быть, мои слова покажутся неуместными, но, честно говоря, мы не привыкли работать по указке. Там у нас был начальник, некто Бахман, так вот он имел обыкновение выслушивать наши соображения и обсуждать их с нами...

— Но вы уже не там, — вставил господин Кэндл.

— Ну, стоит ли... — сказал Шварц, снова пытаюсь смягчить резкость Кэндла. — Если господа привыкли к иному обращению, мы сможем оказать им эту любезность, — как исключение, конечно, господин Кэндл, только как исключение. Концерн никогда не отступает от своих принципов! Но, господа, будем людьми практичными, давайте говорить только по существу, ведь здесь время — деньги, теоретические дискуссии, к которым вы так привыкли там, не приносят дивидендов.

— Вот и чудесно, — сказал д-р Брунс. — Будем людьми практичными. Возьмем для примера доктора Геппнера. Он разработал метод получения бензина из бурого угля, метод новый, оригинальный, дающий первоклассный высокооктановый бензин. Вся технология почти разработана. Куда же вы намереваетесь засунуть доктора Геппнера?

— Ну, это не проблема, — сказал мистер Уитерспун. — У нас есть прекрасно оборудованные лаборатории. Доктор Геппнер будет продолжать работать над своим изобретением.

— Ага, ясно, — сказал д-р Брунс и сел, хотя слова мистера Уитерспуна его не успокоили.

— Ну, а потом? — выкрикнул с места д-р Геппнер. — Мне бы хотелось видеть мой метод внедренным в производство.

— Это уже другой вопрос, — ответил мистер Уитерспун.

— Как так другой? — спросил д-р Геппнер. — Разве вы не внедряете изобретений в жизнь?

Мистер Уитерспун приподнял веки. Взгляд его глаз был жестким, еще более жестким, чем при их первой встрече в Западном Берлине.

— Господин Геппнер, нас не интересует производство бензина из бурого угля. Бурые угли находятся там, на Востоке.

— Но мой метод практичный и дешевый! А по октановому числу получаемый бензин может выдержать конкуренцию с бензином из нефти.

— То-то и оно, — сказал мистер Уитерспун. — А нам нужно реализовать арабскую и иранскую нефть. Там мы, что называется, получаем прибыль прямо у скважины.

У д-ра Геппнера перехватило дыхание.

— Тогда зачем же вы предлагаете мне работать и дальше над этим методом?

— Чтобы доставить вам удовольствие и радость, — сказал мистер Уитерспун и прикрыл глаза веками.

— Итак, вы видите, — снова подхватил Шварц, — концерн готов сделать для вас все, что в его силах, несмотря на то, что в финансовом...

— Иными словами, — резко перебил его д-р Геппнер, вскакивая, — вы решили посадить нас на время в холодильник?

Шварц чуть было не вышел из себя, но вовремя сдержался.

— Если вам угодно... Но я бы предпочел выразить эту мысль так: вы наши стратегические резервы, резервы политики дальнего прицела...

— Резервы, для чего?

— Для времени, когда все предприятия будут снова в наших руках, — произнес господин Кэндл. — Когда мы вернемся, чтобы забрать все заводы на Востоке страны.

Господин Кэндл встал. Он напыжился, пытаясь выглядеть бравым воякой, но это ему не удалось — помешали короткие ноги.

Д-р Геппнер взглянул на господина Кэндла. Он так и не мог понять потом, что заставило его в тот момент вспомнить Бахмана и произнести следующие слова:

— Почему вы так уверены, что именно вы одержите верх? А не может ли получиться наоборот?

— Заседание закрыто! — прошипел сквозь зубы мистер Уитерспун.

И вот они трое сидят в пустом зале, за столом, перед пепельницами полными окурков.

— Что же вы намерены теперь делать с этими людьми? — спросил мистер Уитерспун.

Шварц, от жизнерадостности которого не осталось и следа, ничего не ответил. Он казался усталым и раздосадованным.

Кэндл стукнул по столу тяжелым кулаком.

— Может, вы станете утверждать, что я не предостерегал вас?

Его высокий скрипучий голос заставил Шварца вздрогнуть.

— Я предупреждал вас — будьте осторожнее с выходцами оттуда. В каждом из них что-то засело. Это как бацилла! И притом очень заразной болезнью!..

КРИСАНТА

Вы спрашиваете, как живут люди в Мексике? О ком же вам рассказать?

Об Идальго? Он первый ударил в колокол деревенской церкви в Долорес, подав сигнал к восстанию против испанцев. И теперь после освобождения каждый год в день национального праздника этот колокол звонит с дворца президента в Мехико.

А может быть, вам рассказать о Морелосе? Происхождение его неясно. В нем смешалась негритянская и индейская кровь. В юности он хлебнул немало горя. Образование в школе получил скудное. Словом, это был жалкий деревенский священник. И вот его воодушевила идея, за которую Идальго отдал жизнь. Став вождем восстания, он не знал пощады. Под его предводительством горстка крестьян превратилась в настоящую армию. Глубоким пониманием связи событий и способностью предвидеть их он превосходил величайшие умы своей эпохи.

А может быть, рассказать о Хуаресе? Он изгнал новых чужеземных властителей — французов, которых посадили на шею его народу во времена Наполеона III. Он приказал расстрелять императора Максимилиана. Он понимал, что национальное освобождение само по себе еще мало что дает беднякам-крестьянам. Неподкупный, он неутомимо боролся с помещиками. Бедняки-крестьяне получили, благодаря его законам, землю.

Нет, ни об этих, ни о других великих людях, живших в Мексике после них, я рассказывать не буду, хотя они, пусть и не известные в Европе, принадлежат к великим из великих не только у себя на родине. Нет, я не буду рассказывать ни о Хуаресе, ни об Идальго, ни о Морелосе. Я расскажу вам о Крисанте.

Ей было около шестнадцати лет, когда она покинула Пачуку и отправилась в Мехико на работу. Точно своего года рождения она не знала. Она знала только день своего рождения. Она родилась в праздник всех святых, и назвали ее Сантао, потому что никто не мог предложить другое имя. Крисанта — это имя нравилось ей больше. Родителей она не помнила. Она знала только, что мать умерла при ее рождении. Об отце она ничего не знала.

Крисанте повезло по сравнению с другими девушками, которые остались без отца и без матери. У нее был кто-то близкий, кто поддерживал ее и придавал ей силу, как мощная ветвь придает силы молодым побегам. Это была женщина по имени Лупе Гонсалес. Ее муж работал рудокопом в Пачуке, в двух часах пути от Мехико. У Гонсалесов было несколько детей. Старшие сыновья тоже работали на руднике. Крисанте госпожа Гонсалес приходилась крестной матерью. Крисанта часто говорила о Гонсалесах. При этом она внушала себе и другим, что она вовсе не одинока. Госпожа Гонсалес воспитывала ее вместе со своими детьми. Это была спокойная, молчаливая женщина. Почему Крисанта родилась в Пачуке, госпожа Гонсалес и сама не могла объяснить, иначе она бы уж когда-нибудь да рассказала об этом. Она не могла объяснить также, почему взяла ребенка к себе и воспитала в своей семье. Наверное, уже не раз волей случая к ней прибывались какие-то дети, у которых не было отца, потому что он либо умер, либо сбежал, и матери, которую отняла у них смерть или другое несчастье. Быть может, этот ребенок выглядел особенно голодным. И потому что она сама день и ночь не знала покоя со своими пятью ребятишками, смерть матери этого чужого ребенка показалась ей особенно тяжелой, а ребенок этот особенно беспомощным.

По большим праздникам госпожа Гонсалес ходила в церковь. Муж ее — никогда. О национальном празднике она узнавала по фейерверку и музыке. Она не могла бы точно сказать, какое отношение имеет этот праздник к ее народу. Но от этой женщины Крисанта узнала, что первого ноября у нее день рождения и именины. Когда, бывало, в конце октября она особенно дерзила, приемная мать говорила ей:

— Опять твои чертяки вырвались на волю. Черти — они всегда злятся на ангелов — хранителей ребенка.

А твои-то чертяки очень уж буйствуют перед первым ноябрю. Ишь разошлись вовсю.

Крисанта хранила одно воспоминание, о котором она никогда никому не рассказывала. Воспоминание такое странное, что у нее и слов подходящих не находилось рассказать о нем. Однажды в раннем детстве она побывала в каком-то месте — другого такого на земле не найдешь. Там ей было так хорошо, как никогда уже потом. Ей казалось тогда, что она совсем, совсем одна на белом свете и над ней только синее небо. Когда она спрашивала себя, что же такое особенное там было, ей всегда приходил в голову один и тот же ответ: синева. Нежная и густая синева, какой никогда и нигде она уже больше не видела. А весь мир словно катился мило, но не проникал сквозь эту синеву.

Крисанта никогда не предавалась мечтам. Она была живым и веселым ребенком. Она думала, что со своей родной матерью жила, верно, где-то в других краях, прежде чем попала к Гонсалесам. Иногда она спрашивала:

— Откуда пришла моя мать?

На что госпожа Гонсалес отвечала:

— Да кто ее знает.

Окружающие всегда отделялись этими словами от всех вопросов. И Крисанта перестала спрашивать. Она дорожила своим воспоминанием. Она думала о нем, когда ей было страшно.

А теперь ей как раз было страшно. Госпожа Гонсалес неожиданно сказала, что Крисанта должна ехать в Мехико на работу. Старшая дочь выходит замуж, и Крисанте придется освободить циновку, на которой они обе спали. У соседки, госпожи Мендосы, в Мехико была тетка, управительница хлебной лавки, где выпекали тортильи. Когда человек читает «Отче наш» и произносит слова о «хлебе насущном», он представляет себе тортилью. Комок теста из маисовой муки сбивают ладонями в плоскую лепешку. На железной плите лепешка нагревается и затвердевает. В обеденные часы везде на улицах слышны хлопки, монотонные, радующие сердце. У этого хлеба нет запаха. Он не черствеет. Он печется не в печи, а у всех на глазах. И к тому же изрядным шумом сам сзывает голодных. Госпожа Гонсалес и дочери сбивали тортильи у себя дома. Крисанте не надо было этому учиться. Она сразу могла начать работать.

Когда Крисанта в последний раз села за стол в Па-чуке, ей запекли в тортилью кое-что получше, чем обычно. Не только томаты с красным и зеленым перцем и бобы, но и остатки мяса, которое обычно доставалось мужчинам. Однажды, совсем маленькой девочкой, впервые надкусив круто наперченную тортилью, Крисанта громко заплакалась. Но потом перец стал ей необходим, как соль.

Госпожа Гонсалес всегда была начеку и следила, чтобы сыновья не пристрастились к вину. Папаша Гонсалес пил много. Но знал меру. Это был суровый, сдержанный человек. Ночью, уходя на рудник, он сказал Крисанте:

— Завтра мы не увидимся. Теперь только на свадьбе. Ты обязательно приезжай, доченька, — и обнял ее.

По двору гордо расхаживал индюк, которого откармливали для свадебного пира. Крисанта проводила папашу Гонсалеса. Он, как и его жена, никогда не размышлял над тем, почему Крисанта попала именно в его семью. Почему он, именно он, заменил ей родного отца, который был бог знает кто.

Крисанта вместе с соседкой поехала в город в автобусе. И еще по пути забыла все свои страхи. Она радовалась тем вещичкам, которые невеста подарила ей, а не младшей сестре: сандалиям, пестренькому ситцевому платью и шали — ребосо. Многие пассажиры были ей знакомы. Она знала, куда и зачем они едут. Кто на базар, кто в больницу, а у кого праздник в семье. Но вот дорога пошла в гору. Соседка показала на снежные вершины. Они были здесь как будто ближе, но еще более недоступны. Автобус въехал в лес. Стало немного темнее, и воздух посвежел. В остальном все было как дома. То и дело встречались перечные деревья, красневшие на голых холмах. Полоски обработанной земли. Кактусы, словно застывшие в клубах пыли. Кое-где, как и в ее родных местах, виллы американцев и богатых мексиканцев. С пальмами и цветущими садами, и даже с теннисными площадками и бассейнами для плавания. Крисанта радовалась при виде ярких цветов. Жители здешних деревень, так же как и Гонсалесы, разводили цветы даже в консервных банках.

На одной из остановок в автобус сел парнишка с поклажей. Он вез на базар в Мехико глиняную посуду, ко-

торую обжигала его семья. Сам он, как он сказал, не хочет больше ездить на базар, а поступит на фабрику.

— Почему?

— Так мне будет лучше.

— Но почему? Дома, в семье, всегда лучше. Вместе работаешь, вместе торгуешь.

— Выручку между нами всегда делил дядя. Ничего, кроме неприятностей, из этого не получалось. Рассчитываться лучше с посторонними.

Пассажиры автобуса следили, чтобы его посуда не разбилась. А контролер набросился на него.

— В автобусе с таким грузом проезд воспрещен. Останови грузовик, он тебя и прихватит. Ты достаточно молод; если грузовик не остановится и если у тебя нет мула, так иди пешком.

Парнишка вежливо объяснил, почему они уложились только к ночи и почему он еще сегодня до обеда должен поспеть на базар Мерседес. Он подарил контролеру синюю птичку из глины — свистульку для его ребенка.

Крисанта приглядывалась к парню. Он нравился ей. И неожиданно поездка в город приобрела для нее особую прелесть.

Они проехали под огромным плакатом. На нем было написано: «Добро пожаловать в столицу федерального округа».

Прекрасное приветствие. Но Крисанта не могла прочесть его. Она никогда не ходила в школу.

Как же объяснить парнишке, где он может отыскать ее в городе? Паренек иногда бросал на нее быстрый взгляд. Тогда она так же быстро опускала глаза. Он видел, какие у нее густые ресницы. Он был ненамного старше ее. Но кое-что уже узнал в жизни. Это был спокойный, вежливый, гордый парень. Они еще не понимали своих чувств, но, быть может, уже знали, что предназначены друг для друга. Госпожа Мендоса спросила контролера, где им сойти, чтобы попасть на площадь Альваро Орегон. Она добавила, может быть, желая помочь обоим детям, что должна сдать девушку с рук на руки тете Долорес в хлебной лавке.

Новая жизнь была лучше, чем ожидала Крисанта. Как весело в лавке! Языки и руки пяти девушек работали без усталости. Сбивать тортильи здесь было совсем не то, что в Пачуке. Непрерывно входили посетители. Один тре-

бывал полдюжины тортилий, другой — дюжину, а следующий — сразу три дюжины. Крисанта прислушивалась к тому, о чем болтали покупатели, что ругали, над чем смеялись. Каждая тортилья словно сдабривалась духом семьи, для которой она пеклась, как красным и зеленым перцем. Крисанта страстно жаждала узнать жизнь — здесь перед ней открывалась жизнь. Она сердилась на госпожу Мендосу, слишком долго спорившую с тетей Долорес, которая-де хочет оттягать из обещанного жалованья десять песо. Ребенок-де в десять раз больше получает на фабрике и в два раза больше — упаковщицей в стеклодувной мастерской, где стеклодув ее шурин. Тетя Долорес в конце концов согласилась, чтобы девушка бесплатно ночевала и ужинала вместе с ее семьей. Госпожа Мендоса вступилась за эту глупую девчонку из преданности к Гонсалесам.

А Крисанта тем временем уже катала комок теста между ладонями. Покупатели выстроились в очередь, наступил час обеда. Крисанта и не думала уходить отсюда. Жалованье казалось ей огромным. Стоимость проезда в автобусе до Пачуки и обратно составляла только малую часть его. Раз ей не нужно тратить денег на жилье и еду, она сможет купить себе передник, как у других девушек. И серьги, как у тети Долорес. Именно такие ей нужно надеть, когда к ней придет тот паренек, с которым они ехали в автобусе.

Вечером Крисанте особенно понравилось в семье тети Долорес. Дома ее место на циновке оказалось занято, потому что старшая дочь вышла замуж. Здесь же для нее освободилось место, потому что вышла замуж вторая дочь тети Долорес. Крисанта считала, что так и должно быть в жизни. Где густо, а где пусто. В городе не было одиноких людей. Каждый жил, точно дерево в лесу, а не кактус в пустыне.

Ее новое место для ночлега нельзя было и сравнить со старым. Здесь она спала в кровати. Раньше она никогда не спала в кровати, только на полу, на циновке. Вначале она даже боялась упасть. Третья дочь тети Долорес, спавшая вместе с ней, ложилась всегда у стены. Крисанте казалось, что ночью она плывет высоко-высоко надо всеми. В этот вечер и ужин был куда вкуснее, чем у Гонсалесов. И потом частенько подавали мясо. Густо

начиненные рубленным мясом тортильи. И сладкого кофе кто сколько хочет.

Семья была большая. Не сразу разберешься, где дети, где зятья, где внуки. Последний ребенок тети Долорес был младше ее внука. Отца Крисанта сначала приняла за одного из зятьев. Он редко бывал дома. Тетя Долорес говорила о нем то с гордостью, то с презрением. Это был маленький подвижной человечек, беспокойный и хитрый, с небольшими усиками. Если он был дома, то успевал наговорить за столом больше, чем Крисанта за всю свою жизнь слышала от папаши Гонсалеса. Старший рабочий на обувной фабрике, он неплохо зарабатывал, но и тратил много, потому что любил погулять и выпить. Мало пользы было от такого мужа, и разве только руганью и хитростью тете Долорес удавалось выманить у него кое-что во время его коротких побывок. Зато дети появлялись на свет один за другим. Сыновья — те слушались мать беспрекословно. Мать, которая каждый день неумоимо работала в лавке и держала в руках всю семью, в какой-то мере даже своего скользкого, как угорь, мужа, следила за хозяйством и готовила, рожала и кормила грудью младенцев, — эта мать была надежной опорой, как могучее дерево с цепкими корнями, уходящими в самую гущу жизни.

Крисанте все здесь нравилось. Ее жизнь в Пачуке была беспросветной. А тут она каждый вечер болтала и смеялась больше, чем когда-либо прежде. Тетя Долорес часто рассказывала интересные истории. Как-то раз, когда Крисанта забыла подмести пол, она рассказала:

— Жила-была девушка, и она вышла замуж за очень хорошего человека. Муж исполнял все ее прихоти. Он только запрещал ей подметать пол в комнате. Он говорил: «Хочешь хорошо со мной жить, оставляй всю грязь на полу. Я терпеть не могу метлы и не выношу, когда подметают». Однажды к ним в гости зашла мать девушки. Она всплеснула руками, увидев, что пол просто зарос грязью. Дочь, извиняясь, отвечала, что муж не переносит даже вида метлы. Но стоило ей уйти на рынок, как мать взяла метлу и начала выметать всю грязь. Пришла дочь и горько заплакала: «Теперь муж рассердится на меня». Но мать спокойно продолжала свое дело. И вдруг домик задрожал, раздался треск и грохот, стемнело и грянул гром. Когда все снова стихло и солнце заглянуло в чи-

стю комнату, мать сказала дочери: «Вот видишь. Только один-единственный мужчина не любит, когда подметают пол. Ты была замужем за чертом, и просто счастье, что я пришла и ты вовремя от него избавилась».

Тетя Долорес раньше, верно, неплохо ладила со своим мужем. Они оба немало забавлялись бесчисленными историями, смачными сплетнями и острыми шутками.

Однажды в ночь с воскресенья на понедельник, когда тетя Долорес крепко спала, ее муж пробрался к постели Крисанты. Она вовремя проснулась. Начала кусаться и царапаться. Дочь тети Долорес, спавшая у стены, тоже проснулась, тетя тоже. Крисанта сказала:

— Ничего, ничего. Это кошка.

Но тетя Долорес заметила, что рядом с ней пусто.

Она бы, вероятно, вскоре выставила Крисанту. И не только из-за своего мужа. Не обрадовалась бы она и шашням ее сыновей с Крисантой. Они, правда, бедные люди, но все же не такие бедняки, как Крисанта, у которой ни отца, ни матери, ни семьи, чтобы сыграть свадьбу, и ничего, кроме платья и ребосо. Но тете Долорес незачем было оберегать свою семью от Крисанты, ибо исполнилось тайное желание девушки.

Однажды перед лавкой появился паренек, с которым она ехала в автобусе. Крисанта его тотчас же увидела. С той минуты как паренька потянуло к этой незнакомой девушке — вначале еле заметно, потом все сильнее, а с тех пор, как они расстались, и вовсе неудержимо, — он осознавал свое чувство как невыполненное обещание. И пока он этого обещания не выполнил, он считал себя слабым человеком, на которого нельзя положиться. И он был прав, раз знал, что девушка, о которой он мечтал, совсем заждалась. Он стоял довольно далеко от лавки и от напряжения держался слишком прямо и немного неуклюже, устремив взгляд своих золотисто-зеленых глаз прямо на Крисанту. Он побаивался, не сменила ли она место. И вот она перед ним, совсем такая, какой сохранилась в его памяти. Очень маленькая среди девушек, сбивающих тортильи, не особенно-то хорошенькая и не очень-то изящная, какая-то диковатая и немного даже грубая. Увидев его, Крисанта задрожала от радости. Вначале он почувствовал некоторое разочарование, хотя в своих воспоминаниях и не награждал ее особой красотой. Но увидев, что она дрожит от радости, он гордо под-

нял голову. А на ее дерзкой мордочке, осененной тенью густых ресниц, появилось покорное выражение. Час, отделявший их друг от друга, показался ему бесконечным. Он купил себе три тортильи, но не те, что лежали готовыми, а подождал, пока Крисанта сбила и сняла с раскаленной плиты несколько штук. Он жевал тортилью и ждал у дверей.

На веселые вопросы товаровок Крисанта не отвечала и весь конец рабочего дня не произнесла ни слова.

Он пришел даже прежде, чем она смогла купить на свою первую получку серьги, как у тети Долорес. Вечер был холодный. А на ней ни кофточки, ни чулок. Только ситцевое платье и ребосо, в которое она закутала голову и плечи. Парнишка подхватил ее обеими руками и втиснул в автобус, битком набитый рабочими. Сам же остался висеть на подножке.

Крисанта и не подозревала, как велик город. Одной ей было бы страшно. На остановке парнишка опять подхватил ее и поставил на землю. Они долго шли, прежде чем он спросил:

— Как тебя зовут?

— Крисанта, — и она рассказала, почему ее зовут именно так. — А тебя?

— Мигель.

Они миновали несколько длинных улиц. Пыль при свете луны поблескивала, как иней. Пройдя через ворота, они попали в узкий и глубокий, как колодезь, двор — тупичок, окаймленный густонаселенными домами. С печным отоплением, с цветами в горшках и консервных банках, с колонкой во дворе, с метате — рифлеными досками для растирания маисовых зерен, с индюком, корчившим из себя важного барина.

Крисанта давно перестала оглядываться. Ничто между этим двором и звездным небом не интересовало ее больше. Парень подтолкнул ее к одной из дверей. Он снимал комнату вместе с друзьями. Сейчас здесь находился один из них, но он безмолвно встал при их появлении. Только уходя, еще раз быстро оглядел Крисанту.

Все время с той самой минуты, как они расстались — после поездки в автобусе, — они так страстно мечтали друг о друге, что сейчас время уже ничего не значило для них. Все, что они пережили до сих пор, лишь слабо маячило где-то за окнами, как двор за дверьми. Если потом

что и случится... она не кончала своей мысли. Счастье не имеет ничего общего со временем. А раз так, то почему бы этому счастью кончиться.

Мигель сказал, что проводит ее до автобуса. У него ночная смена. Крисанта только уходя заметила, что в комнате на циновке между кроватями спал еще кто-то.

Мигель грубо дал ему пинка:

— Вставай, Пабло, пора!

Теперь Крисанта сбивала тортильи куда проворнее, чем раньше. И чисто, куда чище, чем раньше, подметала пол. Теперь ей всегда хотелось смеяться. А тетя Долорес была довольна, что Крисанта гуляет с чужим, и муж не заглядывается на нее.

Через неделю Мигель сказал, чтобы Крисанта с этого дня приезжала к нему сама, у него нет времени встречать ее у лавки, ему нужно торопиться в школу. А ее записали в школу?

Как раз в это время правительство проводило кампанию, стремясь вовлечь в вечерние школы как можно больше людей, не умеющих читать и писать. В каждом квартале были открыты школы. Чиновники ходили по домам и переписывали тех, кто раньше не учился. Зашли они и в квартиру тети Долорес. Записали Крисанту. На той же неделе к ним пришла монахиня со списком. Закон запрещал появляться в монашеском платье где-либо, кроме церкви. Но по выражению лица и по длинной юбке сразу было ясно: это монахиня.

Она долго уговаривала тетю Долорес посылать детей в монастырскую школу.

— Научившись читать, — сказала монахиня, — они скорее погубят свою душу, ведь они могут прочесть что-нибудь запрещенное.

Вечером Крисанта рассказала об этом посещении друзьям Мигеля, и все весело смеялись. Теперь они иногда оставались дома, когда она приходила, болтали, пили и пели.

— Монахиня права, — сказал Пабло. — Только у нее все наоборот получается. Взять, к примеру, меня — я умею читать и читаю газеты. И я так полагаю: если читаешь все, что здесь наврано, и не понимаешь, как тебя обманывают, то в конце концов погубишь свою душу.

Мигель задумчиво посмотрел на своего друга Пабло, которого он очень любил. Крисанта почувствовала укол

ревности. Секунду ей казалось, будто стало холоднее. Но ведь Мигель посмотрел не на девушку, а всего-навсего на Пабло.

Мигель ходил в вечернюю школу в своем квартале, Крисанта — в своем. Сначала ей все показалось очень весело. И там было много новых лиц. Это волновало и пугало. Каждое лицо — словно частичка жизни. Все эти рабочие, чистильщики сапог, рыночные торговки, разносчики и служанки — все они собрались именно в этой школе, чтобы научиться читать и писать. Им в свою очередь было любопытно узнать, как Крисанта очутилась в их районе. Жизнь здесь бурлила вокруг нее.

Они сидели на скамьях, тесно прижавшись друг к другу. Молодой учитель был очень вежлив. Его стеснялись. Но он старался ободрить каждого, хотя и проявлял строгость. Совсем как священник. И бранился, если кто повторял ошибку. Интересно было смотреть, как, вылушивая из слов «а» и «о», он пишет их на доске. И эти буквы, важно шагая, каждая сама по себе, выглядели круглыми или острыми, совсем такими, как их произносили. Но потом пошли другие буквы, они и назывались вовсе не так, как выглядели. И было трудно складывать их в слова. А ведь при этом слова-то выходили совсем простые, их тысячу раз в день произносишь не задумываясь. Крисанта с удивлением смотрела на старого толстого каменщика, сидевшего рядом с ней. Скоро он знал уже все буквы. И быстро научился складывать их в слова.

Мигель нашел себе более выгодную работу. Сменил он и вечернюю школу. Он ходил туда в те же часы, когда и Крисанте нужно было отправляться на занятия. Вначале они смеялись над своими тетрадями, когда их «о» скакали, вместо того чтобы плавно катиться. Пабло им помогал, но хвалил только Мигеля. На Крисанту он кричал. Ей же совсем не было охоты, прижавшись к Мигелю, смотреть в тетради. К тому же ей было стыдно перед учителем и перед всем классом, что она до сих пор не научилась складывать отдельные буквы в слова. Ей было стыдно и перед Мигелем. Она заранее знала, что он будет учиться так же хорошо, как каменщик, ее сосед по скамье. Мигель уже мог прочитать на последней странице учебника рассказ про человека по фамилии Хуарес.

Крисанта злилась, потому что дочери тети Долорес получали от своей монахини в награду пестрые золоченые картинки с изображением святой девы из Гвадалупы. Но Крисанта была уверена, что они просто притворяются, будто сами могут прочесть ее историю. Как Мария из Гвадалупы явилась бедному индейцу. Впервые явилась человеку, кожа которого не была белой. Да еще на совершенно пустынной горе, где вообще-то росли одни кактусы, подарила ему розы. Наверняка дочерям тети Долорес так часто рассказывали эту историю, что они выучили ее наизусть.

По вечерам Крисанта спешила теперь не в школу, а на автобус, к Мигелю. Время между встречами для нее не существовало. Считать минуты Крисанта начинала только с наступлением вечера. А Мигель, слышав шаги Крисанты, иногда уже хмурил брови, потому что Пабло сидел рядом с ним и читал ему газеты. Его золотисто-зеленые глаза начинали сверкать, когда Крисанта садилась к столу. Крисанта же думала, что между ними все, как в первый раз, у лавки. Времени, действительно, прошло очень мало. Она получила жалованье только за один месяц.

Неожиданно к ним приехала госпожа Мендоса с известием, что свадьба состоится в следующее воскресенье. Крисанта чуть совсем не забыла семью Гонсалесов. Теперь же она заволновалась, ее мучило раскаяние. Свадебное торжество уже не подавляло ее воображения. Индюк, которого они зарежут... что ж, ей стало теперь ясно, что в городе она часто ест вкусные вещи. И Крисанта вдруг день и ночь стала думать о семье Гонсалесов. Она накупила подарков на все свое месячное жалованье. Выбрала среди платьев, вывешанных утром уличным торговцем, свои любимые цвета. Точно такое же ребосо, какое ей подарила дочь госпожи Гонсалес, носовые платки с цветочным узором, серьги, всякие украшения. Ей хотелось одарить все семейство. Но потом она сообразила, что истратила даже деньги на проезд. Девушки в лавке объяснили ей, что она вполне может потребовать у тети Долорес аванс. Тетя Долорес расщедрилась. Но в душе она была рада привязать к себе Крисанту на возможно более долгий срок. Любовь сделала Крисанту ловкой и послушной. А друг мог посоветовать ей сменить место.

Мигель давно уже хотел навестить своих родных. И вот они опять вместе в автобусе. И Мигель обещал захватить за ней на следующий день к Гонсалесам.

Встретили ее, как Крисанта и мечтала. Радости от ее подарков не было конца. Сама Крисанта сияла от удовольствия. Свадебный стол был уже накрыт. Пахло жареной индейкой. Госпожа Гонсалес израсходовала масла больше, чем обычно за целый год. Они все уже сидели за праздничным обедом, а в открытую дверь потоком текли все новые и новые гости. И вот госпожа Гонсалес, в другое время экономившая каждое песо, послала за новыми порциями острых и сладких блюд и за водкой. Она даже разрешила трактирщику записать все это в долг. И не бранила мужчин, выпивших больше, чем следует. Сегодня уж такой день, когда надо забыть все заботы. Сегодня все должны чувствовать себя, как те души, которые Христос вывел из ада. Ночью кое-кому нужно было выходить на работу; с грехом пополам добрались они до грузовика, который направлялся к руднику. Большинство улеглось на циновках. Утром госпожа Гонсалес сварила на всех кофе. И тут всем еще больше, чем накануне, захотелось петь и играть на гитаре. Теперь они по-настоящему вошли во вкус праздника. Крисанта с головой окунулась в свадебное веселье. Но к вечеру, когда жара стала спадать и день словно замер, ее сердце учащенно забилося. Она пригладила волосы, одернула платье — и вот уже появился Мигель.

Он тотчас со всеми подружился. Крисанта не сводила с него глаз. Он даже не взглянул на Крисанту. Он разговаривал с мужчинами. Он рассказывал:

— Со старого места я ушел на кожевенную фабрику Рейес. Там больше платят. Правда, платят больше, зато и спрашивают больше. Хотя об этом никто не говорит, но очень скоро это чувствуешь на своей шкуре. Сперва кажется, все равно — что там, что здесь ты свои восемь часов отпотеть должен. Но нет, тут из тебя кровавый пот выжмут. Мне рассказали, что незадолго до меня привезли новую машину, с зубчатыми колесами, смешную такую штуковину. С ней вместе приехал иностранец, который целое утро обучал одного из наших работать на этой машине. У него были желтые зубы, у этого иностранца, голубые глаза, рыжие волосы. Это был гринго, который умел говорить по-нашему. Платят нам больше, но, как бы

это сказать, денешки эти достаются нам дороже. А если тебе захочется сбежать на улицу съесть мороженого или ты хоть разок опоздаешь, тебя оштрафуют. Или если испортишь кусок кожи, или не успеешь закончить работу, когда мастер подсчитывает, — тебя оштрафуют.

Госпожа Гонсалес спросила:

— А почему же ты не вернешься в семью, в вашу гончарню?

— Нет уж, — решительно ответил Мигель.

— Почему?

Мигель на мгновение задумался.

— Платят нам, как мы договорились. И удерживают, как договорились. Мы просто об этом не думали, когда услаивались. У них же на бумаге стоит черным по белому, и они могут прочесть, что так договорились. Настоящая бандитская шайка, понятно, но, главное, ты там не одинок. Знаете, госпожа Гонсалес, дома, в семье, ты хоть и среди людей, но, несмотря ни на что, каждый, вот я, например, там одинок. Надо мне там извернуться как-то — в одиночку. Сломаю что-нибудь — в одиночку. Сделаю что-нибудь удачно — в одиночку. Надо мне достать что-нибудь — тоже в одиночку.

Мужчины внимательно прислушивались к его словам. Они не все понимали из того, что он говорил. Может быть потому, что у них все было иначе. Правда, на руднике было то же самое, но в семьях — иначе.

Мигель продолжал:

— Если в семье не заработать достаточно, так всем грозит голодная смерть. А когда недавно рис вдруг подорожал, так мы на фабрике все сообща потребовали увеличить нам жалованье. Мы все вместе бросили работу. А что сделали бы мы дома, если бы рис подорожал? Обожгли бы на несколько горшков больше, чтобы заработать на рис. Да? А на фабрике нам увеличили жалованье, истинная правда. И никого не выкинули, и никого не оштрафовали. Не потому, что они нас очень уж любят, а потому, что им заказы выполнять нужно, им нужна наша работа. В других случаях они выгоняют, штрафуют за всякую ерунду. Но на этот раз — шалишь, не решились.

— Не решились?

— Нет. Это была забастовка. И мы победили.

— И мы у себя хотели организовать забастовку, — сказал зять. — И я тоже бы принял в ней участие. Но большинство испугалось, что их все-таки выкинут на улицу.

Мигель продолжал:

— Как только научусь читать и писать, сейчас же уеду отсюда. Хочу отправиться в Кампече, к дяде. Он говорит, что, если я в самом деле научусь читать и писать, он устроит меня там на работу. Я и не думаю застревать здесь навсегда. Страна наша велика, городов в ней много. Мне хочется их увидеть.

Тогда папаша Гонсалес сказал:

— Когда я был молодой, здесь было еще хуже. Света божьего не видели. Домой возвращались только к ночи и заваливались спать. Вот мы тогда тоже объединились. И двинулись в город. Мне было столько же, сколько теперь моему младшему. Нас, дружище, тоже не штрафовали, в нас стреляли. Президент, этот старый пес, испугался. Он так долго и удобно сидел в своем кресле во дворце, а тут ему пришлось убраться, — при этом воспоминании глаза папаша Гонсалеса заблестели, как и глаза Мигеля при воспоминании о забастовке.

Крисанта не отрываясь смотрела на Мигеля. Он знал больше, чем другие. Перед ним открывалось большое будущее. К ночи мужчины Гонсалес ушли на рудник. Отец пошел с новым зятем. Они уже давно подружились. Парень был угрюмый, молчаливый, если на него что-либо не находило — любовь или злость. И сейчас им не хотелось растрчивать свои слова на гостей. Они размышляли над тем, что говорил Мигель. Папаша Гонсалес сказал, вздыхая:

— Он еще очень молод.

— Да, — ответил зять, — и совсем один. Может идти, куда хочет.

О Крисанте они не обмолвились ни словом. Они только мимоходом подумали, что ожидает ее.

Крисанта ни над чем не задумывалась. Время бежало для нее незаметно. Она и сейчас не замечала его. Жизнь сама раскрывалась перед ней. Они с Мигелем побывали во всех концах города. Она воображала, что он каждый раз дарит ей какую-нибудь часть города. Она побывала с ним на рынке Мерседес. И ей показалось, что платьев, башмаков, всякой снеди и напитков, седел и ножей,

соломенных шляп и рбосо, горшков и кувшинов, украшенных и изображений святых, собранных здесь, хватило бы на всю жизнь всем-всем людям в Мексике. Сандалии и сапоги висели на шестах в павильонах рынка, как бананы. Ткани пестрели всеми цветами и оттенками, будто торговки обобрали все сады Мексики. В другом павильоне были развешены мочалы. Сплетенные из мочал всадники и великаны упирались в потолок. Здесь же высились целые башни корзин, нагроможденных одна на другую. Известно: один в поле не воин, а все вместе — уже сила. Крисанта никогда не обращала внимания на корзину тети Долорес, а здесь в сумраке павильона она была ошеломлена красно-синими башнями корзин. Все на рынке Мерседес ошеломляло ее. Горы фруктов, горшки, которые приготовила семья Мигеля. Горшков была целая бездна на рынке, а семья Мигеля, хотя все, даже дети и внуки, день и ночь лепили их, крутили, расписывали, покрывали глазурью, наполнила здесь только один ларек в павильоне. Крисанта узнала их горшки, как узнают знакомые растения. По их ручкам и глазировке. Родные Мигеля смеялись за спиной какой-то иностранки, пожелавшей узнать секрет изготовления горшков; ведь эти горшки не лопались и на огне, точно их выковали из железа. Иностранка была бледная костлявая женщина с бесцветными волосами и глазами.

— За одно песо ей, видите ли, подай еще и наш секрет, — сказал Мигель. — Пусть покупает в магазине алюминиевые кастрюли.

Он говорил «наш секрет», хотя работал на фабрике.

Крисанта и Мигель пошли в кино. Фильм им так понравился, что они забыли друг о друге. Красивую, как ангел, девушку все глубже и глубже засасывает порок. Ее соблазняют и бросают. И вот она уже пошла по рукам. Ей не везет с мужчинами. У нее рождается ребенок, который попадает в приют. Мать в нищете, состарилась. И в конце концов угодила в тюрьму. Когда она как-то навестила сына в школе, он не узнал собственной матери. Он учится читать и писать. Становится студентом, а потом юристом. И вот он защищает на суде какую-то никому не известную старую нищенку.

Крисанта вышла на улицу, как пьяная. Она никогда не задумывалась над тем, что уже минуло. Теперь она все время думала о той девушке, такой юной и прекрас-

ной, а потом такой несчастной и старой. Все смешалось, прошлое жило в настоящем.

Мигель все время думал о сыне той женщины. Хорошо, что он не остался с матерью. Хорошо, что он много учился.

Они поехали на «Праздник святой девы» за город в Гвадалупу. Кто верил в чудо, кто не верил, но весь город потянулся в Гвадалупу. Это чудо было национальным достоянием. Темнокожая святая дева явилась индейцу.

В утренних сумерках мужчины, одетые воинами — панцами и мексиканцами, — в шлемах и перьях, танцевали перед церковью. А на деле в ту пору пролилось так много крови, что удивительно, как это еще столько народу живет на земле. В глазах маленьких детей и женщин до сих пор сквозила тоска, стыла печаль. словно какой-то осадок, сохранившийся еще со времен крепостничества, а на нем другой, новый, из новых страданий.

Мигель не жалел денег. У Крисанты не было ни гроша, она все растратила на подарки. Он водил ее по ярмарочным балаганам, покупал ей разные сласти. Да, ее праздник в те дни был в разгаре. И звезды все еще сияли на ее небе.

В сентябре они тоже вместе отпраздновали национальный праздник, день «Призыва из Долорес». Крисанта держалась за пояс Мигеля, чтобы не потеряться в толкотне. Толпа пенящимися волнами катилась по площади перед дворцом президента, и даже драчуны и пьяные следили, чтобы не наступить на ребятишек, которых матери уже не прятали в ребосо вместе с малышами. А потом в полном молчании все слушали звон маленького колокола из Долорес, возвещавшего теперь начало праздника, потому что он возвестил когда-то начало освободительной борьбы. С последним ударом началось неистовое веселье, все кричали, ликовали, пускали ракеты. Как будто в эту ночь водкой и ножами, фейерверком и пистолетами хотели заглушить боль от разочарования и неразберихи, которые наступили после освобождения. Как будто справлялись поминки по жертвам, чья кровь пролилась из-за измены, клеветы, честолюбия и корысти.

Крисанта была счастлива, куда бы Мигель ни повел ее. Она пошла бы с ним на фабрику, на полевые работы, в горшечную мастерскую, на свадьбы и на праздники.

Она пошла бы за ним на войну и на демонстрацию. Главное, чтобы он шел впереди. Он уже не вел ее перед собой. Он шел теперь гордо, совершенно уверенный, что она следует за ним.

Однажды он отослал ее домой, сказав, что ему надо в школу, учитель обещал ему кое-что почтить. Крисанта ждала его на улице. Он выбрал ее, когда вернулся. Крисанта испугалась, когда Пабло спросил ее, выдержала ли она экзамен в вечерней школе. Она совсем перестала ходить туда. Пабло понял это и громко засмеялся.

Но вот как-то Мигель сказал, что должен уехать из Мехико. Знакомый извозчик пообещал подвезти их на своей телеге до Оахака.

— А далеко это?

— Ночь пути. Он может захватить неожиданно, и тогда мы сию же минуту должны отправляться.

Мигель ждал куда больше вопросов. Пабло даже советовал ему не рассказывать Крисанте об их плане. Она будет плакать. Она помешает ему. А ведь он все равно не может ей помочь. Сначала Мигель возразил:

— Но послушай, ведь когда Альфонсо уехал искать работу в Калифорнию и не подавал семье никаких вестей, ты сам сказал, что так не годится.

Пабло ответил:

— То совсем другое дело. А такой парень, как ты, не может с молодых лет взвалить себе обузу на всю жизнь. Ты должен уехать отсюда.

Вероятно, Пабло был прав. Мигель хотел уехать, ему хотелось посмотреть иную жизнь. Он не хотел тянуть лямку до конца своих дней, как муж тети Долорес и папаша Гонсалес. Он хотел многому научиться. Он хотел многое повидать. Ему нужна была совсем другая девушка. Только почему же Крисанта не испугалась? И вдруг у него мелькнула мысль — верно, Крисанта при его словах «мы едем» решила, что это она с Мигелем едет, и ей в голову не пришло, что едут Пабло с Мигелем. Это огорчило его, но Пабло сказал:

— Неужели ты думаешь, что долгие проводы легче?

Но долгих проводов и не получилось. На следующую же ночь зашел извозчик:

— Поехали, ребятки, если охота не прошла.

Когда вечером в обычный час Крисанта вошла во двор, какая-то женщина, сидевшая на земле и растиравшая маис, спросила:

— К кому же ты сегодня пришла?

И Крисанта узнала, что Мигель и Пабло уже уехали. Их приятели уставились на нее — кто насмешливо, кто сочувственно, а двое — мрачно. Крисанта поняла все, не сказала ни слова. Она стояла, словно окаменев. Комната завертелась у нее перед глазами. Крисанта подождала, пока комната не остановилась, потом весело сказала, что знала об этом и сама советовала ему ехать. Она-де зашла, чтобы взять кое-какие забытые вещи.

Один из парней крикнул ей:

— Если ты забыла их у меня на циновке... — и еще что-то, как все парни в подобных случаях.

Крисанта не осталась в долгу. Женщина, растиравшая на дворе маис, только головой качала, слыша ее смех. Внезапно Крисанта поклонилась и ушла.

Уже наступила ночь. Было холодно. Крисанта не хотела возвращаться к тете Долорес. Она совсем не хотела возвращаться к тете Долорес. Она не хотела идти ни к ней домой, ни в лавку. Она не хотела возвращаться и в Пачуку. Она никогда не хотела больше видеть Гонсалесов. Она не хотела, чтобы ее спрашивали. Она никуда больше не хотела. Она бродила по улицам. Посидела у какой-то двери, пока ее не прогнали. Еще немного побродила. Присела на ступеньках какой-то виллы. Несколько музыкантов прошли по ночным улицам. Перед виллой они остановились, — наверное, их нанял возлюбленный одной из хозяйских дочерей. Они вынули из футляров гитары, запели. В одном окне зажегся свет, из другого кто-то высунулся и разразился бранью. Крисанта встала, словно это на нее кричали так сердито, а не на музыкантов, которые не обратили на крик никакого внимания и спокойно продолжали играть. Крисанта шла по длинной улице. Потом присела на ступеньки большого здания. Она зябла. Было ветрено. На зубах скрипел песок. Она закрыла глаза. И вот, совершенно разбитая, в тоске по родному краю, стала искать в своей памяти, где же это она ребенком чувствовала себя в тепле и безопасности, как уже никогда и нигде не чувствовала себя потом. Она помнила только, что там все было синее. Мир катился мимо нее, не проникая в ее убежище. А теперь она не могла даже припомнить, какая это была синева. Она ощущала

только пустоту внутри себя и вокруг себя. Все равно — закрывала она глаза или широко раскрывала их. И звезды в небе были так же одиноки, как прохожие, изредка появлявшиеся на пустынной площади. Она протащилась немного дальше. Опять села под чьей-то дверью. Ее опять прогнали. Наступило утро. Она проголодалась. У нее не было ни сил, ни желания говорить. А ведь милостыню молча не попросишь. Она украла что-то у уличной торговки.

Так миновало два-три дня. И ее снова потянуло к свету и теплу. Проходя мимо какого-то трактира, она услышала музыку. Мужчина, выскочивший оттуда, схватил ее за руку. Нет, он не был слеп, этот человек. Он сказал:

— Ну и вид у тебя! Прежде чем идти со мной, малютка, приведи-ка себя в порядок. Твое ребосо заросло грязью.

Она почистилась, заплела косы. Вот так и началось, так и пошло. Ее можно было видеть и в дрянных трактирчиках и в кафе на лучших улицах города. То какой-нибудь приезжий вел ее в гостиницу, то уличный торговец — в свою лавчонку. Однажды она помогла переправить груз фруктов на мулах через всю страну. В другой раз ночевала в грузовике с шофером-иностранцем. А потом стало заметно, что она беременна. И ей пришлось искать пристанище. Она встретила девушку, работавшую с ней раньше в хлебной лавке. Девушка сказала:

— Можешь побыть у меня. Не то тебя занесут в списки. А если уж попадешься, так за тобой будут зорко следить.

И добавила:

— Думаешь, иностранки тоже так глупы, как мы? Знаешь, у меня восемь братьев и сестер. А вот иностранки, те не ждут, пока станет все заметно. Ведь потом за это наказать могут. А главное, они не ждут до тех пор, пока ребенка занесут в списки. Они хитрющие, они кончают все раньше, чем ребеночек на свет появится. Да он у них и не родится вовсе.

Крисанта была благодарна этой девушке. Она считала ее очень ловкой. К тому же девушка оказалась порядочной. Она приютила Крисанту.

Позже девушка сказала:

— Видишь, как хорошо, что ты меня встретила. В больнице ребенка занесли бы в списки. А так — его словно и не было. Теперь все кончено.

На это Крисанта ничего не ответила.

Иногда Крисанта была по-прежнему веселой. А иногда вела себя как безумная: ругалась, плакала и кричала. Она принесла своей подруге, как они и условились, первые же заработанные деньги. Но скоро ее новая работа опротивела ей. Без конца вышивать крестом, без конца одних и тех же птиц. В последний день на работе, чтобы насолить надсмотрщице, она вышила совсем не такую птицу, как ей велели, — красную вместо синей на белом фоне, сама выдумав рисунок, а не по образцу. Правда, ее птица имела большой успех: последовал десяток новых заказов. Но Крисанта никогда ничего не узнала об этом, она перебралась в другой конец города.

Она опять выглядела по-прежнему. Опять охотно смеялась и болтала. Теперь Крисанта умнее обращалась с мужчинами. Ходила в парикмахерскую. Купила себе пальто в магазине. Она знала, что иностранцев иногда привлекают такие девушки, какими они представляют себе местных жительниц: робкие, сдержанно-холодные, с ребосо и косами. Она знала, что самым прекрасным на ее лице были ресницы, и, когда просила о чем-нибудь, опускала глаза. Иногда на нее находил приступ озлобления, тогда она замыкалась в себя и пряталась. Потом отчаяние проходило. И ее опять тянуло к свету и теплу.

Она встретила каменщика, который ходил с ней в вечернюю школу. Он всегда производил на нее впечатление сдержанного, рассудительного человека. Такое впечатление производил он и теперь. На нем был все тот же костюм, только уже порядком поизносившийся. Крисанта подумала: умеешь ты читать и писать или нет, а жизнь идет своим чередом. Что проку каменщику в этом мире оттого, что он умеет быстро складывать буквы в слова? Он познакомил ее с молодыми каменщиками. К одному из них она привязалась. Каменщики как раз строили на окраине города большой дом. Компания посылала своих рабочих на ту или другую стройку вместе с семьями. И каменщики, как цыгане, разбивали каждый раз на новом месте свой лагерь, до нового переселения. Молодой каменщик, который еще не обзавелся семьей, взял Крисанту в свою хибарку.

В семье Гонсалесов давно уже удивлялись, что Крисанта больше не появляется. Госпожа Мендоса узнала от тети Долорес, что Крисанта исчезла, оставив после себя долги. Но вот семья горшечника услышала от горшечников соседнего местечка, что Мигель уехал из Мехико. но без Крисанты. Об остальном Гонсалесы сами догадались.

Госпожа Мендоса чувствовала себя виноватой. Правда, никому и в голову не пришло упрекать именно ее. Но сознание вины мучило ее. Ведь это она привезла девушку на работу. А ей явно не повезло на том пути, которым она пошла по совету госпожи Мендосы. Она ничего не добилась. И вот госпожа Мендоса решила, что должна отправиться на розыски девушки.

К тому времени Крисанте стало трудно жить у каменщика. Жены соседей начали уже ворчать. Да к тому же лагерь опять снимался с места. Она целыми днями бродила по окрестностям города. Издалека наблюдала за крестьянами. На мулах или пешком, нагруженные фруктами и овощами или другими товарами, они спускались с гор в Мехико на рынок. Не доходя до города, они делали привал. Надевали сандалии, которые из бережливости несли всю дорогу. Однажды Крисанта увидела семью горшечника: женщины тащили детей, мужчины несли посуду. Посуда была хорошо глазирована, она так и блестела на солнце. Но ее вид не вызвал в Крисанте ни воспоминаний, ни печали. У нее только возникло смутное чувство, будто гончарное ремесло ей знакомо. Один из молодых горшечников, отойдя чуть подалее от своих, чтобы напиться, узнал Крисанту.

Вот как случилось, что госпожа Мендоса уже на следующий день спешила по одной из самых красивых улиц на окраине города, мимо новых белых, но успевших зарости голубыми цветами домов, к лагерю строителей. У женщин она спросила о Крисанте. И, как ожидала, получила точный и злобный ответ.

Крисанта при виде посетительницы испугалась. А приказание госпожи Мендосы немедленно собираться и ехать в Пачуку потрясло ее и обрадовало.

За последний год Крисанте удалось избавиться от воспоминаний о Гонсалесах; пожалуй, можно было подумать, что она и вовсе забыла эту семью. Она всеми силами старалась не вспоминать о них, чтобы не просить

у них приюта и не держать перед ними ответа. Когда же ей властно приказали сделать что-то, о чем она и помыслить не смела, она без всяких уверток, привычно послушалась того, кто был сильнее, чем она сама. Ибо она, Крисанта, была слабая, маленькая и беспомощная.

Госпожа Гонсалес не стала поднимать шум вокруг ее возвращения. А мужчины были на руднике.

Крисанта легла спать на свое старое место — на циновке, рядом со старшей дочерью. Только теперь там стало теснее, потому что старшая дочь была беременна. За это время она уже успела родить одного ребенка. Он спал в ящике, подвешенном на шнурах к потолку. Это было единственным новшеством в комнате, да и в семье.

В доме было так тесно, что Крисанте и думать нечего было остаться. Она это сразу поняла.

— Ах, бедная моя, — сказала госпожа Гонсалес, — что ты будешь делать? Ведь ты снова попалась.

Крисанта еще и не подозревала этого, а приемная мать тут же заметила, что она ждет ребенка. Поэтому, когда госпожа Мендоса подала дельный совет, все очень обрадовались. Сестра невестки ее мужа была замужем за человеком, которому в Мехико повезло. Они арендовали ларек и продавали лимонад у остановки на одной из окраин города. Им нужна была работница, чтобы заменить хозяйку в ларьке. Крисанта должна будет только выжимать апельсиновый сок и мыть стаканы. Накануне своего отъезда Крисанта вышла немного проводить папашу Гонсалеса, который приходил домой с рудника ночевать. Во дворе одиноко разгуливал, чванясь своим ярко-красным убором, индюк. Папаша Гонсалес сказал, что индюка откармливают к свадьбе второй дочери. И добавил:

— Мы ждем тебя, — и еще он добавил: — Ребенка ты принесешь с собой, я хочу его видеть.

Мгновение он пристально смотрел ей в глаза. От этого взгляда Крисанта почувствовала себя виноватой, ибо он напомнил ей Мигеля. Его глаза, такие же золотисто-зеленые, выражали ту же непреклонность.

Она не боялась больше вспоминать прошлое. Она опять вспомнила Мигеля. И горько жалела, что не приехала в Пачуку раньше. Может быть, она уже давно выжимала бы апельсиновый сок в этом ларьке. Ребенок, которого она тогда ждала, был бы от Мигеля. Теперь же она и сама толком не знала, кто его отец.

Однажды Крисанта остановилась перед витриной кино, чтобы посмотреть фотографии актеров. Она узнала героев того фильма, который они видели вместе с Мигелем, и подумала: «И мой сын может стать таким же умным, как сын той девушки в фильме. И он научится читать и писать. И поступит в университет. И даже получит диплом. Он может стать решительно всем, кем захочет, если только вообще появится на свет, как того желает папаша Гонсалес».

Ее новая работа была ни очень плохой, ни очень хорошей. Люди, к которым она нанялась, обращались с ней ни грубо, ни дружелюбно. Они были немного сдержанны, немного педантичны. И благодаря этим качествам могли кое-что экономить и откладывать деньги на аренду ларька.

В часы, когда в ларьке торговала сама хозяйка, Крисанта — отчасти по своей воле, отчасти по приказанию — продавала недалеко от ларька самостоятельно яблоки и лимоны. И, родив ребенка, она продолжала вести свою маленькую торговлю. На остатки жалованья она покупала, тщательно выбирая, у оптового торговца несколько десятков некрупных, но блестящих желтых яблок, лимонов, помидоров, и головок чеснока, а иногда и зелень. Все это она раскладывала рядом с рельсами, постелив газету прямо на землю, приветливыми ровными пирамидами. И садилась тут же на землю, закутав ребенка в ребосо.

Однажды порыв ветра поднял тучу пыли, засыпав улицу и прохожих. Крисанта быстро сунула голову под шаль к ребенку. Люди, едва различимые сквозь пыль, спешили мимо нее. И вдруг она вспомнила то место, где была когда-то ребенком. Вспомнила эту ни с чем несравнимую, непостижимую синеву, такую густую и темную. Это было ребосо, шаль госпожи Гонсалес, а за ним — теперь она это знала — катились людские волны — ее народ.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО *

Для Фрица Бремера, рабочего с завода металлических изделий, пятидесяти одного года от роду, семнадцатое августа началось радостно. Это был предпоследний день его отпуска. Когда он взглянул, еще лежа в постели, в маленькое оконце летнего домика на окраине города, где они с женой проводили жаркие месяцы, он с удовлетворением отметил, что солнце сияет и сулит чудесный день. Сегодня это было особенно кстати, так как он наметил для себя обширную программу. Он собирался починить забор, отделявший его огород от соседнего участка и давно ждавший ремонта, надо было проделать кое-какую работу на грядках, и, наконец, он хотел хорошенько почистить свой мотоцикл. Бремер был человек трудолюбивый, делавший все основательно и по системе. Бездельничать и убивать время было для него невыносимо. Поэтому он всего несколько минут наслаждался предвкушением напряженного, заполненного дня, а затем — было только шесть часов, и жена еще спала — вскочил на ноги, умылся у колонки, собрал свой инструмент и, даже не позавтракав, принялся в эту рань, по-летнему радостную, тихую, оглашаемую только птичьим гомоном, за починку забора.

Если бы кто-нибудь хорошо знавший Фрица Бремера, например его жена, внимательно понаблюдал в это время за его работой, он, без сомнения, заметил бы нечто необычное: Бремер трудился с преувеличенным, почти лихорадочным рвением, столь чуждым его спокойно-рассудительной, степенной натуре. И еще кое-что подметил бы

* Действие рассказа происходит в Западной Германии в день, когда боннское правительство запретило КПГ.— *Здесь и далее примечания редактора.*

наблюдатель: как ни суетился этот человек, он явно не мог сосредоточиться. Его движения, обычно такие уверенные, были торопливы, а время от времени он бросал работу и настороженно прислушивался. Но все звуки, которые он слышал, были обычными, будничными: жена, успевшая уже встать, хозяйничала в комнате, наполняла ведро у колонки, ставила кофейник на плиту. Скоро она позовет его завтракать. Словно подгоняемый необходимостью проделать до этого момента как можно больше, Фриц Бремер с ожесточением набросился на работу; он не отвлекался ни на секунду, и в результате забор был готов еще до того, как прозвучал голос его жены. Бремер отер пот со лба, с минутой постоял в нерешительности и хотел было уже направиться к домику, ибо не имело смысла до завтрака браться за новую работу, как вдруг его жена включила радио. Она делала это каждое утро в одно и то же время, но сегодня, по-видимому, это привело Фрица Бремера в раздражение. Он сердито наморщил лоб, призадумался, потом побежал в кладовку, с грохотом извлек оттуда лопату и как одержимый принялся перекапывать участок земли, что не входило в его программу и было совершенно ненужно. Звук, производимый врезавшейся в землю лопатой, заглушался отрывистым ритмом музыки и скандирующим женским голосом, который доносился из репродуктора до работавшего на огороде человека. И хотя казалось, что он всецело поглощен своим делом, от него все же не ускользнуло, что передают утреннюю гимнастику. Потом пойдут последние известия.

— Фриц, кофе готов! — крикнула жена.

Бремер сердито пробормотал что-то нечленораздельное, но все же оставил инструменты и пошел домой. Прежде чем сесть за стол, он резким движением выключил радио. Жена удивленно взглянула на него, но промолчала.

— Утренняя гимнастика, утренняя гимнастика, — ворчал он. — У меня своя собственная утренняя гимнастика...

Эльфрида достаточно хорошо изучила своего мужа, чтобы знать: если он так сетует на работу, к которой его никто не принуждает, то это всего лишь пустой предлог. Значит, мы в плохом настроении, отметила она про себя. Вслух она сказала:

— Потом пойдут последние известия.

Фриц никогда не пропускал передачу последних известий и сводку погоды. В этом он был пунктуален. Но сегодня он явно не следовал своим правилам.

— А ну их! Вечно одно и то же. Я и без господ метеорологов знаю, что сегодня на редкость хорошая погода, — выпалил он.

Фрау Эльфрида Бремер насторожилась. На языке у нее вертелось нечто весьма определенное. Но этого она не сказала, а лишь пожала плечами и объявила:

— Теперь, Фриц, я пойду за покупками.

Он кивнул головой, тотчас же поднялся и снова отправился в огород, испытывая явное облегчение от того, что остается один, без жены, с которой прожил в мире и согласии более двадцати лет, без радио, обычно не смолкавшего с раннего утра до позднего вечера, один со своей не слишком спешной, но усердно исполняемой работой и своей куда более важной, но боязливо заглушаемой думой.

Это семнадцатое августа было вовсе не таким уж радостным днем, каким с момента своего пробуждения, обманывая себя, старался сделать его Фриц Бремер, рабочий-металлист, в возрасте пятидесяти одного года. Его второе — честно говоря, лучшее — «я» знало об этом с самого начала. А связано это было с событиями, происшедшими уже давно, точнее — со всей его прежней жизнью, над которой он мог теперь, оставшись в одиночестве, спокойно поразмыслить.

С внешней стороны все было в полном порядке. Как квалифицированный рабочий небольшого завода металлических изделий в Карлсруэ он отлично зарабатывал, да и сама работа его удовлетворяла. Будучи женатым, но бездетным, он мог жить — не влачить существование, а жить в полном смысле этого слова, то есть исполнять свои относительно скромные желания, не высчитывая при этом каждую копейку: приобрести мотоцикл, хороший радиоприемник, летний домик. По существу, это было не более как справедливо и естественно: в конце концов, Фриц Бремер проработал на одном и том же заводе около тридцати лет, включая перерыв, вызванный войной, то есть те два ее последних года, когда ему пришлось стать солдатом. И включая также два года безработицы, с середины 1931 года до середины 1933 — мрачное, страшное время, о котором Фриц Бремер не любил вспоминать, как и о других вещах, с этим связанных.

Но именно обо всем этом пришлось ему волей-неволей думать утром 17 августа 1936 года у себя на огороде. Фриц Бремер не был повинен в длительной безработице. Наоборот, как дельного и квалифицированного рабочего, его держали дольше, чем многих его товарищей. Повинен был экономический кризис. И все же... Да, было бессмысленно в чем-либо упрекать себя, и в те времена рабочий-металлист Фриц Бремер ни в чем себя и не упрекал — его, возможно, не выбросили бы на улицу в 1931 году, не будь еще одного обстоятельства: Фриц Бремер был членом коммунистической партии. Не самый активный, он был все же известен на заводе как коммунист. Он вступил в партию в 29-ом, в год берлинского кровавого мая, хотя и независимо от этого события. Причиной была забастовка на заводе металлических изделий с требованием повышения заработной платы и сближение его с Янценом. Такому человеку, как Бремер — в общем равнодушному к политике, — понравилось, как успешно провели забастовку коммунисты, составлявшие меньшинство на заводе, и во главе их — Янцен, его товарищ по цеху; более того, он был увлечен, его привела в восторг та простая, без всякого пафоса манера, в которой Янцен объяснял ему связь событий, не только малых, но и больших. Короче говоря, Фриц Бремер вступил в партию по собственному почину, не побуждаемый Янценом, и мир стал светлее. Он остался светлым для Бремера и тогда, когда его выбросили на улицу. Да, ему труднее было бы пережить годы безработицы, не будь у него этой опоры. Безработный — неточное выражение: он остался без заработка, но отнюдь не без дела. Он работал для партии, распространял листовки, агитировал, собирал взносы. Пока в 1933 году партию не запретили. Тогда он потерял связь с товарищами: Янцена и нескольких других коммунистов посадили еще до запрещения. Можно было бы сказать — сам он, конечно, этого не говорил, а лишь время от времени осмеливался подумать, — что он примирился с потерей товарищей и не искал новых. Причиной был страх, подавленность человека, который всего два года был без заработка и еще не совсем потерял надежду когда-нибудь снова стоять у станка и каждую пятницу получать конверт с деньгами. Так легко и просто отказавшись от партии, Фриц Бремер чувствовал себя не вполне спокойно, иногда он расценивал свой поступок как предательство.

Но осенью 1933 года, когда произошло невероятное и он вернулся на завод, когда он снова встал на свое старое рабочее место, он подавил в себе эти чувства и почти позабыл о них. Почти — ибо когда завод перевели на военное производство, когда с течением лет стали внезапно арестовывать по обвинению в саботаже то одного, то другого из его товарищей по работе, которых Бремер считал совершенно безобидными и далекими от политики, тогда не вспоминать становилось трудно. Слово «предательство» все чаще и отчетливее всплывало в его мыслях. Оно терзало его. Хотелось с кем-нибудь поговорить об этом. Но не к кому было обратиться: Янца отравили в концлагерь. А на заводе подобный разговор был бы опасен. Шпиками и доносчиками там кишмя кишело. Бремер не знал, кому доверять. А те, кому он все же доверял, сомневались в нем самом. Фриц Бремер чувствовал, что почва ушла у него из-под ног. Иногда он завидовал тем, кто плыл по течению и был способен сказать «да». Он этого сделать не мог. Но для того, чтобы сказать «нет», Бремер чувствовал себя слишком слабым. Оставалась одна опора — жена и сомнительное утешение, что он не в силах что-либо изменить, а если он уйдет со своего места, то его займут другие. Ему приходилось нелегко.

Однажды вечером, возвращаясь с работы, Бремер увидел на стене красную надпись, проступавшую сквозь белую краску, которой ее замазали: «Несмотря на запрет, не погибла, нет! КПГ жива!» Он почувствовал презрение к самому себе. Домой он пришел расстроенный. Жена заметила, что с ним неладно, и спросила, в чем дело. Он посмотрел на нее долгим взглядом и сердито пробормотал что-то, уклоняясь от ответа. «Не станет ли и она презирать меня?» — промелькнуло у него в голове. И он понял, что, несмотря на долгую и дружную совместную жизнь, по существу, не знал Эльфриду. Он женился, будучи уже два года членом партии. Она знала об этом, но не говорила ничего ни «за», ни «против». Дочь мелкого почтового чиновника, она считала политику мужским делом, от которого в общем было мало толку. Бремер хотел заговорить, чтобы поведать жене о своих муках. Но он промолчал. Слишком плохо он знал ее. Много дней подряд он ходил, как лунатик. Свою смертоносную военную работу он исполнял с обычной точностью, но его

неотступно преследовала мысль, более опасная, чем взрывчатка, которой заряжали снаряды: он помышлял о саботаже. Шел предпоследний год войны. Бремеру повезло или не повезло — как посмотреть: когда стала сильно ощущаться нехватка солдат, у него отобрали броню и призвали.

По окончании войны Бремера снова взяли на завод. Теперь там производили кастрюли, инструменты и велосипеды. Дела было много. Призраки растаяли. Фриц Бремер строил свою жизнь заново. О прошлом он вспоминал, как о кошмарном сне, от которого очнулся целым и невредимым. Это никогда больше не повторится! Люди стали умнее, рассудительнее, в том числе и Фриц Бремер. Разумеется, первые годы оказались нелегкими, что было неудивительно при подобной разрухе. Но потом дела пошли в гору, быстрее и круче, чем люди смели надеяться. Однажды Бремер встретил Янцена. И призраки ожили. Фриц Бремер смутился. Он спросил товарища, где тот работает, как пережил эти годы, рассказал ему о своем летнем домике и намерении купить мотоцикл. Вопреки своему обыкновению он говорил долго и лихорадочно, не давая слова вставить ни Янцену, ни себе — своему второму, прежнему «я». Как ему показалось, Янцен глядел на него слегка насмешливо; он спросил, состоит ли Бремер снова в организации. Бремер поспешно сказал «нет» и, увидев, что подходит его трамвай, попрощался. С тех пор — прошло уже более года — он больше не встречал Янцена.

Перекопав половину огорода, Фриц Бремер стал протирать тряпкой хромированный бак мотоцикла. Тут он услышал шаги жены, вернувшейся с покупками.

— Вот теперь они-таки запретили ее! — крикнула она, едва успев притворить за собой калитку. — Ты уже слышал об этом по радио, Фриц?

Он приостановил свою работу, с минуту помолчал, потом, держа в руках тряпку и не глядя на жену, охрипшим голосом произнес:

— В самом деле? Нет, я еще ничего не слышал, я все время...

Он не договорил и, словно окаменев, продолжал сидеть возле своего мотоцикла. Жена все еще стояла с ним рядом. Бремер пробормотал:

— Какая низость!

Хотя слова были резкими, прозвучали они у него вяло. Он знал это, и жена тоже знала. Оба они знали еще многое другое. Например, что сегодня утром, при первых лучах солнца Фриц Бремер совершенно определенно со-знавал, какая это дата — нынешнее семнадцатое августа. Например, по какой причине тот же Фриц Бремер так отчаянно набросился на работу. Например, почему он между делом все время прислушивался к радио и почему так внезапно его выключил. Например, что ему вовсе не требовалось слышать безучастный голос диктора, передающий по радио известия, чтобы узнать о случившемся: в конце концов он жил в том городе, где был вынесен приговор, и понадобилось бы не более получаса ходьбы, чтобы узнать новость, которую ему только что сообщила жена. Фриц Бремер отдавал себе отчет в том, что он ничего не хотел знать, что он боялся этого семнадцатого августа, ибо боялся самого себя, своего собственного прошлого, боялся презрения и страшного слова «предательство».

Руки его без конца водили тряпкой по одному и тому же месту уже сверкавшего, как зеркало, хромированного бака. Он поднял глаза лишь тогда, когда услышал, что жена хлопочет в доме. Взгляд его был устремлен в одну точку. Заметив, что Эльфрида вышла из дома, он поспешил снова склониться над мотоциклом и начал щеткой чистить цепь и мелкие винтики. Заслышав голос жены, он вздрогнул. А она сказала только:

— Я купила отличную жареную свинину. Ты можешь нарвать фасоли, я сделаю к жаркому салат с фасолью.

Без единого слова Фриц Бремер поднялся и вымыл руки у колонки. Затем он принялся рвать фасоль. Он рвал и рвал, не сознавая, что делает. Когда он принес корзину жене на кухню, она схватилась за голову:

— Здесь по меньшей мере шесть фунтов, что я буду делать со всей этой фасолью? Ее хватит на целую роту! Чем у тебя забита голова?

Она взглянула на него, и он очень ясно почувствовал, что она знает, чем у него забита голова, и презирает его, а может быть, немного и себя...

За обедом он сам включил радио. Безучастный голос как раз говорил о том, что действия полиции — закрытие всех бюро Коммунистической партии и изъятие докумен-

тов — развиваются планомерно и пока протекают без всяких инцидентов. Произведено несколько арестов.

Нежная свинина застревала во рту, как кожа. Муж и жена не глядели друг на друга и молча поглощали еду.

— Возьми же еще кусок...

Он — внезапно:

— Неужели они и Янца арестовали?

Жена ничего не ответила.

Он, после небольшой паузы:

— Сегодня вечером я найду к нему, я еще помню, где он живет...

Она, не возражая, лишь несколько удивленно, но вполне дружелюбно спросила:

— Да?

«Итак, она не отговаривает меня», — подумал он и при этом впервые ощутил некоторое слабое удовлетворение, за себя и за нее. Потом, не говоря ни слова, вышел в сад. Его жаркое осталось нетронутым. Бремер еще раз почти машинально потер мотоцикл, не способный уже блеснуть ярче. Но самый яркий блеск казался ему тусклым. Он осмотрел превосходно отремонтированный забор. Продержится по меньшей мере год. Но ему было совершенно безразлично, сколько времени продержится забор. Он глядел на свежевскопанную землю, но не задумывался над тем, что можно в нее посеять. Бремер думал лишь об одном (он уже перестал отгонять эту мысль, да, он сознательно возвращался к ней): о своем предательстве и своей вине, вине рабочего-металлиста и бывшего члена КППГ Фрица Бремера, об ответственности сотен тысяч фрицев бремеров за то, что дело могло дойти до семнадцатого августа тысяча девятьсот пятьдесят шестого года. И наконец, уходя из сада, он подумал о том, что вину надо загладить, пока еще не поздно.

Катарина Каммер

ДРУГОГО ПУТИ НЕТ

На этой длинной шумной улице, среди толчеи и суеты никто не замечал, как юная девушка, почти подросток, вот уже третий раз в нерешительности останавливалась перед одним из высоких домов. Она долго смотрела вслед людям, которые входили в него равнодушно, без всякой торжественности, пока не поняла, что для них этот дом был самым обыкновенным жилым домом. Тогда девушка медленно побрела дальше по длинной улице и немного погодя снова вернулась.

Одетая в глубокий траур, замкнувшись в себе, шла она, словно скорбное напоминание, по людной вечерней улице, при свете ярких фонарей, от которых все краски на других людях неожиданно оживали, на ней же черное казалось еще чернее, а светлое — совсем выцветшим.

Мужчины, глядя на девушку, не могли понять, вызывает ли она в них желание как женщина или жалость как ребенок. Ибо тесно облегающий жакет, казалось, с утонченным и нарочитым кокетством обрисовывал ее маленькую грудь, но личико под короткими белокурыми волосами, плотно и гладко, словно шлем, облежавшими ее головку, было по-детски печальным, хотя девушка и силилась придать ему неподвижность маски.

Что-то упрямое и вместе с тем угрюмое чувствовалось в ней, и, глядя на нее, рано покинутую, каждый был бы вправе упрекнуть того, кто это сделал.

Порою в глазах ее появлялся какой-то лихорадочный блеск; и это случалось всякий раз, когда ей навстречу попадалась молодая мать с ребенком.

Ничего не подозревая, проходили они мимо, ласкали своих малышей или бранили, а девушка думала: «Может

быть, и ты такая же, как моя мать. Может быть, и ты скоро бросишь своего ребенка, чтобы тебе жилось легче и веселее».

В безысходности своего горя она видела только, что дома столицы — серые и безобразные, небо — чадное и улицы — грязные. Бледные люди спешили домой, точно боясь потерять минуту отдыха. И девушке было утешением, что здесь, на узкой, словно ущелье, улице Восточного Берлина, все как будто так же безотрадно, как и в родном Гамбурге: ибо в мире, в котором матери бросают своих детей, не может быть хорошо.

Наконец она вошла в дом, перед которым столько раз останавливалась, не решаясь войти. Здесь жила ее мать, бросившая девочку шестнадцать лет назад.

Приемная доктора Доротеи Кранц была просторной — ведь ей приходилось вмещать много горя и надежд. Там сидели люди, уставшие от ожидания; одни в поношенной одежде из дешевого материала; другие в дорогих костюмах модного покроя; но все лица носили следы упорного труда, и даже у хорошо одетых были натруженные руки.

Девушка в трауре была удивлена — у них в Гамбурге она этого не замечала. Но именно это и навело ее на мысль, что мать не очень-то преуспевает: должно быть, она всего-навсего врач страховой кассы в рабочем квартале Восточного Берлина.

И с особым удовлетворением девушка подумала о дорогом черном костюме, элегантно сидевшем на ней, о своей холеной коже и белокурых волосах, уход за которыми стоил больших денег. В этой показной роскоши выразилась нежная забота отца, отца, которого уже нет в живых.

Перед ней опять встало его лицо, вдруг искаженное страхом в предсмертной агонии, она снова услышала замершие на его устах последние слова:

— О... Твоя мать... Проклинаю!..

Отныне все на свете заслонила от нее эта смерть. И за нее-то, за эту одинокую смерть хотела она призвать мать к ответу!

Приемная постепенно пустела, и худенькое личико девушки как будто меркло. Лишь глаза жили на этом лице, глаза, в которых горела иступленная решимость. При этом она чуть дышала, казалось, она набирается сил для предстоящих трудных минут.

Когда сестра доложила, что в приемной ждет последняя больная — молоденькая девушка, доктор Доротея Кранц выронила перо из рук. Ведь уже несколько лет как от таких слов у нее замирало сердце. И, увидев девушку в трауре, Доротея Кранц поняла: вот оно! Фридрих умер, и теперь она пришла ко мне. Сейчас я поднимусь ей навстречу, крепко обниму и скажу: «Милое мое, дорогое дитя! Шестнадцать лет я ждала этой минуты».

В кабинете пахло эфиром; этот запах напоминал о суровой действительности так же, как два враждебных холодных глаза, смотревших на нее в упор. И поэтому врач Доротея Кранц взяла в руку листок бумаги, потом положила обратно, снова взяла и снова положила, ибо он выдавал, как у нее дрожит рука.

Затем она поднялась. Впилась взглядом в темную фигуру девушки, пытаюсь проникнуть сквозь туманную завесу этих шестнадцати лет, но путь был закрыт. В конце концов ей удалось лишь установить: глаза у нее мои, а взгляд — Фридриха.

И прямая фигура в белом халате чуть-чуть согнулась.

Тем временем сестра заполнила больничную карточку. Кристина Гоппенштедт — значилось на ней. Так вот какая ты, Кристина Гоппенштедт! И какой у тебя жесткий, властный голос!

Направления к врачу у нее нет, она приехала из Западной Германии, она оплатит оказанную ей врачебную помощь.

Доротея Кранц кивнула. В деньгах у Фридриха недостатка не было, значит, и у дочери они есть.

Как обычно, сестра положила перед врачом серо-зеленую, будничную карточку, потом ушла домой. Доротея Кранц села к письменному столу и уставилась на карточку.

Девушка молча смотрела на мать, как бы ощупывая ее беспощадным взглядом. Так вот она какая, широкая, полногрудая — настоящая мать; темные, разделенные пробором волосы, незатейливо собранные сзади узлом, как у настоящей матери, которая больше не заботится о своей красоте; и руки сильные, добрые — словом, все, как у настоящей матери.

Врач повернула к девушке лицо — широкое простое лицо, еще не старое, с редкими, но глубокими морщинами, словно их проложила все та же точившая ее забота.

— Почему вы пришли ко мне? — неторопливо спросила она.

Девушка ответила: нужен рецепт на снотворное, на сильное снотворное, и она просит не отказать ей.

— У меня на днях умер отец, и вы понимаете, что без снотворного мне не уснуть, — добавила она.

— Да, я понимаю, но, вероятно, у вас есть еще мать?

— Нет.

Эти слова словно отрезали надежду. Доротея Кранц отвела взгляд. Потом спокойно сказала:

— Мне пришлось лечить немало детишек, лишившихся матери. И многим я подыскала приемных матерей.

Девушка сдвинула брови, она в эту минуту вспомнила тысячи мгновений из своего детства, когда ей приходилось видеть, как матери ласкают своих детей. И она подумала: «То, что эта женщина сделала для чужих детей, ее далеко еще не оправдывает». Черные брови девушки сдвинулись ближе, и, словно броня, нависли над ее злым взглядом. И все же в ее враждебности было что-то беспомощное; матери едва удалось сдержать себя, чтобы не схватить в объятия эту замкнувшуюся в себе девочку. Как ей хотелось хоть коснуться, хоть раз опять коснуться своего ребенка. Инстинктивное, непобедимое желание сделать это немедленно, заставило ее сказать:

— Прежде, чем выписать рецепт, я должна выслушать ваше сердце.

Удивленно, как-то нерешительно, девушка разделась до пояса. На ней было роскошное белье, невообразимо тонкое, отделанное еще более тонкими кружевами. Когда-то, больше шестнадцати лет назад, Доротея Кранц шила своему ребенку крошечные рубашечки из белого полотна. Они прикрывали худенькое детское тельце, такое худенькое, что можно было пересчитать все ребрышки. Вместо узкой костлявой грудки ребенка мать увидела две круглые, крепкие груди, белые и красивые, в них уже не было ничего девственного; или так только казалось из-за дорогого белья. С горечью Доротея Кранц подумала, что, может быть, мужчина уже целовал эту грудь.

Она стала выслушивать сердце. Считала его удары, потом перестала считать. Закрывает глаза и увидела перед собой это сердце: каждую мышцу в нем, каждый сосуд, предсердия и желудочки, но того, что ей хотелось, она увидеть не могла. Вооруженная инструментами и

познаниями медицинской науки, она слушала сердце своего ребенка, но не в силах была узнать, доброе оно или злое.

Она взяла девушку за руки выше локтя — они были еще по-детски худенькими, а спина гладкой и шелковистой, как у молодого зверька. Она провела по ней ладонью и почувствовала, как девушка вздрогнула. Потом, чуть отвернувшись, Кристина сказала:

— Если мать тебя бросила, ведь нельзя же говорить, что у тебя есть мать, правда?

У женщины опустились руки.

— Все зависит от того... бывают причины, когда...

— Нет!

Врач медленно повернулась лицом к письменному столу, очень медленно — пусть боль разочарования уляжется и ничего нельзя будет прочитать на ее лице. Это разочарование нелепо, но разочарование не спрашивало, нелепо оно или нет, она его ощутила, и еще мучительнее, еще яснее оно подтвердило то, что она давно уже знала: тут Фридрих одержал над ней победу.

Ничего удивительного не было в этой победе.

Она началась уже с той минуты, когда шестнадцать лет назад поезд отошел от перрона, увозя ее, а на перроне остался рослый статный мужчина с маленькой девчуркой, которую он держал за руку.

На мужчине был тяжелый, темный мундир, на девочке — сверкающая белизной меховая шубка.

Девочка едва сдерживала слезы, но мужчина так сурово на нее взглянул, что она не осмелилась заплакать.

И все же Кристина Гоппеншtedт сказала:

— Мой отец был очень добрый.

— Да?

— Он так заботился обо мне. Я и не чувствовала, что у меня нет матери.

— Да?

— Он держал для меня няню и горничную. Я разъезжала в автомобиле, каталась верхом, играла в теннис. У меня было много друзей.

— Да?

— Отец был большим человеком в нашем городе. Вы бы посмотрели, как торжественно отца хоронили, сколько было цветов, сколько важных начальников. Когда его опускали в могилу, целый взвод салютовал ему. Он был полицейским полковником.

— Ах... Значит, снова в полиции. — Странно неподвижным и безжизненным стало лицо Доротеи Кранц. — И он снова надел красивую форму, и снова от него зависела жизнь многих людей? — Она вдруг горько рассмеялась, словно ей только сейчас пришло в голову это сравнение. — А ведь и от меня тоже зависит жизнь многих людей!

— Моему отцу всегда удавалось восстанавливать в нашем городе порядок и спокойствие.

— Да, зато он одним росчерком пера сотни людей приговаривал к смерти!

Кристина Гоппеншtedт удивленно подняла густые брови и продолжала:

— Вы, как видно, даже не представляете себе, до чего трудно у нас добиться порядка и спокойствия. Сколько там негодяев и предателей, сколько... — она на миг запнулась, быстро взглянув на мать, потом договорила: — ... коммунистов!

Ярко и спокойно горела лампа; как обычно, сверкало стекло белых шкафов; холодно серебрились инструменты; с улицы доносился городской шум. Где-то там, внизу, ходили люди, быть может, многим из них Доротея Кранц вернула здоровье или спасла жизнь в тюрьме или в концентрационном лагере — и не только спасла, но и указала путь к более человеческому существованию своими горячими речами, с которыми столько раз выступала по вечерам среди табачного дыма рабочих собраний.

Сейчас Доротея Кранц не испытывала к ним любви. Она сидела в гнетущей тишине, подавленная тяжестью жестоких слов, которые бросала ей девушка, и женщине казалось, что вся ее жизнь сжалась в какой-то бессмысленный комок. Одно она понимала ясно: в то время, как она спасала тысячи людей, ее единственный ребенок, плоть от плоти ее, погибал, потому что воспринял дух отца.

И ей показалось, что она в эту минуту способна поменять тысячи на одну. Эта мысль ужаснула ее. Ведь эти тысячи ушли от нее, стали ей чужими, а эта одна могла бы полностью ей принадлежать и сейчас презрительно не смотрела бы на нее, а в одиночестве поджидала бы в комнате рядом и затем, прижавшись к ней мягкой, теплой щечкой, сказала бы: «Как хорошо, мама, что ты наконец пришла!»

Боль все сильнее терзала Доротею Кранц, но она всё выше поднимала голову: этому она научилась за минувшие годы. Взгляд ее стал прозрачно ясным, ищущим; другие люди в такие минуты молятся. К ней вернулась решимость, которая всегда овладевала ею, когда жизнь других людей зависела от ее действий.

Она поднялась и сняла с себя белый халат. Простой синий костюм и светлая блузка придали ей еще более материнский вид: она выглядела скромной и неприметной.

Девушке показалось удивительным, что ее элегантный, красивый отец так и не мог окончательно забыть эту женщину. До самой смерти на его столе лежала газета, в которой была помещена фотография Доротеи Кранц, выступавшей с речью на конгрессе борцов за мир. И Кристина Гоппенштедт теперь рассказала ей об этом. Пусть преступная мать знает, что отец, несмотря ни на что, до конца оставался ей верен. Разве это не показывает, что он был замечательным человеком?

Мать промолчала на это, только отворила дверь в смежную комнату и предложила:

— Если хотите, я вам расскажу, что может заставить женщину уйти от мужа.

Поддействовал ли сдержанный тон, или проникающий в самую душу ясный взгляд, или что-нибудь другое, но девушка остановилась на полпути к двери. Ее личико под шлемом белокурых волос еще больше побледнело, глаза испуганно расширились. У нее перехватило дыхание, она поднесла руку к горлу и сдавленно пролепетала:

— Нет... Лучше не надо.

Все же она пошла за матерью в гостиную. Убранство комнаты поразило ее: красивая мягкая мебель, ковры на стенах и на полу, вышитые подушки — все здесь, казалось, говорило о тоске по нежности и ласке.

Доротея Кранц подошла к шкафу и, порывшись, вынула что-то из дальнего уголка. Это оказалась пачка фотографий. На одной был снят мужчина с узким лицом, правильными чертами, с веселой улыбкой в глазах и легкомысленным выражением губ; на другой — девочка с круглым, нежным личиком, большеглазая, в длинных локонах, словом — ангельская головка; на третьей фотографии этот же мужчина был снят с женщиной; женщина намного ниже его ростом, он любовно-покровительственно

обнимает ее одной рукой, взгляд их, устремленный друг на друга, полон нежности.

Снимки лежали на маленьком столике. Мать с дочерью сидели рядом, разглядывая их, и мужчина с веселой улыбкой снова казался живым.

Доротея Кранц придвинула карточку, где мужчина был снят вместе с женщиной:

— Правда, видно, что они очень любят друг друга?

— Да.

— Они и в самом деле были очень счастливы. Он только что получил место в полиции: это было в тысяча девятьсот тридцать втором году, и ей пришлось оставить занятия медициной, так как он хотел, чтобы его жена жила только для него. И ей тоже хотелось жить только для него.

Девушка торопливо прервала ее:

— У меня есть жених, и он тоже хочет, чтобы я жила только для него. — Как все молоденькие девушки, она говорила о своем женихе с большой гордостью, — да, у нее уже есть жених.

Казалось, ее слова не дошли до сознания матери: может быть, потому, что та была слишком поглощена своими воспоминаниями. Сидя на краешке кресла, она смотрела на карточку.

— Им жилось очень хорошо: муж быстро продвигался по службе; его произвели в офицеры, ведь он был очень способный. Он ловко и осмотрительно подавлял рабочие стачки, разгонял демонстрации. Но однажды жена спросила его: «А что, если рабочие правы?» В ответ он обнял ее и стал успокаивать: «У права всегда две стороны, лучше всего об этом не думать и бороться за право той стороны, на которой ты стоишь». И жена поддалась этим успокоениям. У нее появилась меховая шубка, много элегантных платьев; она разъезжала на автомобиле, каталась верхом, играла в теннис, в обществе ее уважали.

Потом за отличную службу ему благосклонно разрешили вступить в эсэсовские войска. Там он пошел в гору еще быстрее. Вскоре его назначили начальником караульной команды в одном из концентрационных лагерей. С заключенными ему почти не приходилось иметь дело. Лишь время от времени он подписывал приказы, направляя эсэсовцев из своей команды расстреливать заключенных.

Его жена, узнав об этом, пришла в ужас. Он опять стал ее успокаивать:

— Это необходимая мера для того, чтобы в нашей стране царили покой и порядок. Если Германия хочет жить, эти люди должны умереть. Все они негодяи и предатели, евреи и коммунисты.

Но жену больше не радовала их красивая казенная квартира. Дом, в котором они жили, стоял далеко от лагеря, и только иногда под окном проходили колонны заключенных. Бесконечными рядами, в одежде с чернo-белыми полосами тащились они мимо. Когда кто-нибудь из них падал, его пристреливали. Стреляли люди из команды ее мужа. Он говорил:

— Мне самому это не по душе; мы останемся здесь еще только год, пока я не куплю тебе автомобиль.

И тогда жена почувствовала, что у нее пропало всякое желание иметь автомобиль.

Однажды, гуляя со своей трехлетней дочкой, она заговорила с одной из заключенных. У женщины были потухшие глаза, но при виде ребенка они вспыхнули неприемлимой ненавистью, и вдруг из этих глаз, в которых горела ненависть, выкатились две крупные слезы: казалось, их исторг из себя раскаленный камень. Заключенная ласково провела рукой по волосам ребенка и прошептала:

— Ты ангелочек, но они из тебя сделают дьявола, и ты прикажешь бить меня кнутом. — Заключенная эта когда-то была учительницей и прятала в своей квартире оставшихся без родителей еврейских детей, кормила их и ухаживала за ними; в этом и состояло все ее преступление.

Глубоко забившись в кресло, Кристина Гоппенштедт, маленькая, вся съежившаяся, провела рукой по волосам, будто хотела стереть с них прикосновение руки той женщины. Она хрипло проговорила:

— Неизвестно, правда ли все это.

Доротей Кранц посмотрела на нее твердым, требовательным взглядом и очень медленно продолжала:

— Когда я глядела на тебя, я думала об осиротевших еврейских детях; лаская тебя, я не могла не вспоминать о страданиях матерей-евреек, оторванных от своих детей. И тогда поняла, хотела я этого или нет, что на свете для всех людей существует одно право и что мы живем, попирая его.

Я умоляла мужа уехать со мной, он отвечал, что это уже невозможно, так как его сочтут предателем. Пусть тогда он убежит со мной, говорила я, ведь я на все готова, все стерплю, чтобы снять с себя страшную вину. Но он не соглашался, ему это было уже ни к чему, он был отравлен; упоение властью, сознание, что жизнь и смерть людей в его руках, отравило его. Когда он ночью склонялся надо мной, мне чудился в его дыхании запах крови; его поцелуи больше не напоминали мне о цветах и облаках, о солнце и деревьях, о животных, о детях, обо всем, что живет: в его поцелуях я ощущала смерть. Когда однажды ночью муж шептал мне какие-то нежности, я сказала:

— Говори громче, чтобы я не слышала их криков. — Но в комнате царил тишина. Я умоляла: — Кричи же, чтобы я не слышала их проклятий! — Но кругом не слышно было ни звука. Я вскрикнула: — Разве ты не слышишь этих ужасных стонов и жалоб? Невинные жертвы, загубленные тобой, обвиняют тебя! О, все они, все снова предстанут перед тобой в твой смертный час и призовут тебя к ответу!

Он посоветовал мне в будущем принимать таблетки от бессонницы... Это была наша последняя ночь.

В ужасе смотрела девушка на мать, тихо умоляя:

— Замолчите, прошу вас, замолчите!

Она уже не говорила: еще неизвестно, правда ли все это. Девушка опять видела перед собой в последние минуты агонии лицо отца, искаженное отчаянным страхом: значит, они, эти мертвецы, и вправду явились ему. И его проклятие предназначалось не матери. Кому же тогда?

И эти впервые разбуженные в ней мысли как бы сопровождал спокойный, почти безучастный голос врача:

— И я ушла. У меня не было другого пути. Ведь самое удивительное в нашем мире то, что, если человека хоть раз поразил до глубины души померкший, таящий ненависть и в то же время жалобный взгляд измученных, угнетенных людей, человек уже не может не вступить на их путь, он не может не идти вместе с ними до конца, туда, где сияет свобода. Это самое удивительное в нашем мире, и, быть может, потому этот мир до сих пор существует. Я ушла, чтобы залечивать раны, которые этот человек наносил.

— Но почему ты... — девушка испуганно запнулась и все же договорила: — не взяла меня с собой?

— Я не могла обратиться в суд. Разве я могла крикнуть в лицо нацистским судьям о своем горе? Меня развели бы с мужем, как жену, забывшую свой долг и честь. И такой женщине не присудили бы ребенка.

Долго в комнате царила тишина. Где-то пробили часы, плакал малыш, кто-то пел. С улицы доносились автомобильные гудки, в больницах рождались дети; на лугах жеребята прыгали вокруг маток, дрожащие ягнята, ища тепла, жались к теплой материнской шубе.

И над этим миром хочет простереть свою власть чудовище, которое питается убитой любовью?!

Робкое, печальное «ты» возникло между матерью и дочерью, но оказалось слишком слабым и сразу умерло. Они не бросились друг другу навстречу, не обнялись, а, застыв, молча сидели рядом как чужие.

Бледное лицо девушки словно опустело: исчезли ненависть и надменность, но пропала и бурная нежность, которая вспыхивала каждый раз, когда она вспоминала своего отца. Ее личико стало пустой оболочкой из кожи и плоти, лишенной всякого выражения.

Жесткий металлический звук — она открыла свою сумку — разорвал тишину. Девушка стала пудриться. Но под слоем пудры лицо оставалось таким же опустевшим.

Доротея Кранц встала; она была спокойна: она знала, что оказала сейчас своему ребенку величайшую услугу. Взглянув в окно, за которым стояла беззвездная ночь, она спросила:

— Что вы теперь намерены делать?

В ее вопросе была тень надежды.

Снова раздался жесткий металлический звук. Кристина Гоппеншtedт захлопнула сумку. Она тоже поднялась

— Ведь у меня есть жених. Я выйду за него замуж. Он похож на моего отца: такой же высокий, стройный, красивый и такой же способный. Он займет его должность.

— Нет! — резко повернулась к ней Доротея Кранц. Казалось, она заглянула в бездонную пропасть. — Этого не может быть! Скажи, что это неправда!

— Нет, правда! Это для меня самое лучшее: тогда в жизни моей ничто не изменится. Я смогу даже остаться в нашей чудесной казенной квартире.

Я умоляла мужа уехать со мной, он отвечал, что это уже невозможно, так как его сочтут предателем. Пусть тогда он убежит со мной, говорила я, ведь я на все готова, все стерплю, чтобы снять с себя эту страшную вину. Но он не соглашался, ему это было уже ни к чему, он был отравлен; упоение властью, сознание, что жизнь и смерть людей в его руках, отравило его. Когда он ночью склонялся надо мной, мне чудился в его дыхании запах крови; его поцелуи больше не напоминали мне о цветах и облаках, о солнце и деревьях, о животных, о детях, обо всем, что живет: в его поцелуях я ощущала смерть. Когда однажды ночью муж шептал мне какие-то нежности, я сказала:

— Говори громче, чтобы я не слышала их криков. — Но в комнате царил тишина. Я умоляла: — Кричи же, чтобы я не слышала их проклятий! — Но кругом не слышно было ни звука. Я вскрикнула: — Разве ты не слышишь этих ужасных стонов и жалоб? Невинные жертвы, загубленные тобой, обвиняют тебя! О, все они, все снова предстанут перед тобой в твой смертный час и призовут тебя к ответу!

Он посоветовал мне в будущем принимать таблетки от бессонницы... Это была последняя ночь.

В ужасе смотрела девушка на мать, тихо умоляя:

— Замолчите, прошу вас, замолчите!

Она уже не говорила: еще неизвестно, правда ли все это. Девушка опять видела перед собой в последние минуты агонии лицо отца, искаженное отчаянным страхом: значит, они, эти мертвецы, и вправду явились ему. И его проклятие предназначалось не матери. Кому же тогда?

И эти впервые разбуженные в ней мысли как бы сопровождал спокойный, почти безучастный голос врача:

— И я ушла. У меня не было другого пути. Ведь самое удивительное в нашем мире то, что, если человека хоть раз поразил до глубины души померкший, таящий ненависть и в то же время жалобный взгляд измученных, угнетенных людей, человек уже не может не вступить на их путь, он не может не идти вместе с ними до конца, туда, где сияет свобода. Это самое удивительное в нашем мире, и, быть может, потому этот мир до сих пор существует. Я ушла, чтобы залечивать раны, которые этот человек наносил.

— Но почему ты... — девушка испуганно запнулась и все же договорила: — не взяла меня с собой?

— Я не могла обратиться в суд. Разве я могла крикнуть в лицо нацистским судьям о своем горе? Меня развели бы с мужем, как жену, забывшую свой долг и честь. И такой женщине не присудили бы ребенка.

Долго в комнате царил тишина. Где-то пробили часы, плакал малыш, кто-то пел. С улицы доносились автомобильные гудки, в больницах рождались дети; на лугах жеребята прыгали вокруг маток, дрожащие ягнята, ища тепла, жались к теплой материнской шубе.

И над этим миром хочет простереть свою власть чудовище, которое питается убитой любовью?!

Робкое, печальное «ты» возникло между матерью и дочерью, но оказалось слишком слабым и сразу умерло. Они не бросились друг другу навстречу, не обнялись, а, застыв, молча сидели рядом как чужие.

Бледное лицо девушки словно опустело: исчезли ненависть и надменность, но пропала и бурная нежность, которая вспыхивала каждый раз, когда она вспоминала своего отца. Ее личико стало пустой оболочкой из кожи и плоти, лишенной всякого выражения.

Жесткий металлический звук — она открыла свою сумку — разорвал тишину. Девушка стала пудриться. Но под слоем пудры лицо оставалось таким же опустевшим.

Доротея Кранц встала; она была спокойна: она знала, что оказала сейчас своему ребенку величайшую услугу. Взглянув в окно, за которым стояла беззвездная ночь, она спросила:

— Что вы теперь намерены делать?

В ее вопросе была тень надежды.

Снова раздался жесткий металлический звук. Кристина Гоппенштедт захлопнула сумку. Она тоже поднялась

— Ведь у меня есть жених. Я выйду за него замуж. Он похож на моего отца: такой же высокий, стройный, красивый и такой же способный. Он займет его должность.

— Нет! — резко повернулась к ней Доротея Кранц. Казалось, она заглянула в бездонную пропасть. — Этого не может быть! Скажи, что это неправда!

— Нет, правда! Это для меня самое лучшее: тогда в жизни моей ничто не изменится. Я смогу даже остаться в нашей чудесной казенной квартире.

— И муж твой будет продвигаться по службе: он будет ловко подавлять рабочие стачки и разгонять демонстрации — ведь он не спрашивает, кто прав... И он будет тебя баловать, у тебя будет легкая жизнь... И, может быть, он когда-нибудь станет начальником караульной...

— Замолчите! Не говорите больше ни слова! Мало вам того, что вы отняли у меня отца? Замолчите же! От своего жениха я не откажусь. Замолчите!

Доротея Кранц давно умолкла: она не видела, как на маленьком личике девушки снова появилась злобная гримаса, что она замкнулась в себе. Доктор Кранц прикрыла руками глаза, а когда опять открыла их, она была одна.

Тяжело ступая, прошла она в свой кабинет. На письменном столе лежал рецепт, выписанный для Кристины Гоппенштедт. Доротея Кранц разорвала его, а клочки сожгла. Она думала: почему именно ей выпало это на долю? Долгие часы размышляла она над вопросом, почему именно ей? Сначала муж, теперь дочь, и этого еще мало...

Ей стало холодно не только от одиночества. Холод шел от чего-то неумолимого. Что же теперь делать?

Она взяла книгу и записала в нее фамилии больных, у которых ей предстояло завтра утром побывать на дому. Когда стало светать, она услышала звонок: у двери стоял человек в рабочей спецовке, усталый после ночной смены. Вернувшись домой, он нашел жену в полном отчаянии, больному ребенку стало хуже — он задышался. Может быть, доктор придет, посмотрит его?

— Конечно!

Почти с облегчением взяла Доротея Кранц свою медицинскую сумку. Пока он торопливо рассказывал ей о болезни ребенка, она внимательно вглядывалась в его простое, доброе лицо, усталое после работы, измученное тревогой, и думала: «Ведь это мое призвание, я должна согнать тревогу с лица этого человека».

И женщина-врач улыбнулась рабочему.

— Можно надеяться на спасение ребенка? — робко спросил он.

— От болезни — я уверена. А вот чтобы люди его у вас не отняли, тут уж вы сами должны постараться.

Рабочий растерянно взглянул на врача: он не сразу понял.

Некоторое время спустя Доротея Кранц получила от Кристины Гоппенштедт, написанное каракулями, путаное письмо. Девушка писала:

«Не знаю, что будет со мною дальше. Живу совсем одна, в чужой комнате. Я просила моего жениха найти себе другую должность, но он меня только высмеял, и я ушла. Постараюсь чему-нибудь научиться. Мне очень тяжело, все вокруг выглядит совсем иначе. Зачем только я пришла к вам? До этого мне казалось, что жить на свете очень хорошо. Но у меня не было другого пути. Может быть, я когда-нибудь опять к вам приду. А сейчас я не знаю, благословлять мне вас или проклинать».

Доротея Кранц смяла письмо, потом опять разгладила его: буквы расплывались у нее перед глазами. Она прошептала:

— Проклинай, но только приходи!

ИОГАНН ВИЛЬКЕ ЧИТАЕТ КНИГУ

— Конечно, Шнурршванц не такая уж красивая фамилия, но когда я подумаю, что ты можешь называться Тильман... Нет, лучше уж пусть меня похоронят до твоей свадьбы, — сказал за ужином Иоганн Вильке своей дочери Ильзе.

Ответа не последовало, и он продолжал:

— Когда он был еще мальчишкой, для него, помните, не было ни слишком высоких деревьев, ни слишком широких канав, а уж насчет пасторских яблок... И в истории с навозной жижей, как пить дать, дело без Тильмана не обошлось. Ведь каждое второе слово у него: «Кооператив, кооператив, сельскохозяйственный производственный кооператив»... Тьфу, трепло!

Ильза возразила спокойно, хотя не могла скрыть своего раздражения:

— В истории с жижей он ни при чем. Пусть я у Шнурршванца коровницей буду, ладно... Но замуж-то я за него ни за что не пойду.

Тут вмешалась мать, она всегда старалась быть и на стороне отца и на стороне девчонки:

— Ну да, Шнурршванцы спокон веку были сквалыги, нахватили себе земли всеми правдами и неправдами. Не всё они делали по-божески, я и сама не хотела бы быть в их доме снохой. И бедняков тогда на свадьбу не позвали, но разве ж это дело, протащить шланг в погреб и поливать пироги навозной жижей, пока они все до последнего кусочка не провоняли? И все только потому, что они кулаки.

Опять заговорил отец Иоганн:

— Я, конечно, не какой-нибудь отсталый, не то я разве дал бы кубометр досок на пол для сельского клуба.

Шнурршванц — он хозяин богатый, ему бы это легче, и все-таки... Нет, об этих Тильманах я и слышать не хочу!

Так они спорили почти каждый день. Уж очень Иоганну хотелось, чтоб его дочь Ильза вошла хозяйкой в двухэтажный дом богача Шнурршванца. Но Ильза по вечерам встречалась у большой акации с Вилли Тильманом. Они не спеша спускались по узкой дорожке между садами и у мельничной запруды переходили через ручей. Медленно брели они по ольховой аллее до скамейки — той, что стоит у входа в огород Штерлингов; там они садились, если место не было уже занято другими. Немного погодя они шли мимо церковного сада к лесной опушке, где опять отдыхали на скамейке. И только заслышав крик совы, отправлялись в обратный путь, мимо кооперативного коровника, куда Вилли ежедневно подвозил корм и солому.

Затем они пересекали большую пустошь — «Проклятое болото», — поросшую низкорослыми соснами и усеянную большими камнями. По этой трясине нужно было идти очень осторожно, чтобы не оставить в грязи ботинки; почва поддавалась под ногами, как резина, настолько было вязко и топко. Эта пустошь — говорили в народе — потому и называется «Проклятым болотом», что поколения бедных крестьян мучились здесь, жили из себя тянули, так и не добившись ни разу приличного урожая.

По дороге влюбленные говорили не только о звездах, чудесном воздухе и работе, вовсе нет, речь у них заходила и о свадьбе.

Вскоре теплые дни прошли, и прогулки пришлось прекратить. Иоганну теперь было раздолье: он мог беспрепятственно рассказывать о новых гнусностях, которые якобы совершил Вилли, и расписывать самыми яркими красками молодого Шнурршванца. Каждый вечер он читал своей дочери разные нравоучения, но припев был все тот же: «Я тоже не какой-нибудь отсталый, не то я не дал бы досок на пол для клуба, но Тильман — нет, это не по мне».

Однажды вечером Ильза оделась и положила в старую хозяйственную сумку четыре брикета угля. Отец спросил:

— А уголь-то куда?

— В клуб.

Скоро сапоги Ильзы заскрипели по снегу.

На другое утро отец поинтересовался:

— Что же там было, в клубе?

— Говорили об овцеводстве.

— Небось, что баран глуп и поэтому годится не только на мясо да на шерсть: баранами дураков ругают.

— Нет, говорили об уходе за овцами и о том, что «Проклятое болото» нужно сделать большим общественным выгоном.

— А Тилльман тоже был?

— Да, старик.

— Значит, об овцеводстве говорили, — повторил Иоганн Вильке и добавил как бы вскользь: — Больше всего овец у Шнурршванца.

Ильза поняла, куда гнет отец, и сказала спокойно и деловито:

— У него только двенадцать, а у кооператива шестьдесят две. А если бы еще к ним наши прибавились, то было бы шестьдесят пять.

Ильза стала все чаще ходить в клуб, а отец при случае спрашивал, был ли там Вилли. Ильза отвечала, что не был, но ничего не говорила насчет того, что Вилли уехал и теперь учится на курсах трактористов. Отец решил: если она одна ходит в клуб, то между ними, видать, уже кошка пробежала, и теперь, может, скоро удастся склонить дочку на сторону Шнурршванца.

Однажды девушка принесла домой книгу, роман. Очень, видно, интересный, она читала и читала его часами. Как-то вечером она вдруг перестала читать, задумалась и, не говоря ни слова, исчезла в своей каморке. Мать это удивило. Она взяла книгу, принялась за чтение и нашла, что такая же история могла бы случиться и в ее деревне, даже и в ее собственной семье. Крестьянина, о котором шла речь на первой же странице, тоже звали Иоганн, как и ее мужа. Все, что в книге писалось про этого Иоганна Вао, было похоже на поступки Иоганна Вильке. Вскоре женщине стало казаться, что и она играет там какую-то роль, и ей очень захотелось узнать, что же будет дальше. Думалось, что все это относится к их деревне, к здешним людям и к тому, что они делают. Само собой, и там появилась молодая пара. Только в романе их звали Айно и Пауль, а здесь Ильза и Вилли. Иоганн Вао не желал иметь ничего общего с кооперативом, и ее Иоганн тоже. Оба они знать не хотели своих зятьев,

эти упрямые ослы, — думала матушка Вильке. Когда она дошла до того места, где Иоганнес Вао говорит о своей дочери: «Я с этой девки шкуру спущу», то она просто разозлилась на своего мужа, потому что теперь она уже полностью отождествляла его с Иоганнесом Вао.

Раз взявшись за книгу, она уже не могла от нее оторваться. Теперь она ложилась спать поздно, так как приходилось дожидаться, пока Ильза кончит читать. Среди действующих лиц она узнала и Шнурршванца. Еще никогда матушка Вильке не читала такой книжки, где бы говорилось о том — ну, точь-в-точь о том, — что происходило в их деревне.

Прочитав больше половины, она решила, что Иоганнес Вао ведет себя в общем вполне прилично и что стоит эту книгу порекомендовать мужу.

После обеда поднялась сильная метель, и старик хотел прилечь. Тогда жена взяла книгу и положила ее перед ним на стол, говоря:

— Сунь-ка свой нос сюда. Будто нарочно для тебя сочиняли, да и про тебя самого тут написано. Хорошая книжка.

Иоганн вытянул было указательный палец, чтобы по привычке сделать жене внушение, но вдруг остановился и стал недоверчиво разглядывать книгу, словно собака, обнюхивающая отравленный кусок; на обложке он прочел: Ганс Леберехт, «Свет в Коорди». Он откашлялся и сказал:

— Кой-кому, может, и не вредно, чтобы его немножко просветили.

Жена поняла намек и не осталась в долгу:

— Почитай, тогда у тебя в голове кой-что прояснится.

Она ушла на кухню. Иоганн Вильке стал разглядывать картинку на обложке, осмотрел книгу со всех сторон и полистал.

Начав читать, крестьянин скоро убедился, что у Иоганнеса Вао те же дела и заботы, что у него; дочь и будущий зять так же беспокоят Вао, как и его самого. Этот Иоганн Вао тоже не пошел в кооператив. И хорошо сделал. Это правильно, думал Иоганн Вильке, радуясь, что есть на свете человек, который знает и понимает его заботы, хоть и живет где-то в далекой Эстонии.

Скоро вся семья читала книгу наперегонки. Первой шла Ильза, за ней — мать, а позади всех — отец. Они

соревновались друг с другом. Иоганнес отождествлял себя с Вао и иногда спрашивал жену:

— Как там мои дела? Что я сейчас делаю?

Он гордился Иоганнесом Вао и собой. Но, дойдя до того места, где Иоганнес Вао составляет список всего, что он хочет внести в кооператив, Иоганнес Вильке отбросил книгу; ох и крепко же ругнул бы он старика Вао, если бы путь к нему не был так бесконечно далек. Но Вильке подмывало узнать, что же случилось дальше. Поэтому он спросил жену:

— Ну что я сейчас делаю?

— А почитай-ка сам. Появились еще новые люди. Шнурршванц поджигает амбар, и как раз у Вилли Тилльмана, если уж так смотреть.

— Этому я не верю, — сказал Иоганн, и они некоторое время обсуждали содержание книги, которое они теперь уже полностью относили к своей деревне.

Иоганну не оставалось ничего другого, как читать дальше, чтобы узнать, что же стало с Иоганном Вао, с ним самим. Дело дошло до того, что Иоганн Вильке сам стал называть себя Иоганном Вао. Встав из-за стола, чтобы идти в коровник, он сказал:

— Иоганнесу Вао нужно еще раз поглядеть на коров.

У него было дело в канцелярии бургомистра, и он направился туда со словами:

— Иоганн Вао идет в сельсовет, надо договориться насчет поставки яиц.

По дороге он встретил Тимма, одетого в зеленую куртку. Иоганн спросил:

— Далеко собрался?

— Хочу в город съездить за цементными трубами. Думаю проложить их перед своими воротами, чтобы отвести болотную воду.

— Так, так. А не можешь ли ты мне кое-что привезти?

— Почему бы нет, если дотащу.

— Да вот книжку одну хочу купить. Сходи-ка в «Народную книгу», может, там есть. «Свет в Коорди» называется, написал ее какой-то Ганс Леберехт. Запомнишь?

— Я же фильм смотрел, точно так же называется; правильный фильм!

— Привези мне эту книгу, все равно сколько ни стоит; я ее уже читал, в клубе брал. Прямо диву даешься,

как это человек, который живет где-то там, у белых медведей, так хорошо во всем разбирается. Будто все это у нас делается.

Подошел автобус, и Тимм сел. Вильке пошел к бургомистру договариваться насчет поставки яиц. Вернувшись домой, он снова принялся за чтение. Когда стало темнеть, жена позвала его:

— Ты что, оглох, не слышишь, что ли? Скотина орет. Читай себе потом, вечер-то велик.

Муж отложил книгу и сказал, потягиваясь:

— Ну ладно, Иоганн Вао сперва накормит свою скотину.

Через два часа он снова принялся за чтение. То, что происходило сейчас, понравилось Иоганну Вильке. Почти в самом конце книги, когда все жители волости Коорди взялись сообща осушать болото, он, Иоганнес, стал даже видной фигурой, ничуть не хуже зятя. Когда из города приехали железнодорожники, чтобы помочь крестьянам осушить болото, Иоганнес Вао сказал: «Не будем терять времени. Ведь гости всегда по хозяевам равняются».

Иоганн, довольный, улыбнулся. Он не станет говорить так, когда придется превращать «Проклятое болото» в общественный выгон. Он будет работать усердно и разумно, всегда впереди всех. «Пастбище для овец — нужная штука, — подумал он. — Все шестьдесят пять овец там прокормятся, и даже если надо будет, то и вдвое больше. И не придется им стоять из года в год в хлеву и кашлять, как столетним бабкам».

Вилли Тилльман уже попробовал на своем тракторе вспахать эту гнилую трясику, пока земля окончательно не оттаяла. По канаве воду отведут в мельничный ручей.

Иоганн Вильке теперь только и думал что о работе, он говорил про себя: «Зять еще подивится, когда его тесть предложит запрудить канаву внизу, в самом глубоком месте, чтобы у овец был водопой».

Некоторые места в книге Иоганн перечитал еще раз. Он ни на йоту не хотел отстать от Иоганнеса Вао. Люди из кооперативного хозяйства только удивляться будут, как им повезло, что они заполучили Иоганна Вильке, они увидят, как он выкорчевывает уродливые сосны и кусты акации, как выворачивает огромные камни, чтобы Вилли Тилльман мог их оттащить своим трактором.

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the President, dated 18th March 1862. It contains a report on the progress of the war and the state of the Union. The letter is signed by the Secretary and is addressed to the President.

2. The second part of the document is a report from the Secretary of the State to the President, dated 18th March 1862. It contains a report on the progress of the war and the state of the Union. The report is signed by the Secretary and is addressed to the President.

3. The third part of the document is a report from the Secretary of the State to the President, dated 18th March 1862. It contains a report on the progress of the war and the state of the Union. The report is signed by the Secretary and is addressed to the President.

4. The fourth part of the document is a report from the Secretary of the State to the President, dated 18th March 1862. It contains a report on the progress of the war and the state of the Union. The report is signed by the Secretary and is addressed to the President.

5. The fifth part of the document is a report from the Secretary of the State to the President, dated 18th March 1862. It contains a report on the progress of the war and the state of the Union. The report is signed by the Secretary and is addressed to the President.

ДО ПОСЛЕДНЕГО СОЛДАТА

Холлерер и Кольмайер хотели бежать вместе. Но Кольмайер использовал удобный случай. Он очутился вместе с разведывательным отрядом недалеко от реки Муонио, образующей шведскую границу. И тут укрепления на его лыжах ослабли. Вайс сразу обнаружил исчезновение Кольмайера — и все-таки чуть было не опоздал. Солдаты увидели Кольмайера в долине как раз в тот момент, когда туда прибежал шведский пограничный патруль. Кольмайер бросил оружие, поднял руки. Пограничники окликнули его по-шведски, он кивал в ответ, смеялся, бежал по льду реки им навстречу; тогда они выстрелили — сперва в воздух, потом в ноги беглецу, и пулями раздробили ему правое колено, а Кольмайеру даже в петле, на виселице, казалось, что произошло какое-то недоразумение. С раздробленным коленом он едва дотащился до пограничников, но на самой границе его настиг Вайс. Его автомат был поставлен на боевой взвод, но пограничники почему-то не стреляли в Вайса.

Солдаты заботливо уложили Кольмайера на его лыжи, осторожно понесли назад в роту. Вечером его повесили. Весь следующий день труп Кольмайера, почерневший и заостенелый, качался и скрипел на ветру до той минуты, пока Холлерер одним-единственным выстрелом не срезал веревки. Он похоронил тело друга в яме, которую норвежцы, согнанные с насиженных мест, выдолбили в скалах, пытаясь спрятать свои пожитки от грабителей. Холлерер переломил пополам опознавательный жетон друга, нож взял себе, а бумажник отослал его родителям. Все это Холлерер проделал открыто, вызывающе, молча, под карауливаемый Вайсом, при этом мучительно размышляя, что могло заставить Кольмайера пойти на такой шаг в оди-

ночку? Кто знает, какое опасение гнездилось в душе его друга — в таком уголке, куда ему, может быть, и самому было страшно заглянуть.

Ночь после повешения Кольмайера Вайс и Холлерер провели в низине, где стояла рота, на чердаке хижины с видом на виселицу, куда их поместил фельдфебель. Силуэт повешенного, черный на фоне светлой лунной ночи, повис в раме чердачного окошка. Вайс, одетый, лежал на нарах с наведенным автоматом под одеялом, глаза его вспыхивали в темноте. Холлерер мог бы тут же его прикончить. Он чувствовал на своей спине горящие глаза Вайса и не шевелился, он видел, как страх постепенно сводит с ума его врага; и под конец, когда уже рассвело, Вайс начал тихо и безостановочно скулить. Холлерер устоял перед соблазном навсегда прервать эти отвратительные звуки. Он говорил себе: «Я задушу его, а что дальше? Что дальше?»

Сквозь визг Вайса Холлереру слышались издевательские выкрики — отзвук воспоминаний: «Га-а-зы! Га-а-зы! Эй, вы там, прежде чем!..» Холлерер вздрогнул, его прошиб пот... «Эй, прежде чем вы... Я... Все!»

«Нет, жить на белом свете вместе с Вайсом невозможно», — беззвучно прошептал Холлерер, глядя на виселицу. Повешенный не отвечал, не шевелился. «Натянуть противогаз на морду!..» Холлерер распахнул окно, судорожно вцепился пальцами в деревянную раму, глубоко вобрал в легкие морозный воздух. Нет, не теперь, не здесь, не охота ему погибать из-за Вайса, в другой раз, когда-нибудь в другой раз... Но разве этим будет разрешен вопрос о всех Вайсах в мире? Хныканье за спиной Холлерера становилось все тише и тише и вдруг прорвалось резкими сиплыми лающими звуками. Подстегиваемый ветром труп повешенного с треском повернулся, обратился на Холлерера свое серое опавшее лицо. «Га-зы! Га-зы! Эй, вы там, прежде чем натянуть противогаз на морду... поправьте каску! Что у вас в рюкзаке — гелий, что ли? Вы летите, а не маршируете! Назад, на пятках, прошу покорно! Вытянуть, как полагается, винтовку, считать громче, я ничего не слышу! Устали, не устали — веселей! Сто сорок один раз в честь полка, встать-лечь, встать-лечь!..»

Дз-зинь! Финка упала на пол. Блеснуло лезвие ножа. Холлерер смертельно побледнел, его рука со скрюченными пальцами потянулась вперед, хныканье становилось громче,

отвратительнее, перешло в бредовый шепот, кровь глухо стучала в висках, выбивала: «...и тридцать ...и сорок...» В памяти мелькало: противогаз, рюкзак, каска, огненная завеса, горячие потрескавшиеся губы, лоб в песке. Пухлое, сладострастное, циничное лицо Вайса. «На локти, на колени!» Затуманенными, налитыми кровью глазами, стоя на коленях, смотрел Холлерер вверх на это пухлое, циничное лицо. Молчаливая трепетная минута между боями, палящее солнце между боями, худосочная, серая качающаяся тень, он, Холлерер... «Га-а-зы!.. Га-а-азы!.. Считать громче.. Встать-лечь... Честь полка!..»

Хныканье стихло. Холлерер наступил ногой на поблескивающий клинок. Медленно повернулся. Вайс отполз к самой стенке, глядя в пространство остановившимися глазами. Холлерер сказал ему все; он сказал, что никогда еще не встречал существа более грязного, липкого, насквозь коварного, он назвал его жалкой кучкой дерьма, в которой живо одно — ненависть. «Мы с Кольмайером хотели тебя убить там, на сторожевой заставе, мы хотели бежать вместе». И он рассказал, как солдаты при первом же легком намеке на это замолчали и оглянулись, нет ли поблизости крадущихся шагов, подслушивающего уха. Каким простым все казалось, ведь каждый солдат про себя проклинал нацистов и их войну! Но еще проще было повиноваться и умирать.

Утром, когда взошло солнце и тень повешенного преграда ему доступ в мансарду, Холлерер очень тихо, с отвращением заговорил о том, как невыносимо жить в одном мире с Вайсом.

Лицо Вайса снова приняло циничное выражение, ни один мускул не дрогнул на нем. Он понял, что ему ничто не угрожает. Он запомнил каждое слово, ни одного не упустил.

В свое время он заставил Холлерера «встать-лечь» сто сорок один раз в полной военной выкладке — в противогазе и каске. Но вблизи линии фронта Вайс был приветливым, заискивающим камерадом обер-егерем. Он помнил каждое слово, сказанное по его адресу, ни одного не забывал, но делал вид, будто все это от него отскакивает. Он стал еще предупредительнее на краю Хальденфельда, на сторожевой заставе, куда оба вернулись на другой день. Обер-егерь Вайс обращался к каждому на «ты», по-отечески обо всех пекся, облегчал службу, всем поддакивал.

Нельзя было откровенно думать, приходилось быть насто-роже даже с самим собой; если кто-нибудь шептался с то-варищем, неожиданно вырастал Вайс, благожелательный, с коварным блеском в невинных глазах. Он и советы давал в своей вежливо-подлой манере. Холлерер чувствовал, что Вайс постоянно провоцирует его и даже унижается, стре-мясь хитростью вырвать у Холлерера такие слова, за ко-торые расплачиваются жизнью.

Все это Вайс проделывал с дружеской миной в подку-пающе ласковой манере, против которой было трудно устоять. Товарищи украдкой заклинали Холлерера ради всего святого молчать, проявить выдержку. Ведь война вот-вот кончится. В Киркенесе Красная Армия вернула трон норвежскому королю и больше ни во что не вмеша-вается. На немецкие патрули в гранитной пустыне среди гор она не желала больше тратить ни горсти пороха, ни капли крови своих сыновей. На Крайнем Севере война ве-лась уже только на бумаге, солдаты это знали и в то же время видели, что приближается день, когда они поведут Холлерера в штаб роты без оружия, без погон, без орде-нов, приставив к спине дула винтовок, а за ним следом с циничной ухмылкой будет шагать Вайс. Но Холлерер был начеку, затаившийся, молчаливый, бдительный даже во сне. Вайс все хитрее расставлял силки. Можно было почти с точностью высчитать, когда в них попадетс Хол-лерер; Вайс стал таким безобидным, таким сердечным, что каждый, с кем он заговаривал, с трудом преодолевал чувство холодного ужаса, прежде чем дрожащими губами мог ответить на простой вопрос. Солдаты не забыли Коль-майера. Холлерер был не в силах дольше скрывать свое отвращение. Так лежали они рядом на нарах, Вайс — на-чальник караула и Холлерер — его заместитель.

Караульное помещение солдаты построили из бревен на площадке чуть повыше родника. Летом вокруг зеленело огромное пастбище, окаймленное естественной оградой гор-ных отрогов. Вода родника проточила ущелье, и дикий горный ручеек пенился и шумел, стремительно падая и превращаясь в своенравную речушку, которая бороздила плодородную долину между двух горных хребтов и в Лин-генфьорде впадала в море. Туда в мирное время приходили туристские пароходы и роскошные яхты; их избалованные пассажиры и представления не имели о том, как скудно живут горные пастухи в круглых землянках, среди пасу-

щихся стадами оленей, которые обеспечивали им пищу и одежду. Теперь горные стрелки шестой дивизии оцепили крутой угол между фьордом, городком Альтенгорд, рекой Муонио и финско-норвежской границей, что тянулась параллельно шведской на расстоянии двухдневного марша, а затем сворачивала на восток. До сражения, что было осенью 1944 года, Холлерер и Вайс входили в 141-й горнострелковый полк, теперь они служили в 218-м разведывательном отряде, занявшем северную конечность Хальденфельда. Фьельд замыкался цепью скал, перед которой простиралась сверкающая волнообразная снежная пустыня; в ее котловинах и оврагах можно было неприметно скрываться. За скалистым хребтом тянулся высокогорный перевал, вход в него Холлерер рассмотрел в полевой бинокль, а дальше начиналась неизвестная земля. Холлерер знал понаслышке, что горный массив спускается террасами к югу, а тундра поднимается до гранитных гор; дальше ущелья переходят в долины, а крутые склоны — в холмы. Так далеко не проникал еще ни один немецкий разведывательный отряд, ведь городок Эннонтекис был уже в руках Красной Армии.

В одной из землянок, покинутых на зиму ее обитателями, Холлерер устроил тайничок. Он зарыл в золу, на месте очага, свой провиант: несколько пачек галет, картонные коробки с шоколадом для летчиков, консервные банки из неприкосновенного запаса. Холлерер делал все основательно. Он был рабочий-металлист, пруссак; на Бранденбургских лыжных соревнованиях он занял почетное место по слалому; благодаря этим успехам он и попал в отряд горных стрелков. Холлерер все заранее обдумывал, но любое решение неизменно принимал с запозданием. Путь своего бегства он сотни раз повторил в воображении, исследовал его, когда ходил в разведку или на охоту за белыми куропатками. И все же мог кончить виселицей. Он никогда не хотел перейти на другую сторону, он этого не хотел до последней секунды. Ему казалось трусостью спасти самого себя, а остальных предоставить своей судьбе.

Однажды вечером, в призрачном отблеске полярного сияния, Вайс с глазу на глаз сказал ему: «Послушай, Холлерер, я справлялся и не с такими, как ты. Не сегодня-завтра ты схватишь меня за глотку... Вот тогда тебе крышка. Один раз ты спас меня от гнева генерала,

помнишь? Ты выручил меня из беды на Тана-йоки, ты благодарничал и не стукнул меня по башке при Паркано, ты, вероятно, ужас как гордишься своим великодушием. Говорю тебе, именно поэтому тебя надо прикончить. Ты красный или святой, из того опасного сорта людей, тебе давно пора бы гнить возле твоего Кольмайера. Я тебя уже скрутил и обломаю до конца; помнишь, как ты лежал, уткнувшись мордой в землю, помнишь, как хрипел, глядя на меня снизу?» И, обдав Холлерера своим испорченным от непрерывного курения и пьянства дыханием, Вайс прошипел ему в ухо: «Вспоминаешь? Га-а-зы? Га-а-зы! Эй — ты...»

На другое утро Холлерер сказал Вайсу: «Пойду поохотиться на белых куропаток». Обер-егерь смерил его испытующим взглядом своих водянистых глаз, кивнул. Холлереру показалось, что в глубине этих глаз на какую-то долю секунды мелькнуло удовлетворение. Он не стал над этим раздумывать. Несколько раз он показался на холмах, достал припрятанное в тайнике продовольствие, ушел на лыжах по направлению к цепи скал и пропал из виду.

Начинался мягкий пасмурный день. В воздухе было тихо, стоял легкий морозец. Небо сливалось с землей, а из красноватого тумана, в котором блуждало солнце, медленно, едва заметно проступали очертания гор. Хотя снег выглядел сереньким, словно падал подтаявшим с серенького неба, глазам было больно. Все вокруг предвещало бурю. Холлерер рассчитывал добраться до перевала, прежде чем разыграется непогода. Он ждал погони лишь к вечеру и надеялся на ночь. К полудню он выбрался на скалистый хребет, тянувшийся по краю Хальденфельда, и оттуда увидел отряд солдат, который шел с востока и преграждал ему путь. Холлерер остановился в полном оцепенении, словно превратившись в зубец скалы, лицо его стало серым под цвет камню. В тусклом свете подернутого тучами солнца, по ту сторону ущелья, которое Холлерер собирался пересечь, показалась одна, потом вторая, третья фигура горных стрелков. Целый отряд гуськом подымался за каменной грядой, над которой курился туман, то появляясь, то снова пропадая, бесшумный, как привидение. Один за другим люди выскочили из полосы тумана, построились на дне ущелья в шеренгу и быстрым темпом целеустремленно двинулись дальше. Не слышно было ни звука. Появление солдат не было случайностью:

у Вайса возникло подозрение, и он поднял тревогу. Вайс был трус, он наверняка не пошел бы один по пятам Холлерера. Но как сумел Вайс распознать его намерение? Вдруг Холлерера осенило: он отправился на охоту за белыми куропатками и ни разу не выстрелил! Беглец вгрызся в обледенелую корку снега, чтобы не закричать. Он поднял голову, его окровавленные губы походили на зияющую рану. Охота без выстрела! В Хальденфельде эхо выстрелов перекатывалось вдоль всей горной гряды. Холлерера выдала тишина. Молчание было предательством, он всегда молчал, теперь молчание выдало его. Он представлял себе, как Вайс минута за минутой прислушивался и, вероятно, часа через полтора, когда все еще не грянуло ни одного выстрела, торжествующе позвонил по полевому телефону в роту: «Старший ефрейтор Холлерер дезертировал!»

Как охотничья собака, шел Вайс по его пятам, но он Холлерер, обманет Вайса. Холлерер проложил лыжню к реке Муонио. Река обрывалась у скалистого, оголенного ветрами края. На снегу не оставалось отпечатков. Холлерер видел изогнутое, как белая лента, русло реки между гранитными скалами, отсвечивавшими синевой; река застыла в тишине и просторах ландшафта, уходившего вдаль за льды и вершины гранитных скал. Здесь где-то пытался Кольмайер скрыться от войны.

Покой, исходивший от природы, покорила Холлерера. Он вышел из-за скалы и повернул лыжи по направлению к долине. Секунду он помедлил, как вдруг внизу вынырнул пограничный патруль. Холлерер невольно вспомнил о своем друге Кольмайере.

По собственному следу Холлерер вернулся назад. Создавалось впечатление, будто он бежал в Швецию. Приходилось двигаться медленно, внимательно следя за тем, чтобы не выйти из проложенной им ранее лыжни. Достигнув твердой почвы, на которой следы не отпечатывались, он свернул в сторону и попал на горную тропу. Часть пути он нес лыжи в одной руке, а другой держался за выступ скалы. Иногда ему приходилось ползти, а то и продвигаться вперед на четвереньках. Чтобы обойти преследовавшую его команду солдат и заставить Вайса поверить, что он бежал в Швецию, Холлерер потерял драгоценные часы. Он устал до изнеможения. Тропа вывела его в тыл отряда, загородившего ему дорогу. Холлерер видел сол-

дат с ружьями наготове, они заняли позицию внизу. Очевидно, вся местность от реки Муонио и вплоть до норвежско-финской границы была оцеплена. В штабе роты они своими костистыми пальцами умно отметили по карте, где его удастся накрыть. Но он все же перехитрит их! Холлерер представил себе, как Вайс, изрыгая проклятия, рыщет по его следам, и не сомневался в том, что его хитрость удастся. Все же Холлерер был осторожен. Он держался края скалы, откуда можно было хорошо наблюдать, самому оставаясь незамеченным. Он уже терял силы, а быстрый ход по кособору утомлял его еще больше. Ему приходилось все время ставить лыжи ребром. Болели лодыжки, начали ослабевать мускулы. Поднялся сырой холодный ветер, гнавший вперед тонкую снежную пыль. Туман сгустился в свинцово-серые низко нависшие облака. Перебираясь через скалистый гребень, Холлерер позволил себе отдохнуть на хребте последней вершины. Снежная пыль, гонимая ветром, неслась через горы. Да, еще до наступления темноты Холлерер достиг перевала, но какую ценой! Перевал находился у самых его ног, а он не решался пройти этот короткий спуск, так дрожали у него колени. Он снял винтовку с плеча и оперся на нее. Он не присел на землю, боялся, что не сможет подняться. Необходимо выбраться из скал прежде, чем разыграется вьюга, необходимо до наступления ночи дойти до того места, где горный перевал переходит в плоскогорье. Тогда пусть сам дьявол ищет его в этом мраке, в бурю! Холлерер внимательно окинул взглядом скалы, которые опоясывали перевал, придавая ему форму ванны. Видимость была еще достаточной, но ветер усиливался и, становясь все более резким, прижимал облака к горам. Ничто не шевелилось, вокруг стояла тишина, и только поземка неслась, как развеваяющаяся вуаль. На несколько минут Холлерер забыл, зачем он здесь. Он погрузился в созерцание мирной природы, нагромождения облаков, пронизанных лучами заходящего солнца, как бы окаймленных расплавленным золотом, залюбовался видом могучих сумрачных гор, грозивших, казалось, облакам смять их своим натиском, он провожал взглядом белую вуаль снежинок, которая неслась вперед, заполняя собой все пространство и постепенно стирая великолепное и подавляющее зрелище. Холлерер отдохнул, пришел в себя, оторвался от обманчиво мирной картины; таившей в себе бурю. Он посмотрел назад, повернулся, про-

ковылял два-три шага вперед, чтобы лучше видеть, и затрепетал, как дерево, до самых корней потрясенное ураганом. Губы его задрожали, шепча бессмысленные слова. Он судорожно зажал в руке ремень винтовки.

В волнах снежной кисеи, на фоне мрачных, расплывающихся, затканых золотом туч, среди этого обманчиво мирного, девственного ландшафта стоял Вайс со своими людьми; они сбились в кучку и лыжными палками указывали на него. Их разделял хаос ущелий. Для выстрела из винтовки расстояние было слишком велико. Холлерер не различал лиц, но ему было ясно: Вайс здесь. Вайсу известно, что на границе играют в нейтралитет — но краплеными картами. Вайса трудно провести, отвлечь от намеренного им плана. Давнишний позор гнал Вайса напрямик, к перевалу. Вот что значат слова, сказанные вчера вечером! Они не были взрывом ненависти. Вайс хорошо понимал, что он говорит! Он рассчитал все заранее, он загнал Холлерера именно туда, куда хотел. Но он еще не выиграл. Последний неожиданный смертоносный козырь у него, у Холлерера. Вайс или он, один из них — лишний. Ты или я? Здесь тундра, здесь действует волчий закон.

Холлерер уже побывал в переделках; этот штатский обер-ефрейтор, не имевший никаких видов на унтер-офицерские нашивки, в свое время был командиром штурмовой группы своей роты в 141-м полку. Он ходил в разведку по ничейной земле тундры, далеко на юг, туда, в низину, где начинались могучие непроходимые леса Карелии и где между фронтами, в районе болотистой Кандалакши и каменной Лицы, скрывались сторожевые посты финских охотников за человеческими гортанями. Охотники за гортанями! Они прокрадывались к русским позициям и приносили оттуда гортань человека, как трофеи, за которые им давали отпуск. Из декабрьских боев 1941 года, в суровые леденящие морозы, Холлерер вынес Железный крест второй степени и серебряный значок за ранение. Он лежал в окопах напротив врага, который не был его врагом. В оборонительном бою у Лицы Холлерер заработал, уже будучи ефрейтором, отмороженные ноги и медаль за участие в рукопашном бою. Этой осенью генерал, что так одиноко и печально брел под дождем по дороге в Нарвик, этот потрясающе одинокий и печальный генерал украсил его грудь Железным крестом первой степени за то, что Холлерер, один из немногих, обманул смерть, вырвался

из ее лап. А Вайса генерал спросил: «Где ваше оружие?» Стоило Холлереру только доложить: «Он его бросил, господин генерал, он хотел сдаться в плен!» — и не пришлось бы ему теперь быть беглецом. Но он не имел ничего общего с генералами. Со всей этой ненавистной системой он был связан только тем, что шел за нее на смерть. С Вайсом он должен сам рассчитаться, это его дело.

Вайс был сельским учителем в Форарльбергском округе Австрии. После «аншлюса» Австрии он обнаружил, что в груди у него бьется великогерманское сердце. До января 1944 года он служил инструктором в Инсбрукской казарме. Специальностью Вайса была «игра» в ваньку-встаньку. Все рекруты, которых он обучал, подвергались этому наказанию даже за незначительный проступок или ошибку. Его любимцы отделялись более легким вариантом: без ранца, без противогаза, без каски, всего лишь сорок приседаний и выпадов с винтовкой. Обер-егерь Вайс любил четные числа. Тем, к кому он был равнодушен, приходилось с полным ранцем на спине «встать-лечь» до шестидесяти раз. Но были еще и такие новобранцы, которых он из-за какой-нибудь табачной крошки в кармане или потому, что его злили мысли, прочитанные в их глазах, заставлял проделывать те же движения до восьмидесяти раз, да еще с полной выкладкой. Однако в мозгу обер-егеря существовала еще четвертая категория: те легендарные опаснейшие парни, о кознях которых против рейха постоянно говорилось втихомолку. Доканать вот такого — об этом давно мечтал Вайс.

Во время поездки на Крайний Север ему удалось стать незаменимым человеком у одной финской вдовы и ее лысого полковника, прикомандированного к штабу армии. Уже в Рованиеми Вайс, будучи кадровым нацистским унтер-офицером, инструктором, расхвастался как-то в пьяном виде перед собутыльниками, что лысый чижик давно уже не в состоянии усладить вдову и что он только разжигает ее для него, Альвина Вайса, сам же довольствуется славой бабника. На другой день нацистский инструктор унтер-офицер Вайс получил приказ отправиться на южный участок фронта в район Лицы. Теперь его обязанность у вдовы выполнял денщик полковника: он тоже получил награду — Военный крест второй степени. Обер-егерь Вайс нашел свою новую роту, снятую с переднего края, на отдыхе у тихого темного озера. Лагерь — шведские палатки,

расположившиеся у подножия серо-зеленых холмов, — казался зачарованным. Только русские снаряды и немецкая команда время от времени нарушали тишину. Все к этому привыкли и мало беспокоились. Холлерер сказал Вайсу, что тот спятил, когда Вайс из-за пустяка окрысился на него: «Эй, вы — не умеете отдавать честь по форме? Не знаете, что ли, кто перед вами?» — и хотел заставить Холлерера изобразить ваньку-встаньку на расстоянии километра от русских позиций. Между тем Вайс не спятил, и все это вовсе не было шуткой, Холлерер это почувствовал, когда под палящим полуденным солнцем, в каске и противогазе проделал «встать-лечь» сто сорок один раз по вайсовской четвертой категории; командир роты незаметно остановил Вайса, но каждый солдат знал об этом от денщика командира. С тех пор Холлерера оставили в покое, и некоторое время он обольщался надеждой, что этим дело кончится. Во время осенних боев в 1944 году Вайс занимался организацией снабжения для роты, погибавшей в наспех вырытых стрелковых окопах. Он ссорился с каптенармусами, которые постоянно стремились передать кому-нибудь свои битком набитые склады, прежде чем они сгорят. Вот как «воевал» Вайс. Но несколько раз и он чуть было не попался. В ту ночь, когда остатки немецкого разведывательного отряда были окружены по дороге в Киркенес и машины запылали под огнем русских танков, Вайс как полоумный метался по дороге, ярко освещенной горящими машинами, и кричал: «Не стрелять, я сдаюсь, не стрелять!» Снаряды били по мотоколонне, трассирующие пули из танковых пулеметов вспыхивали со всех сторон, но этот герой, у которого было мокро в штанах, остался целехонек. Холлерер лежал за кучей торфа. Он мог незаметно прикончить Вайса. Кольмайер, лежавший рядом, навел на Вайса винтовку. Холлерер отвел дуло винтовки в сторону. Они спаслись через единственную брешь, которую при вспышке пулемета заметили на линиях противника. Вайс, руководимый инстинктом трусости, очевидно, пробрался через эту брешь позже. Они столкнулись с ним в лесных дебрях. Вайс был без оружия и все еще хныкал: «Не стрелять, я сдаюсь, не стрелять!» Он принял их за русских. Когда они подошли к нему, он уже не мог держаться на ногах. Бухнулся на колени и с мольбой поднял на них глаза. Кольмайер занес было над ним лопату, но не нашел в себе сил убить его. А затем,

по размокшей от дождя дороге в Нарвик, заминированной саперами... «Да, господин генерал, оружие обер-егеря Вайса осколком снаряда было...» Нет, он, Холлерер, не доносчик. Будь что будет, но доносчиком он никогда не станет. Может быть, этот Вайс не такой уж негодяй, может быть, в его груди тлеет еще искорка порядочности, может быть, после пережитого смертельного ужаса в этом жестоком, угодливом, алчном человеке произошла перемена.

Это было в последнем сражении на самом северном конце Финляндии, между озером Инари и Тана-йоки. Они благополучно выбрались из своих окопов, из болот этих северных джунглей. Холлерер пытался с помощью гвоздя пустить в ход опрокинутый мотоцикл какого-то финна. Кольмайер, тирольский батрак, заколол финским ножом корову, она была недоена и бешено редела. Тяжелые снаряды проносились над их головами, падая с глухим ревом далеко позади, на дорогу и склоны гор. «Катюши» высвистывали свою ужасную мелодию, и там, куда проникал их огонь, земля визжала и стонала, и солдаты, захлебываясь кровью, взывали к своим матерям, Христу и пресвятой деве Марии. Холлерер и Кольмайер — и те не отваживались пройти через лес, где бушевала смерть. Избавленная от мук корова упала на землю, она вытянула ноги и, подыхая, таращила глаза на своего убийцу и избавителя. Холлерер с проклятием отошел от мотоцикла. Он поспешил вслед за Кольмайером, который сообразил, в чем последняя для них возможность бегства. Они держались почти вплотную к русским частям, отделенные от них лишь небольшой речушкой и скрытые только полосой густого кустарника. Они слышали грохот танков и орудий, которые непрерывным потоком устремились к переправе через реку. Кольмайер свернул на тропинку, проходившую по краю болота. Он кинулся бежать изо всех сил, каждую минуту части Красной Армии могли прорваться к краю болота. Холлереру пришлось сделать передышку. Он слышал, как хрустят и ломаются ветки, слышал, как кто-то задыхается; прежде чем он успел спрятаться, рядом проковылял Вайс, пробираясь сквозь кустарник. Вайс хотел пересечь обширное оголенное болото, куда его неудержимо гнал смертельный страх. Тогда Холлерер автоматом погнал Вайса впереди себя по тропинке, окаймлявшей болото. При каждом звуке, который издавал Вайс, Холлерер упирал холодное дуло автомата ему в спину. На другой

стороне болота был слышен рев; в ушах раздавалось грозное: «Стой, немец, урал!» Там пролегла дорога, отделенная от болота непроходимым кустарником. Вайс обмяк, как мешок, он лежал на земле и, выпучив глаза, тупо смотрел на Холлерера. Над их головами в осенней листве щелкали выстрелы. С треском падали ветки деревьев. Один осколок ударил в каску Холлерера. В пяти метрах от себя они слышали дыхание русских стрелков, залегших на обрывистом крутом склоне. Русские видели, как немецкие солдаты, эти живые мишени, переходят вброд болото и один за другим падают под пулями; некоторые из них еще тащились несколько шагов, а затем, настигнутые новой пулей, валялись на землю и, вздрогнув, затихали. Вайс повернул перекошенное от смертельного ужаса лицо к Холлереру. Он снова готов был заладить: «Не стрелять, я сдаюсь, не стрелять!» Холлерер приставил автомат ко лбу Вайса, держа руку на курке. Почти рядом с красной пехотой, под аккомпанемент боевого клича русских «Стой, немец, урал!» старший ефрейтор погнал унтер-офицера под защиту лесной чащи, прочь от русских стрелков. Зачем? Зачем?

Холлерер не питал ненависти к русским. Он ненавидел своего подлинного врага в собственной стране. Этот подлинный враг в его роте звался Вайсом. Но в то время Холлерер еще не осознал этого; уже на южном участке фронта у Лицы, в бою при Минахамари, на предмостном укреплении у Паркано Холлерер хотел покончить с войной. Но как покинуть товарищей и спасти лишь собственную шкуру?

В промежутках между боями Холлерер вел суровую, но сносную жизнь на ничейной земле в тундре. Он был искусный стрелок, и это облегчало ему жизнь. Он охотился за серебристой лисой, за лосем и оленем. Белые куропатки и зайцы шипели в котлах его роты. Он почти примирился с солдатчиной, до той поры, пока и в тундре положение не стало серьезным...

Холлерер проложил прямую, как нитка, лыжню в горном перевале. Солдаты не могут не заметить этот след. Раньше или позже они доберутся до него. Что ж, пусть так, но тогда уж он определит, где и когда один убьет другого. Он отстегнул лыжи, взобрался на горку щебня. Потом спрятался среди мощных обвалов породы, вросших в землю у подножия горного хребта. Из своего каменного

гнезда Холлерер наблюдал, как солдаты друг за дружкой входят в выемку перевала, имевшую форму римской пятерки. Они держались плотной кучкой и осторожно двигались в проложенной беглецом колее, озираясь во все стороны. Увидев лыжи, они в удивлении остановились, а затем бросились врассыпную, образовав стрелковую цепь; потом не спеша, с винтовкой в руках взобрались на каменистый холм, снова сошлись у лыж, тихонько поговорили между собой, непрерывно поглядывая вверх на скалы, и внезапно устали в одно и то же пятно. Один из солдат прыгнул вперед и торжествуя поднял какой-то предмет. Холлерер не мог разглядеть, что это было. Он осмотрел свою винтовку, она была заряжена, курок стоял на боевом взводе; потянулся за хлебным мешком, висевшим у него сзади на поясе; лежа ощупал свою солдатскую куртку, и вдруг ствол его винтовки закачался, темное лицо беглеца исчезло из амбразуры.

Через несколько секунд Холлерер поднял голову, спокойный и торжественный. Он потерял патронную сумку. Кожа, истертая на швах, прорвалась. Ему давно пора было сменить сумку, но он говорил себе, что воевать осталось недолго, что война идет к концу. В винтовке у него было шесть пуль, а солдат — семеро. Включая Вайса, который наблюдал за происходящим у входа в перевал, затаившись в защищенной от ветра ложбине.

Холлерер нацелился на ближайшего солдата. Но пока не стрелял. Он хотел бить без промаха. Никто не уйдет отсюда живым. Глаз, прицел, мушка, прямая линия на Зеппеля Веглейтнера. Холлерер видел, что солдаты набрались смелости, поднялись на несколько шагов выше и робко потоптались на месте. Они хотели было отступить назад, но, услышав хнычущий голос Вайса, который, не показываясь, командовал ими из своего снежного логова, осторожно двинулись вперед. Вскоре они снова остановились, и снова послышался плаксивый голос Вайса. Надвигалась буря. День медленно угасал. В эти минуты Холлерер горячо надеялся, что солдаты заткнут глотку Вайсу, что они повернут свои винтовки и примкнут к нему. Это был его последний горький самообман.

Солдаты знали, что Холлерер всегда получал призывы для роты на батальонных соревнованиях по стрельбе, и они стали его уговаривать — ведь позади в снежной яме сидел и командовал ими Вайс, а они были товарищами

Холлерера, они любили его, Вайса же ненавидели. Солдаты говорили: «Мы не виноваты, Франц, нам самим тяжело, не делай глупости, выходи!» Сумерки и буря. Ветер рвал тяжелые тучи, которые давили на горы, и, казалось, грозил задушить все живое на земле; наконец ветер разорвал тучи и вытряхнул их содержимое. Густой снег повалил Холлереру в спину, а солдатам — в лицо. Холлерер лежал скрытый и защищенный, солдаты же взбирались по каменистому склону, едва различимому в снегопаде. Холлерер видел очертания их фигур, а они ничего не видели. У Холлерера было преимущество неожиданности, солдаты верили в глупость человека. Холлерер выстрелил первый. Он хотел разить насмерть. Это была тундра. Волчий закон. Ты меня — я тебя.

Оставшиеся в живых искали укрытия, только один хотел бежать. Прыгая с высоты, он потерял равновесие, перевернулся и затих навсегда. Холлерер подумал: «Майргофер Мартин, жаль, он бы лучший среди них, поступал всегда честно, может быть, он не хотел стрелять, может быть...» Пули жужжали, как разъяренные шмели, шипели в снегу, сплющивались о камни. Они задевали Холлерера, обжигая его, и только один раз, когда он неосторожно повернулся, его больно ранило в мякоть. Он заметил ползущую фигуру и выстрелил. Человек рухнул на колени, он долго боролся с неведомой, но страшной силой, которая прижала его к мерзлой земле, тяжелого, одеревенелого. Последние двое не осмеливались двинуться ни вперед, ни назад: впереди был Холлерер, позади — Вайс, угрожавший им автоматом. Холлерер переменял место, выстрелил, прыгнул вперед и снова выстрелил, истратив последний заряд. Опять в него попала пуля. Он вздрогнул. «Цельтесь лучше!» — с издевкой крикнул он, обращаясь к мертвым.

Они считали, что Холлерер, как баран, позволит повести себя на убой, все лишь во имя одного слова «камерада», что за это слово «камерада» он даст себя повесить. Они сами были виноваты в своей смерти — слишком верили в глупость и трусость. Горше всего — быть виновным в собственной смерти.

Он уничтожил их, но у него не было больше патронов, а Вайс подкарауливал его.

Ветер сбивал снег с высот, и снег этот, как прилив необъятного моря, вздыбил, казалось, всю вселенную. При

такой погоде Холлерера было не сыскать. Но в то же время эта погода лишала беглеца надежды забрать боеприпасы убитых. Когда достаточно стемнело и он осмелился поползти вниз, снег уже похоронил под собою все.

Волны снега накатывались на беглеца, но он этого не чувствовал. Его куртка заостенела от мороза, на бровях повисли сосульки, подбородок от дыхания покрылся ледяной коркой, но всего этого Холлерер не чувствовал. Он шел, оставляя позади себя узкую полоску крови, которую снег тут же заметал. Ему надо было во что бы то ни стало отыскать Вайса. Обер-егерь прятался под скалой у перевала. И в этот раз, как всегда, он держался на заднем плане. Посылал на смерть других, не рискуя даже клочком собственной драгоценной шкуры. Можно было не сомневаться, что он соорудил стену из снега для защиты от пурги и, жуя паек, притаился в безопасности. Этот образ спокойного, притаившегося и после всех кровавых событий жующего свой паек Вайса подстегнул Холлерера. Заткнуть глотку Вайсу, заткнуть навсегда, навеки, аминь! Холлерер кощунствовал, но не сознавал этого. Он был христианин, полный незыблемой, слепой пуританской веры в справедливость на земле, в возмездие за грехи: око за око, зуб за зуб, кто поднимет меч...

Вьюга все еще не достигла апогея. Бесшумный танец белых дьяволов с минуты на минуту становился все более буйным. Холлерер пробирался вперед очень медленно. Мороз вонзался ему в лицо, мороз парализовал его члены, мороз пылал в его легких, горел в жилах. Свежевыпавший снег был вязким, как ил, всасывал его ноги. Временами Холлерер проваливался в него по пояс. Его раны не были смертельны, но они все время открывались, ослабляя его, хотя кровь запекалась под твердой, как дерево, курткой, образовала корку и уже не оставляла следов. Порывы вьюги усиливались. Холлерер остановился, чтобы перевести дыхание. Кругом не видно было ни зги, ничего, кроме беззвучного танца белых дьяволов. Где-то у подножия скалы притаился Вайс и, вероятно, представлял себе, как он после вьюги вернется в роту: «Я уничтожил Холлерера!» — скажет он. «Он уничтожил меня без единого выстрела», — подумал беглец. Холлерер повернулся, поставил вьюге спину. Посмотрел на запад; там, в темноте, за двумя-тремя холмами, проходила шведская граница. Надо только позволить вьюге гнать себя вперед, и он

будет спасен. Надо только следить за тем, чтобы вьюга не сбросила его со скал. Хотел бы он видеть тел патреля, который поймает его в такую непогоду, даже если окажется за ним в погону. А когда он окажется в шведской деревушке, у людей, таких, как он сам, плевать ему тогда на всех пограничников и палачей на свете.

Лицо Холлерера, обожженное морозом, казалось черным среди белой тьмы. Беглец растер лицо снегом. Он снял лед с бровей, оттаял его с подбородка теплом ладони. Он повернулся спиной к границе и снова подставил лицо вьюге. Он карабкался вверх по ускользавшей под ногами бесконечной плоскости. Перед ним плыли очертания скалы, словно нырявшей в хороводе плшущих белых дьяволов, словно тонувшей в этом ледяном беззвучном прибое. Снег под ногами беглеца становился тверже. Холлерер взобрался на массив. Теперь он больше не проваливался, но двигался вперед шаг за шагом. Верхняя часть его тела изогнулась почти под прямым углом. Если он пытался выпрямиться, белые дьяволы безмолвно толкали его в то же положение.

Он снял со спины пустую, ненужную больше винтовку, оперся на нее и все же не мог больше сделать ни шага. Но где-то под ним находился Вайс. Холлерер повесил винтовку себе на грудь и пополз на животе по земле; ее ледяная кора пронизывала его все сильнее. Руки сквозь толстые рукавицы ошупывали скалу. Не распрямляясь, он сделал поворот. Теперь вьюга хлестала его сбоку. Холлерер спрятал лицо от ветра. Двигаясь по обледенелой скале, он походил на огромного беспомощного червя. Его поле зрения было ограничено, он мог смотреть лишь вперед. Он скорее чувствовал, чем видел, где спуск. В одной из ложбинок он растянулся, позволил ветру хлестать себя и заочневшими пальцами наскреб под снегом несколько кустиков брусники. Он утолил жажду красными мерзлыми ягодами. Теперь, впервые отдыхая после дикой травли, Холлерер почувствовал голод. Он вынул из мешка сухари, шоколад и жадно съел их. Нет, Вайс не уйдет от меня. Черт возьми, если ему, Холлереру, суждено подохнуть, а в том, что он подохнет, у него не было сомнения, то и Вайс получит свое. Вайс — конченный человек, его песенка спета. И под этой главой наконец будет подведена черта. Но какова будет новая глава? Кто начнет ее, и почему товарищи должны были погибнуть?

Господи! Ведь они одним выстрелом могли уничтожить Вайса, ведь Вайс был один против шести. И эти шестеро боялись его хнычущего голоса больше, чем смерти, которая их постигла. А он, Холлерер, разве он сам до этого часа не боялся Вайса больше смерти?

Холлерер сощурил глаза. Он вслушивался и всматривался в белую беззвучную беснующуюся тьму. Винтовка ерзала на его груди, он таскал ее с собой, пустую и ненужную. Шатаясь, Холлерер ковылял по краю скалы. Несколько раз он споткнулся и чуть не сорвался в пропасть. Он мог продвигаться лишь очень медленно. Вынужден был часто останавливаться, чтобы перевести дух и собраться с силами. Вместе с бурей беззвучно летели один за другим часы; когда белые дьяволы наконец утомились, может быть, уже наступила полночь, а может быть, было еще позднее. Холлерер выпрямился во весь рост. Стоять прямо было наслаждением, отдыхом. Он приложил ладонь ко лбу, обозревая даль, он мог видеть, как ласково прижимается тундра к пограничным горам, обнимает их, вбирает в себя, тянет вниз, держа в нежных и опасных объятиях, как бы стремясь развеять их в беспредельных болотах и пустынях. Там теперь спасение, будущее, новая глава. Последний отрезок пути Холлерер преодолеет, если уж он справился с самой смертью. В эту ночь, в эту пургу никто больше не станет его искать. Надо только идти все на юг. Да он и не может ошибиться, перевал широк, удобен, скоро начнется отлогий спуск. Все время вниз и вниз, не карабкаться, не преодолевать препятствий, продовольствия хватит, пока он доберется до места, где будет в полной безопасности. Главное — продержаться. Теперь все становится просто и безопасно. Короткий отдых, и он поборет свою слабость. Необходимо как можно скорее вернуться к перевалу, к перевалу, где лежат мертвецы. Где мертвецы...

Глаза Холлерера, уже не скованные обледенелыми бровями, неподвижно смотрели в белую тьму. Почерневшее лицо было защищено и спрятано под капюшоном куртки и только глаза с остановившимся взглядом, эти холодные, замерзшие, сожженные морозом глаза, то вспыхивали, то вновь потухали. Снежная выюга ослепила их. Или это что-то другое? Холлерер, мигая, смотрел в глубину пустыни, поверх расплывающихся скал. Глаза слезились. Слезы замерзали. Маленькие ледяные слезы,

повисшие на ресницах. Холлерер, мигая, стряхивал их, и они падали вниз, к мертвым. Он не прошел мимо них. Он еще не отомстил за них.

Холлерер не мог видеть почву под ногами. Все было сплошной зыбкой тьмой. Господи, думал он, мне двадцать шесть лет, а что хорошего я видел в жизни? Все шло вкривь и вкось. Все я делал неправильно, ничего не понимал. Всегда был ужасно одинок, это самое скверное. Когда ты одинок, они уничтожают тебя. Мои товарищи могли остаться в живых, и только Вайс обагрил бы свою кровью снег. Но я молчал, товарищи были сами по себе. Кольмайер тоже замкнулся в себе, а ведь все мы были заодно. Господи, если бы мы вовремя поговорили друг с другом, нам не пришлось бы теперь друг друга убивать. Они разъединили нас, раскололи и в каждом создали разлад с самим собой. Потопили дружбу и благородство в ненависти и жажде убийства, и меня... и меня доканали. Ничего у меня не осталось, кроме вражды, крови, пепла... Если бы мы сказали «нет», если бы не захотели, если бы не выполняли... что могли бы сделать Вайс и ему подобные против всех нас? Да, и вот — расплата, и товарищам пришлось расплатиться. А хнычущий голос из укрытия уничтожит нас всех. Вайс опять устроился в безопасном убежище, опять одурачил нас. И так всегда, на протяжении всей мировой истории, и все мы погибаем.

Холлерер оперся на винтовку, на его лице, еще больше потемневшем от волнения, горели глаза — последние искры, тлеющие под пеплом. Раны снова открылись. Медленно, упорно уходила из него жизнь. Холлерер потащился дальше. Его мысли смешались... «Га-а-зы! Га-а-зы!..» Эта собака Вайс в конце концов просчитался... Сто сорок один раз, честь полка... Под конец он все-таки просчитался... «Эй ты, Холлерер, я обламывал не таких как ты...» Я не доносчик, господин генерал, с Вайсом я сам расправляюсь... Он хитер, может быть, хитрее всех, но на этот раз он поймался на собственную хитрость. Кольмайер, да, он был моим другом, делился со мной последней сигаретой, был лучшим столяром в роте, мог бы после этого кровавого безумия целую жизнь сколачивать гробы для почивших в мире людей... От одиночества погибашь... От проклятого, бессмысленного, беспричинного одиночества погибли Зеппель Веглейтнер, Блазиус Гфайлер, Матиас Анрайнер, Якль Лехталер, Мартин Майрго-

фер, Карл Кунцльман... тундра, волчий закон, Вайс.. Этот единственный раз в своей жизни Вайс просчитался.

Холлерер упал ничком. Снова поднялся, нагнулся, отыскал винтовку. Он шел, покачиваясь, сквозь утихающую метель. Нет, далеко ему не уйти, это ясно. Его шансы на спасение были один к десяти. Сейчас они равны нулю. Он предвидел, что так будет. Вайс был злым роком, который следует по пятам, стережет тебя на каждом шагу, склоняется над твоей постелью, скалит зубы и вешает тебя. Он следует за тобой, пока не наступают ко-
нец всему.

Холлерер заметил темное расплывшееся пятно. На четвереньках пополз через скалистую площадку, ниже которой двигалось это пятно. Он узнал очертания тела. Вайс разминал ноги, согревался в своем логове. Он чувствовал себя в полной безопасности. У него была одна задача: выжить.

Холлерер снял рукавицу с правой руки. Рука заочнела и не могла удержать нож Кольмайера. Холлерер попробовал подняться, однако ноги отказывались служить. «Теперь, — думал он, — я мог бы уже быть по ту сторону реки Муонио или на краю тундры». Он свесился головой со скалы и впился взглядом в отдохнувшего, вооруженного врага. Вися над скалой, прижимаясь к ледяной земле, избитый рукой ледяной вьюги, с потухающими глазами на обожженном лице, Холлерер вспоминал бесконечную цепь ошибок, которые он совершил в своей жизни и которые привели его к этому последнему логическому концу.

Я был одинок, я мечтал, я сам себя обманывал, я не хотел признать правду, я только ненавидел, я не представлял себе будущего. Я одиноко шел своим путем, и Кольмайер шел своим путем, и товарищи шли каждый своим путем, и все это было смертельной ошибкой. «И только Вайс, Вайс, только он не ошибался», — шептал Холлерер. «Вайс, Вайс, Вайс», — бессмысленно шептал он про себя.

Вайс отравил веру, а вместе с верой человека; Вайс расколол душу человека, раздвоил мужество, раздвоил трусость так, что трусы оказались мужественными, а мужественные трусливыми. Вайс всегда хотел дезертировать, как он это сделал в марте 1938 года, когда перешел к нацистам, и снова перебежит в другой лагерь после этой войны. И хоть слишком поздно понято, слишком дорого

заплачено, наконец стало ясно: жить на этом свете с Вайсом нельзя. С Вайсом надо покончить всюду — в своей стране, в своем доме, во всем мире, в собственной семье. Еще в мирное время надо было расправиться с Вайсом. Холлерер все яснее, все отчетливее сознавал: расправиться с вайсами, покончить с войной, признать и исправить кровавую вину перед лицом всего народа, обманутого, истерзанного, посланного на смерть.

Холлерер вытянул руки из меховой куртки. Откопал провалившийся в снег и примерзший к нему финский нож. Снял винтовку со спины; не выпуская ее из рук, приподнялся на локтях. Тут Вайс посмотрел вверх. Оба вскрикнули. Вайс схватил автомат, и в то же мгновение Холлерер, заметив это, прыгнул вниз, в то же мгновение его ослепил яркий огненный луч, в то же мгновение он упал на плотное, хрипящее тело. Воткнул нож. Вайс, стремясь уклониться, опрокинулся навзничь. Он широко раскинул руки, шаря по снегу, нащупывая выпавший из руки автомат. Он пытался стать на колени, но снова валился, как мешок. Его отвратительные, рыщущие пальцы коснулись ствола оружия и отдернулись, словно обожглись. Снова вытянулись, охватили приклад. Холлерер, стоя на коленях и опираясь на руки, бессмысленно смотрел на судорожные движения врага. Чем быстрее ворочается Вайс, тем скорей наступит конец. Нож по самую рукоятку торчал у него слева под ребрами. Вдруг судорога пробежала по его телу, оно вытянулось, недвижимое среди красного снега. Негнувшимися пальцами Холлерер схватил автомат Вайса. Прошло много времени, пока он сумел поднять его и воткнуть в снег. Горячая кровь текла из свежей огнестрельной раны, к которой приклеилась рубашка Холлерера. Он был слишком слаб, чтобы выпрямиться; с невыразимым трудом он повернулся и, тяжело дыша, рухнул плашмя на винтовку. Он бесконечно устал, но боялся уснуть. Если пойти прямо на юг, он дойдет до позиций русских через полтора дня. Дорога свободна. Почему его товарищи не пошли вместе с ним? Следовало поговорить с ними, не надо было их бояться. Ах, если бы не эта проклятая усталость! Засни он сейчас, он никогда больше не проснется. Кольмайер не верил им, он кричал и проклинал все на свете, когда они заботливо клали его на лыжи и осторожно несли на виселицу. И все же их надо любить. Нельзя перестать их любить.

Холлерер поднял голову, мигая, смотрел на снежинки; как они тихо и спокойно поблескивали. Теперь можно идти дальше. Он нашел новый путь. Он должен пройти его до конца. Надо взять с собой товарищей, нельзя допустить, чтобы они умирали, надо с ними поговорить. С этого дня он больше никогда не пойдет в одиночку. Холлерер не ощущал ни ветра, ни холода, ему было так тепло и хорошо. «Что-то я сделал не так, в другой раз сделаю правильно», — думал он. Подбородок упал ему на грудь. Он бросил взгляд на мертвого Вайса, лежавшего с ножом между лопатками. Громко сказал: «С этим я рассчитался». И, прижавшись к винтовке, крепко уснул...

Снег покрыл мертвого и спящего, который больше никогда не проснется, чтобы все исправить.

ЖЕЛЕЗНЫЙ КРЕСТ

В апреле 1945 года в Штаргарде, в Мекленбурге, некий торговец писчебумажными товарами решил застрелить свою жену, четырнадцатилетнюю дочь и застрелиться сам: до него дошла весть о бракосочетании и самоубийстве Гитлера.

Офицер запаса в первую мировую войну, он сохранил у себя пистолет и десять патронов.

Когда жена вошла с ужином из кухни, он стоял у стола и чистил оружие. В петлицу его пиджака был вдет Железный крест, который обычно он носил только по праздникам.

На вопрос жены он объяснил, что фюрер избрал добровольную смерть и он желает остаться верным до конца своему фюреру. Готова ли она, его супруга, последовать за ним по этому пути? В том, что его дочь предпочтет славную смерть от руки отца бесславному существованию, он не сомневается.

Он позвал дочь, и она его не разочаровала.

Не дожидаясь ответа жены, он предложил им обоим надеть пальто: чтобы избежать шума, он отведет их в подходящее место за городом. Они повиновались. Он зарядил пистолет, дочь подала ему плащ. Тогда он запер квартиру и бросил ключ в отверстие почтового ящика.

Шел дождь, когда они по затемненным улицам выходили из города, мужчина впереди, не оглядываясь на женщин, следовавших за ним на некотором расстоянии. Он слышал стук их шагов по асфальту.

Свернув с шоссе на тропинку, ведущую к буковой роще, он, полуобернувшись, крикнул через плечо, чтобы они поторапливались. На безлесной равнине шум ночного ветра усилился, и шаги их по мокрой от дождя земле совсем не были слышны.

Он потребовал, чтобы они обогнали его. Идя за ними следом, он не понимал: боится ли он, что они могут убежать, или ему самому хочется скрыться от них?

Скоро они намного его опередили. Когда он потерял их из виду, стало ясно: страх его так велик, что сам он убежать уже не может. Больше всего ему сейчас хотелось, чтобы убежали они. Он остановился и помочился. Пистолет лежал в кармане брюк, он ощущал его холод сквозь тонкую ткань. Как только он прибавил шагу, чтобы нагнать женщин, пистолет стал бить его по ноге. Он пошел медленнее и полез было в карман, чтобы выбросить пистолет, но увидел жену и дочь. Они стояли посреди дороги и ждали.

Он хотел сделать это в роще, однако опасность, что выстрелы услышат, была не больше и здесь.

Когда он вынул пистолет и отвел предохранитель, жена, рыдая, бросилась ему на шею. Она была дородная женщина, он с трудом вырвался и подошел к дочери. Девочка стояла в оцепенении и смотрела на него в упор. Он поднес пистолет к ее виску и, закрыв глаза, нажал курок; он надеялся, что выстрела не последует, но услышал выстрел и увидел, как девочка пошатнулась и упала.

Жену бил озноб, и она кричала. Пришлось крепко держать ее. Лишь после третьего выстрела она затихла. Он был один.

И не было никого, кто велел бы приложить дуло пистолета к его собственному виску. Мертвые его не видели. Никто не видел его. Представление было окончено. Занавес упал. Можно было идти и снимать грим.

Сунув пистолет в карман, он склонился над дочерью. Потом бросился бежать.

Он бежал обратно по тропинке, потом по шоссе, но не к городу, а на запад. Наконец, тяжело дыша, опустился у края дороги, прислонился к дереву и стал обдумывать свое положение. Он нашел, что оно отнюдь не безнадежно.

Нужно только бежать все дальше на запад, обходя жилье. Где-нибудь он сможет затеряться, скорее всего в каком-нибудь городе побольше, под чужим именем. Кто он? Безвестный беглец, самый обыкновенный человек, труженик.

Он швырнул пистолет в придорожную канаву и поднялся. На ходу подумал, что забыл про Железный крест. Выбросил и его.

ГАСТРОЛЬ

Посетители «Канзас-бара», как всегда, собирались медленно. Кроме девушек, которые то тут, то там сидели за столиками в ожидании кавалеров, еще не было никого из тех, кто вносит оживление или потребляет много алкоголя.

Юрген Шох, как обычно, сидел за пианино и играл. Уставившись в полированную крышку инструмента, он не думал о том, что играет: он перебирал клавиши, переходил от минора к мажору, наигрывал отрывки буги-вуги, подбирал вступление к романсу «Моя девушка из Техаса». В полированном дереве отражалось лицо Сабины, которая сидела за его спиной у столика № 25, вертя в руке рюмку коктейля. Первая рюмка девушкам полагалась, последующие должны были оплачивать кавалеры. Юрген Шох смотрел на ее лицо, тускло отражавшееся в крышке инструмента, лицо, которое час назад склонялось над логарифмическими таблицами — уравнение с двумя неизвестными; сам он отказался от погони за лучшим будущим — куда проще исполнять легкую музыку и не беспокоиться о завтрашнем дне, чем обивать пороги и говорить: «Семнадцать лет бросил школу, два года на фронте, четыре года в плену, дома никого не осталось, да и дома-то самого больше нет, вот, пожалуй, и все, что можно сказать обо мне! Отец? Да, да, он был преподавателем музыки, из страха перед русскими застрелился; между прочим, он всегда был со странностями. Что вы говорите? Да, да, из Силезии, вы, конечно, такого города не знаете, он называется Глогау, да, и рояль у нас был! Ах, вот как! Нет, ничему не учился... разве что музыке!»

И так по лестнице вверх, по лестнице вниз.

«Очень сожалею, но нам нужен опытный бухгалтер... Жаль, жаль...»

«Вы можете смотреть за детьми, знаете английский? Нет? Очень жаль, дети должны изучать два языка!»

Биржа труда. «Учеба? Да что вы выдумали. Какая стипендия? Ее и не такие еще ждут...»

Вечером. Скамейки в парке, грохот надземки. «Ну, малыш, совсем один?»

Юноши с браслетами вокруг запястья, папиросы, золото, кофе...

Как-то пришло письмо из Восточной зоны: «Наконец у нас есть твой адрес. Здесь в Магдебурге мы хорошо устроились. Помощь переселенцам. Нашлось бы место и для тебя! Дядя ходит на стройку. Приезжай, в самом деле. Фриц работает каменщиком, вы ведь ровесники... На что ты, собственно говоря, живешь? Ноты твоего отца у нас!»

«Канзас-бар».

— Что-нибудь повеселее, молодой человек, оркестр мы не можем себе позволить, три марки за ночь...

Слава богу, у хозяйки есть расстроенное пианино; когда она уходит, буду упражняться! Распа труднее Брамса.

Однажды среди дня звонок у входной двери: «Помилосердствуйте! Разве можно работать в таком адском шуме?»

Мрачная лестничная клетка, запах жареной картошки и мастики. «Итак... до свидания!»

Вот как он впервые увидел лицо Сабины. А сейчас она сидит за его спиной (ни денег, ни стипендии, ничего не поделаешь!). Не выспавшись, утомленно бормочет она себе под нос числа, эти проклятые уравнения все с новыми неизвестными, которые не приводят ни к какому решению. Как и их разговоры. Он не понимает, вернее, не хочет понять. На ту сторону? Начинать все сначала — кому я там нужен... Она получает письма из Лейпцига. После них она задумывается и смотрит на него, на Юргена Шоха, которому она, как говорится, принадлежит душой и телом, но ее никак не разуверишь в том, с чем она носит после лейпцигских писем даже здесь, особенно здесь...

— Ну-ка, господин Шох, что-нибудь побравурнее.

Юрген вздрогнул. Толстый палец шефа забарабанил по крышке инструмента.

— Гости могут совсем уснуть.

«Голубые ночи Гавайи»...

Юрген обернулся. Слава богу, Сабину пригласили. Что значит «слава богу», какая отвратительная наружность у этого типа, да он еще смеет обнимать Сабину! Юрген улыбнулся про себя устало, озлобленно, деланно. Если бы все они здесь знали, о чем думаешь в такие минуты. В два часа ночи передышка. «Надо терпеть. Завтра я готовлю, а ты работаешь... Деньги? Нет, нет, ты должна купить себе чулки, а то он выгонит тебя».

Сабина прошла совсем близко от него.

— Сносно, — шепчет она, делая вид, будто просит сыграть что-то сверх программы. — Ему ничего от меня не нужно, просто интересуется, не хочу ли я подработать, он знает способ. — Она провела рукой по рукаву его пиджака. — Я уже устала...

Мужчина, который знал способ подработать, последовал за ней и сел за ее столик.

Когда Юрген поднимал глаза, он видел Джимми — Джимми, сбивающего коктейли и добродушно, бессмысленно ухмыляющегося. Он манипулировал бокалами в такт музыке; когда Юрген играл что-нибудь медленное, Джимми переставал ухмыляться.

Напротив кто-то подпевал, сзади смеялись. Черт знает, откуда приходит сюда столько людей. Словно корзинка для бумаг, которая бесконечно наполняется.

Китт тоже была здесь, в сильно декольтированном платье. Она сидела на табуретке, словно торговка рыбой на рынке. Она каждый вечер сидела так, иногда приносила ему сигареты, наливала виски и ласкала Сабину, будто просила у нее прощения. В Китт, как это ни странно, было что-то материнское. И, удивительное дело, молодым людям именно это нравилось в ней.

— Дамы выбирают кавалеров! — голос шефа был ласковый, очевидно, он успел у себя в кабинете заключить какие-нибудь сделки.

Юрген начал *Donkey Serenade*, старую заигранную вещь, но Сабина напевала ее иногда, когда ей удавалось решить запутанные нагромождения чисел; должна же она получить удовольствие хоть от его музыки, если на большее он не способен. Зажгли красный свет, потом фиолетовый. Сабины не было видно среди танцующих. Он отыскал ее взглядом. Она сидела за столиком № 25 и мешала соломинкой в бокале, потом подняла ее вверх, словно собиралась пускать мыльные пузыри.

— Ах, так? Что я хочу, то и делаю; если вам не нравится, можете уйти. Taxigirl, это значит, что я все равно за вас плачу, понятно?

Юрген выбивал такт. Еще раз повторить, только не оглядываться. Так и есть, Сабина выбрала толстяка у стойки бара. Он шатается, неуклюже переставляя ноги. Отвратительно... Отвратительно... Письмо оттуда... Вообще, что значит «оттуда»? Говорят там тоже по-немецки, и очень понятно, как дома: «Дядя ходит на стройку, свежий воздух, новые дома, по вечерам хлеб с маслом и салат». Довольно!

Свет опять стал нормальным, белым. Кто-то предложил Юргену пива. Отец любил пиво, Юрген всегда приносил его из Вундзиделевской пивной. Приятно было смотреть, когда свежая пена лилась в кружку.

— До каких пор мы будем здесь мучиться?

Юрген повернулся. Он не понял ее, он не понимал и себя, никто здесь не понимал друг друга.

— Не знаю, — сказал он. Сабина кивнула, не взглянув на него. Потом она пила шампанское. Толстяку было, в сущности, все равно, где сидеть. Только не слишком близко к Сабине, сударь, всему в конце концов есть предел, даже если я играю здесь на пианино... Теперь что-нибудь для Сабины, может, она поймет его. «Грезы» Шумана — никто, кстати, не слушал из-за перерыва. Главное — шевелить пальцами за 3 марки. Дома сад, окна открыты, вскопана земля, луна смотрит прямо в окно, рядом сидит мать («Мальчик мой, кто любит музыку, тот хороший человек...»), отец... «К сожалению, должны вам сообщить, что при вступлении русских он...» Китт потянулась с кем-то чокнуться и встала с табуретки. Она крепко держится за никелированные поручни стойки — опять слишком много выпила. Как это румба? Там-та-та, та-та-там...

Китт шла по залу, она шла очень прямо, платье было слишком нарядно для «Канзас-бара»... У стойки бара компания отбивала такт бокалами — один раз о никелированные поручни, два раза о стекло.

— Мальчик... — кожа на руках Китт была дряблая, пудра выглядела, как мука. Там-та-та, та-та-там, та-та-та... —

— А я знаю, точно знаю, что ты играл перед этим, — она икнула и прижала палец к губам. — Все они здесь ничего не понимают; если я, сентиментальная тряпка, реву,

они смеются, да им все равно, почему я реву, виски чертовски крепкое, ты его не пил? Будь я здесь хозяином, я бы сказала тебе и той девочке... я бы сказала: «Идите-ка, дети, домой, идите, здесь только для взрослых». — Она повернулась к танцзалу. То тут, то там мелькала голова Сабины. — Домой, да, так бы я сказала, подожди, я подарю тебе что-то, мне оно ни к чему. — Она положила узкую полоску бумаги около кружки пива и оперлась рукой о клавиши. Резкого звука никто не услышал... — Hallo, boy! — Китт кивнула только что вошедшему американцу в военной форме, который в ответ помахал ей фуражкой, словно с океанского парохода, входящего в порт. — До завтра, мальчик, расскажешь, как там было! — Она погладила его по голове и вновь направилась к стойке.

Сабина принесла сигарету.

— Еще три часа, — сказала она устало. — Две петли спустились, опять пара чулок пропала! — Она не улыбалась, как всегда, пока он озабоченно смотрел на ее ноги. — Что это? От Китт?

— Угу, — промычал он и затыкнулся. — Приглашение на чай или на спортивное соревнование. Можешь сейчас же выбросить.

— Ты бы сходил туда, — она положила билет на клавиши. — Это было бы тебе полезно.

Он с раздражением смотрел, как она опускала палец в кружку с пивом, а потом смачивала спустившиеся петли. «Ансамбль Александрова» в Государственной опере. Юрген смял сигарету и уставился на узкую полоску бумаги.

— Ты думаешь, стоит пойти?

— Пойди, может быть, тебе станет ясно, что нельзя же без конца одним пальцем выстукивать всякую чепуху, вместо того чтобы... ну, мне пора обратно. — На этот раз она не погладила его по рукаву. — Сыграй «Чайку», это хоть не быстро.

Он слегка нажал на педаль. «Ансамбль Александрова» — где-то он читал об этом: триста русских, которые поют и танцуют. Отец тоже рассказывал об этом, когда Юрген был еще маленьким. Они начали с тридцати человек. Но отец... «Разрешите мне отлучиться часа на три» — скажет он завтра. Пусть это время кто-нибудь заводит пластинки.

Чайка, ты летишь на родину,

Там-та-там, там-та-там...

Новые чулки стоят 8 марок — это полтора вечера, деньги так и текут.

Чайка. ты летишь...

Опять курс возрос, еще вчера марка стоила 4.90... Остановка трамвая как раз около меняльной конторы.

Сегодня мы продаем западную марку за 5,20.

Мы покупаем сегодня западную марку за...

Шоколад, американцы, золото! Торговец галстуками захлопнул свой чемодан, так как два полицейских показались из-за угла. Юрген сел в трамвай. Денег на проезд было очень жаль, но иначе не успеть. Глупо в такую жару идти туда. У Сабины болит голова, она не встала с постели и пропустила лекцию. «Нет, Юрген, мне это не под силу, здесь я ничего не добьюсь. Никто не помогает, пропадешь тут...» Потом она опять уснула, чулки висели на спинке кресла. Прибавилась еще одна спущенная петля.

Без четверти восемь, а жара все еще такая, как от раскаленной железной крыши. Вот уже Восточный сектор. На одной из новостроек развевались транспаранты: «Единство, мир!», «Советский Союз — оплот мира»... Здесь у всех людей был довольный вид. Трамвай остановился. На стене дома висел большой портрет Сталина. Взглядом как будто следит за мной, — подумал Юрген. — С кем бы поговорить, у кого бы узнать: «Скажите, как, собственно, обстоит дело с миром? Вы тоже боитесь? Вы говорите — атомная бомба, кто же грозит бросить ее, те, что сидят в «Канзас-баре», или вы? Никто? Я тоже не хочу. А мой отец...»

«Ансамбль Александрова».

Этот плакат развевался над огромной толпой, какую до сих пор Юрген видел только на черном рынке и во время бокса.

— Нет ли у вас еще одного?

— Может, у вас есть лишний билет?

— Я говорила мужу: позаботься заранее, а теперь пропущенное дело!

— Может, будут передавать по радио...

— Прошу прощения, нет ли у вас...

Юрген Шох стоял затиснутый в этой толпе и не мог податься ни взад ни вперед.

— Прoshлый раз их заставили повторять три раза, моя дочь просто обезумела, ну теперь, слава богу, попала туда.

— Да не толкайтесь так, все равно там полно!

Юрген начал работать локтями. Он должен, непременно должен пройти туда. Лучше вперед, чем назад. О том, чтобы продать билет, он больше не думал. Он должен сам послушать, что там происходит.

Перед входом было еще хуже.

«Yes, indeed here...»¹ — Значит, и англичане тоже здесь. Вероятно, из любви к сенсации, они идут сюда, как в цирк посмотреть дрессированных львов. Он крепко зажал билет в руке.

— Молодой человек, даю три западные марки за билет!

— Пять или пачку честерфильд!

— Ваш билет, пожалуйста!

Слава богу, прошел. Люди просто с ума сошли. Если они, как говорят, голодают и ненавидят русских, то почему же...

— Четырнадцатый ряд, партер, прямо, угодно программу?

Он взял листок и достал деньги. Его понесло дальше. Он наступал на чьи-то ноги, ему наступали на ноги, наконец он сел рядом с юношей в синей рубашке и пожилой женщиной. В зал валом валил народ.

— Да, одни только солдаты, мою жену нельзя было уговорить пойти.

Юрген зажал шляпу между колен. Орlando Лассо, «Хор охотников из «Волшебного стрелка» — невероятно, чтобы исполняли это советские солдаты — ведь это все равно, что форелей есть ножом.

Он почувствовал голод. Уж лучше бы продал билет. Денег почти хватило бы на пару найлоновых чулок. Театр жужжал, словно пчелиный рой, люди стояли в проходах, перегибались через барьер, теснились в дверях. Он вспомнил снимки в газете, статьи: «Советский человек — это бездушная машина, все военизированные, все на один образец...» Лица в еженедельнике, под ними надпись: «Война идет с востока, западная цивилизация должна быть спасена, закат Европы...»

¹ Да, действительно здесь... (англ.)

Наступила тишина. Юрген поднял голову. Жужжание мгновенно смолкло. Занавес разделился и медленно попола в разные стороны. На сцене стояли они, конечно, в военной форме, полукругом, неподвижно, лица непроницаемые. «Very nice!»¹ — послышался голос сзади. Другой, шепотом: «Варвары». Хихиканье. Вдруг раздались аплодисменты. На эстраду вышел мужчина, встал перед людской стеной, поклонился, улыбнулся, поднял руку. Юрген откинулся назад. Неожиданно возник звук, он то нарастал, то делался тише, потом звучал с новой силой, как будто кто-то включил электрический ток, к которому все они были присоединены... Послышался треск электрических разрядов, слабые удары деревянного барабана, они были еле слышны, они шли как бы издали, приближались, опять удалялись. Широкая равнина, по ней рысью несется всадник. Он словно летит по ветру, которым веет от этой людской стены. Ветер почти стих, чувствуется лишь слабое дуновение. Неожиданно врываются голоса. Высокие, как сопрано, тенора порхают над органным звучанием басов; кажется, будто один человек выводит мелодию во всех регистрах, словно до сих пор не существовало ни голосов, ни звуков. Ритм с грациозной, порхающей легкостью точно подгоняет сам себя и опять тонет в спокойном, ласковом покачивании, в тишине, которая захватывает дух. Взрыв аплодисментов... Юрген не шелохнулся. Он смотрел на эту трехсотголовую стену и комкал программу, ему казалось, что до сих пор он жил в душной норе, где не слышно было ни одного звука.

— Следующий номер: «Эхо» Орlando Лассо.

Концертные хоры иногда исполняли его, иногда его транслировали по радио. Что это было? Эффектный номер для людей, которые за свои деньги позволяют себе слушать музыку и попивать пиво. Хорошо? Да, но здесь это было глубокое ущелье, отзвук от скал, вопрошающий, отвечающий, ветер, тихий вздох, мир.

Женщина рядом с ним совсем подалась вперед, сидела на кончике кресла, сложив руки на коленях. «Волшебный стрелок», — сказала она, как будто ее кто-то спросил, и снова зазвучала мелодия — какая-то палитра красок от густейшего, насыщенного красного до самого светлого, мерцающего белого, каждый оттенок служит фоном для

¹ Очень мило! (англ.)

другого, поясняет его, затушевывает или дополняет, пока хор охотников не завершается с таким блеском, что взрыв аплодисментов сливается с его последними нотами.

Теперь кто-то выступил вперед. «Никитин», написано было в программе. Он был худ и выглядел слабой былинкой перед этим могучим полукругом; казалось, они раздвигают его.

Запел хор. Уже при первых тактах весь переполненный людьми театр превратился в единое целое, темпераментно, оживленно раскачивающееся в такт мелодии.

Ка... линка,
Калинка...

Юноша в голубой рубашке при слове «...линка» сжал руки, словно он сочинил эту песню, он был увлечен той светлой задорной волной, которая ворвалась в партер, смывая все мрачное, внося радость и свет. Люди обезумели. «Бис, еще раз, еще!»

Юрген всматривался в лица, которые были обращены к нему со сцены, он всматривался, пока не заметил, что его взгляд останавливается все время на одном лице... Это лицо напоминало ему что-то, что оживало в нем, как стершаяся фотография, как имя, которое вертится на языке, но не приходит на ум... И снова волнующая, чеканящая ритм и все же грациозная мелодия. Это была целая деревня где-то на Кавказе или в Туркмении. Там был юноша, который любил девушку, тихо, нежно звал ее, и все, затаив дыхание, ждали: придет ли она. И вот снова звучит...

Ка... линка
Калинка...

Вихрь, объятия, радость — смотрите, он добился своего! Быстрее, все быстрее, вот и она уже танцует с ним, в танце мелькают юбки, красные, желтые, синие... Напротив стоят кинооператоры, прожектора скользят по рядам партера, старые лица, молодые, разочарованные, несчастные. Миг, и все они преобразились. Это уже не были лица людей злых, тупоумных, враждующих между собой, ссорящихся с другими; это не были уста, которые распростирали слухи, глаза, которые были слепы и безучастны. Это больше не были люди, которые обманывали, ненавидели, говорили о войне, будто не пережили всего ее ужаса,

которые больше не хотели любить, потому что все уже ни к чему. Теперь лица у них сделались простыми, веселыми, такими, как были, вероятно, в детстве, в пору игр и забав. Эти люди вдруг поверили в прекрасное в мире и хотели, чтобы и другие поверили в него. Сейчас они выглядели так, как должен выглядеть человек.

Юрген посмотрел на свои руки. Вот почему Китт дала ему этот билет, может быть, она уже когда-то испытала нечто подобное, но потом все снова пошло вкривь и вкось, а может быть, она вообще ни о чем при этом не думала. Юрген размечтался.

Опять были открыты окна, земля вспахана, в саду напевала девушка, луна висела над окном, пахло травой. Она кого-то ждет. Потом они оба, взявшись за руки, почти молча спустятся к реке, но она будет напевать и дальше — Сабина.

Исполняли «Грезы». Юрген кивнул. Ему хотелось протянуть руку женщине, сидящей рядом с ним, и сказать: «Я играл это вчера, но никто не слушал, все были глухи, а здесь... Здесь в этом весь мир — вы, я...»

Он сидел оглушенный громом аплодисментов и чувствовал себя, как человек, которому не удастся пристать к берегу. Отец, — думал он, — ты поступил неправильно, под конец, да... и я тоже, они делают человека глухим, слепым, алчным, и ничего больше... Люди там, на эстраде, жили полной жизнью, каждый был индивидуальностью, за каждым, как мать, стояла родина, которая дала им возможность петь, так петь, как поют, когда любят всеми фибрами души. Он увидел себя в баре и Сабину, и толстяка, и коктейль, и письмо с той стороны, и опять ему вспомнились слова Сабины...

Вдруг загремел бас, из такой бездонной глубины, словно разверзлась земля с ее сочным, обильным плодородием. И дальше... так шумит море, так бушуют бури, так. быть может, спускаются ночи над этой землей, о которой говорят, будто она хочет войны.

«Народная песня» — и вот стоят они, эти триста русских, они взволнованы, растроганы сами и волнуют других, будят в сидящих здесь внизу то, что было мертво и тупо; все они захвачены чем-то, что называется Родиной, что дает приют, от чего разжимаются руки, что говорит: быть добрым, любить, качать детей, стоять у колодца, смотреть на лес — все это Родина!

В боковом проходе стоял молодой советский солдат около женщины немки, они стояли в темноте, изредка освещаемые прожектором. Он видел их лица; казалось, это мать и сын. Он думал о доме и впервые за шесть лет стал догадываться, что где-то жизнь идет вперед, по ту сторону от зональных границ, сигарет и найлона. По ту сторону алчности и ненависти.

За его спиной зашептали: «Они повторяют...» Потом зал вдруг исчез, он уже не был в партере, а опять, как в детстве, стоял в школьном хоре мальчиков и пел тем звонким голосом, про который мама говорила: «ангельский»; он всегда пел эту песню, когда хотел задобрить маму. Луг расцветает, и травы начинают благоухать.

На солнечном лугу...

Кругом стало тихо, так тихо, как никогда. Все остальное изгладилось из памяти и не имело больше значения. Ритм был в крови, в пальцах, перешел в ноги, он действовал живительно, словно источник, орошающий песок.

Теперь все было иначе. Эти сотни людей почувствовали, что душа их раскрылась, кто-то услышал биение их сердец, которое они недоверчиво и пугливо скрывали, все понял и отвечал им. Он пел по-немецки, этот русский, которого звали Никитин, родом из Москвы или из Воронежа, с такой трогательной нежностью произносивший слова:

Мой тихий, мирный дол,
К тебе я вновь пришел,
Прими меня, пригрей...

Это был их родной язык, родной язык старой женщины, которая сложила на коленях руки и закрыла глаза. Это был язык целого мира, мира взаимопонимания, любви, симпатии. В нем был полет возвращающихся на родину птиц, пожатие руки, взгляд друга, нежные слова матери, и говорил он... только о мире и ни о чем большем. Руки Юргена оторвались от колен, которые он сжимал. Теперь все было хорошо, все будет хорошо навсегда.

Те, там на эстраде, против которых он боролся, пели эту песню ему, ему одному, чей костюм пропах табаком и дешевыми духами Сабины. На секунду все смолкло, стало так тихо, что слышно было жужжание прожекторов, — и вдруг все вскочили. Француженка за спиной Юргена

взобралась на кресло. Она махала программой тем, кого раньше называла варварами. Она махала программой, словно белым флагом. Повсюду взлетали в воздух белые листочки бумаги. Весь зал превратился в дико кричащее и машущее существо, которое бросало на сцену цветы с ярусов, из партера, из боковых проходов, отдельные цветы и букеты; корзины втаскивали на сцену; бушующая масса людей хотела выразить свою благодарность, взволнованная до глубины души. Все позабыли и не желали больше верить, что там, на эстраде, стоят люди из чужой, незнакомой страны, люди... Юрген опять отыскал взглядом молодого солдата из ансамбля. Он мысленно спрашивал его, просил помочь ему вспомнить что-то. Нужно было одно только слово, движение, слабый намек... Юрген поднялся и стал пробираться сквозь ряды...

— Останьтесь, сейчас будут танцы.— Женщина крепко схватила его за локоть. Он покачал головой и продолжал пробираться. Кто-то протиснулся на освободившееся место. Юрген был единственный, кто уходил. Народ толпился в дверях, вдоль стен, в фойе. «Да-а,— услышал он, проходя мимо,— если бы все армии мира так пали, им не пришлось бы стрелять. Даже не верится, простые солдаты и поют немецкие песни, невероятно...»

Он пробирался дальше к выходу; ничего, ни малейшего звука не хотел он растерять из того, что пело сейчас в его душе.

— Есть билет?

— Простите, у вас нет лишнего билета?

Он бросился вон. Стало прохладнее, может быть, пойдет дождь... Как он жил до сегодняшнего вечера!..

— You are entering the British sector! ¹

Два солдата вразвалку прошли мимо него, словно они у себя дома здесь, в Берлине, а не по ту сторону пролива. Вдруг он остановился, ему показалось, будто перед ним вновь разматывается кинолента. Вот, вот оно лицо с астрады, даже не лицо, а только взгляд... Когда же он видел его?.. 20° ниже нуля, железнодорожный вагон, раненые. Уже шесть дней и ночей они ехали все дальше и дальше по этой огромной стране, которая ненавидит их, не может не ненавидеть. Разбитые, затравленные — плен

¹ Вы входите в Британский сектор (англ.).

был бы избавлением, но мешал страх перед страхом, который им внушали без конца. Жажда и голод стали невыносимы. «Они заморят нас голодом, слышишь?» Потом скрип примерзших железных засовов, снаружи было солнце, и хриплый голос сказал: «Вот попить, поесть...»

Лицо, глаза, да, это были они, эти глаза смотрели тогда на него, на него одного. Он ощутил в руке кусок хлеба, черствый, скудный, как нынешняя жизнь. Он ощутил даже кисловатый привкус, который свел его рот оскоминой. Кинолента разматывалась дальше. Сожженные дома, желтая высохшая земля, лопата и кирка в его руках, смех женщины, которая показала им, как легче разрубить топором пень. Новые дома, высокие подсолнухи, ширь полей, по которым они прошли с теми, на кого их натравливали, как собак. Он не помнил лица этого советского солдата, как до недавней минуты не помнил всего, что было. А может быть, просто все хорошие люди похожи друг на друга. Ему показалось, будто наводится мост между прошлым и настоящим, который выдержит, если попытаться пройти по нему дальше, все дальше.

— Идите же как следует, молодой человек!

Он извинился и пошел быстрее. Если обменять на восточные, у них будет вместе 200 марок... Красный свет, зеленый. «Американцы, какао, восточные деньги, восточные деньги!» Газетный киоск: «Желтая опасность», «Тайны Макартура», «Новые любовные похождения, последний выпуск, с картинками, двадцать пфеннигов, не угодно ли? Самый последний...», «Фрау Кардош и будущее Европы». «Подайте, что можете... Я безработный с... Нет ли у вас...»

В Магдебург! Сабина придет потом, нет, лучше они поедут вместе, так гораздо лучше. «Мальчик, куда спешишь?» «Осторожней: переход, красный свет». Там она могла бы по-настоящему учиться, она ведь все время говорит об этом, а он, он...

Пока он бежал, в ушах все время раздавался тот вихрь звуков, который поднял его со дна на поверхность. И потом эта песня. Там я начну все сначала, именно там: матросский костюм и радость в ожидании завтрашнего дня. Все это еще будет, обязательно будет. Все, что было в промежутке, похоже на плакат, там, напротив, который держался за один край, весь измазанный, неразборчивый.

Перед баром стояли машины. Неоновые трубки делали все вокруг зеленым, отвратительно зеленым, как абсент, от которого тошнит... «Поторапливайтесь, господин Шох, у вас был отпуск на три часа, а сейчас уже...» Юрген прошел мимо шефа «Канзас-бара» с таким независимым видом, словно ему принадлежала одна из этих машин, которая готова сейчас же ехать дальше.

— Добрый вечер, — сказал он, кивнув Китт, которая была, по-видимому, еще трезва. У нее на лице, как всегда, было слишком много пудры.

— Идем! — сказал он Сабине и взял ее сумку со стола. Номер он положил на скатерть. Она молча поднялась и посмотрела на него.

— Ты пьян?

— Нет! — он схватил ее за руку и, проходя мимо пианино, ударил по закрытой крышке. Они пересекли танцплощадку. Хозяин все еще стоял у двери.

— Вы сошли с ума? Не вздумайте явиться завтра и клянчить работу, таких проходимцев, как вы...

В стеклах вращающейся двери, как в крышке инструмента, на протяжении четырех месяцев отражалось все, что происходило в баре, только лицо Сабины было теперь на одном уровне с его лицом.

— Может быть, ты все-таки объяснишь мне?

— Сейчас! — Он еще крепче сжал ее руку. — Иди быстрее, вот так...

Бледный зеленый свет неоновых трубок не достигал другой стороны. Дальше в самом конце улицы небо еще было светлым.

**ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВАХМИСТР РОТДОРН ВОЗВРАЩАЕТСЯ
НА РОДИНУ**

I

Я лежу в маминой постели под пуховым одеялом из красного шелка. На улице день, но окна плотно завешены. Они считают меня сумасшедшим. А это лишь нервный шок! И я все-таки в здравом уме! Плохо знают меня мои родители, если могут так ошибаться! Когда кто-нибудь из них войдет сюда, я закрою глаза и постараюсь ровно дышать. Тогда они оставят меня в покое.

Это наше старое пуховое одеяло, только раньше оно было зеленым. Светло-зеленым, как листья комнатного растения. Одеяло отца тоже было зеленым, но я тогда его поджег.

Мебель в комнате новая. Старой обстановки, с которой я так свыкся, уже нет. Матери не удалось переправить ее окольными путями сюда, в Западную Германию.

Впрочем, все это не имеет решительно никакого значения. Ведь отец вернулся! Из России. Через десять лет после катастрофы. Здесь ему преподнесли 6000 марок¹. Мать — она просто расцвела от счастья — приобрела на эти деньги спальную гарнитуру и кухонную мебель. Почему бы не купить красивую обстановку для гостиной, пробковый матрац или электрический холодильник?

— Предоставь уж это дело маме, — сказал отец. — Ты в этом ничего не смыслишь, мой мальчик. Немецкая женщина вновь занимает позиции у домашнего очага. — Он громко захохотал, ткнул меня кулаком в спину и зарорал: — Гр-р-рудь вперед! Голову выше!

Я ненавижу этого человека.

¹ Солдатам и офицерам гитлеровской армии, взятым в плен советскими войсками, осужденным к длительному заключению за военные преступления, совершенные на территории СССР, и досрочно освобожденным советским правительством, западногерманские власти выплачивали «компенсацию за убытки».

А ведь было время, когда я любил полицейского вахмистра Ротдорна. Я видел в нем карающее божество и, напроказив, сносил побои с чувством нравственного удовлетворения: мне казалось, что отец не может поступать несправедливо. Самое раннее мое воспоминание — день рождения, когда мне исполнилось пять лет и отец избил меня за то, что я не позволил товарищам кататься на моем новом самокате.

Я был тогда хрупким и болезненным мальчуганом. Когда я очнулся, мой красивый и сильный отец стоял, склонившись надо мной. Совсем близко от моего лица я увидел его квадратную голову, большой рот с поблескивающим золотым зубом, услышал, как он говорит растерянно и добродушно:

— Ну и недотрога! Слыханное ли дело, чуть что и в обморок! И это — мой сын?

Мать заплакала. Она, видимо, плакала уже давно, потому что глаза у нее были красные, а руки тряслись.

— Ах, муженек, — говорила она, всхлипывая, — оставь его в покое. Ведь он не виноват, что родился семимесячным.

Не знаю, полагала ли она всерьез, что человек, появившийся на свет семимесячным недоноском, имеет право вести себя не по-товарищески; а может быть, она и не вкладывала особого смысла в эти столь обычные оправдания. Как бы то ни было, я помню, что доброта матери не вызывала у меня тогда ничего, кроме презрения; за отцом же я, хоть и не без внутреннего протеста, признавал неотъемлемое право избивать меня ремнем до потери сознания.

Когда отец бывал настроен благосклонно, брал меня с собой на дежурство и представлял сослуживцам, когда он тыкал меня кулаком в спину и давал глотнуть коньяка, который я под громкое ржанье присутствующих немедленно выплевывал, тогда, как ни были грубы эти проявления его внимания, мне казалось, что он тоже любит меня.

Мать любила меня гораздо больше. Это было обременительно. Всякий раз, когда у нас собирались гости, она рассказывала, что ее сыночек родился совсем слабеньким, весил всего два с половиной фунта и для того, чтобы спасти мальчика, пришлось смачивать ему губки капельками шампанского.

Все это преследует меня до сих пор. На всю жизнь осталось какое-то чувство унижения. А между тем рост мой теперь — в 27 лет — 180 сантиметров, я хорошо плаваю, играю в теннис. Кому же были нужны все эти жалкие слова? И разве это такой уж недостаток для актера, если у него узкие плечи? Не видать бы мне многих ролей, если бы у меня была грудь, как у атлета, а ручки такие, что и перчаток не подобрать. Правда, ноги у меня маленькие, но Лидия уверяет, что терпеть не может мужчин с большими ногами.

Что же все-таки это была за история с пуховым одеялом? Должна ведь она всплыть у меня в памяти! Все мое прошлое словно в тумане, а воспоминания так скудные! Вероятно, потому, что меня всегда держали в страхе и напряжении, и события жизни едва ли доходили до моего сознания.

Теперь меня уже не удивляет, что мальчишки в школе вечно издевались надо мной. Отец мой был человеком невежественным, мать тоже, но они этого не чувствовали: полицейские, составлявшие круг их знакомых, были ничуть не выше их.

Я же ощущал все это очень хорошо: ведь среди моих соучеников были не только парни грубые и неотесанные; были и умные, развитые ребята, которые сторонились меня потому, что не могли дружить с сыном полицейского.

Я проникся нежностью к матери, когда отец изменил ей с ее старшей сестрой. Матери пришлось поехать домой в деревню — ее вызвал старик отец. Кажется, дело шло о наследстве. «Ах, Эдуард, поедem со мной, — молила она со слезами моего отца, и руки ее дрожали. — Я так боюсь, что старик снова разбушует... Мне этого не вынести!» Но мой отец лишь смеялся над ее страхами.

Не знаю уж, что он тогда говорил... вот я и вспомнил, из-за чего поджег пуховое одеяло.

На время отсутствия матери наше хозяйство взялась вести тетя Луиза. Она была не замужем и работала медсестрой. Теперь ее уже нет в живых. Она погибла от бомбежки во время войны.

Над отцом тетя Луиза вечно подсмеивалась. Это она с хохотом рассказывала в кругу знакомых, что, вставая по утрам, Эдуард громко считает: «раз, два, три, четыре...» — до тех пор, пока не натянет одежду, забот-

ливо приготовленную женой; одевшись, он облегченно вздыхает, торжественно объявляя, что на все это понадобилось ровно три минуты. А если залеживается дольше обычного в пуховиках, то сам себя наказывает и завтракает стоя.

— Да, — обычно говаривала в заключение тетя Лиза, — бедная моя Грета! — И добавляла: — Не будь он таким молодцом на службе...

И все-таки в одно прекрасное утро я увидел, что тетя Луиза спит рядом с отцом в супружеской постели, под зеленым пуховым одеялом. Они не видели и не слышали, как я проскользнул в четыре часа утра через спальню, чтобы одеться в кухне у теплой плиты. Да, да, именно так это и было. В воскресенье. Мы должны были отправиться на целый день в поход с фюрером нашего отряда¹. Мне очень хотелось улизнуть: ведь я знал, что мальчишки снова «возьмут меня в оборот», а потом «сотрут в порошок», и хоть мне было уже десять лет, я все еще не умел ни сдерживать слезы, ни защищаться. Впрочем, стоило ли удирать? Если бы это и удалось, меня все равно избил бы отец... Ни он, ни тетя Луиза не сообразили, однако, что мне придется рано утром пробираться через спальню родителей — другого выхода из моей комнаты не было. Вообще-то считалось, что тетя Луиза спит в гостиной.

Отчаянно покраснев, я крался на цыпочках мимо кровати. Я увидел только лицо тети. Оно было спокойным и счастливым — таким бывало лицо матери, когда я подавал ей по воскресеньям завтрак в постель. Как только это сравнение пришло мне на ум, я разом многое понял, понял также, почему мое лицо вспыхнуло.

Само собой разумеется, что ни с отцом, ни с матерью я никогда не говорил о таких вещах. Подхваченные на лету замечания взрослых и намеки «просвещенных» товарищей создали у меня довольно-таки смутные представления об этой области человеческих отношений.

Совершенно четкими были зато мои представления о том, что такое ложь и лицемерие. Об этом говорилось в скучных книгах, которые мне читала мать, когда я болел; достаточно часто разъяснял мне это на свой лад

¹ Имеется в виду отряд «Юнгфолька» — организации, входившей в состав фашистского молодежного союза «Гитлерюгенд».

отец — высокопарными словами или проще, с помощью кожаного ремня. И если даже допустить, что мать приняла бы это безропотно, факт оставался фактом: она была обманута мужем и родной сестрой.

О, я тогда необычайно болезненно воспринимал любую несправедливость! Сейчас мне просто смешно становится, при воспоминании о том, в какой ужас я пришел, когда десятью годами позже, роясь в мамином шкафу, нашел семь любовных писем, написанных незнакомым мужским почерком. Все они были адресованы «Г-же Грете Гаман». Мать призналась мне, что это «он», Гаман, непременно хотел ее так называть.

— Он был ужасный романтик, этот Гаман! — Взглянув на меня, она добавила: — Можешь мне поверить, сынок, я всегда была верна твоему отцу.

Что ж, очень жаль! Теперь я бы от души позлорадствовал и сказал бы: так ему и надо.

В то памятное воскресенье я вернулся домой очень поздно. Тети Луизы не было. Мать стояла у плиты и что-то напевала. Ее, наверное, очень удивил восторг, с которым я ее встретил. Однако она ни о чем меня не спросила. Я так и не рассказал ей, что тетя Луиза лежала рядом с отцом в ее супружеской постели. А когда я поджег одеяло, отец меня не бил. Он как будто отказался от надежды сделать человека из этого слабоумного выродка — как он иногда меня обзывал. Мама была просто счастлива, что он уже не бьет меня.

История с одеялом произошла неделю спустя, в воскресенье. Как обычно, мама завтракала в постели. Мне казалось, что выражение лица у нее должно быть какое-то особенное. Нет, она не выглядела ни огорченной, ни обиженной. Немного погодя она встала, проветрила комнату, убрала постели и, напевая песенку, отправилась на кухню.

Отец собирался с приятелями в манеж — дрессировать собак. Он хотел взять с собой и меня. Я же не мог думать без ненависти о противных рожах его соратников, изуродованных шрамами, с тонкими, свирепо сжатыми губами. Эти молодчики удовлетворяли свою низменную жажду власти, истязая красивых, сильных животных. Некоторые из них ходили в старых, залатанных и застиранных мундирах, но все они щеголяли хлыстами с изящными рукоят-

ками, такими, как у богатых дам и господ, посещающих манеж.

Нет, не хотелось мне идти с ними. Я сидел на корточках перед зеркалом в спальне и строил рожи: изображал «грусть», «решимость», «глупость», «простодушное лукавство», «гнев». «Гнев» мне не удавался. Лицо мое искажалось так нелепо, что я утрачивал всякое сходство с самим собой и скорее напоминал разъяренного клоуна. Тщетно пытаюсь принять гневный вид, я расстроился, и физиономия моя невольно помрачнела; мне стало себя очень жаль, я снова вспомнил всю ту историю и тут уж по-настоящему обозлился.

Не забуду, как я вдыхал устоявшийся запах лаванды и кожи. Вдыхал его, сопя и всхлипывая, потому что снова залился слезами. Запах этот только усилил мою злость — точно в комнату вошел лжец и клятвопреступник, осмеливающийся утверждать, что союз между моими родителями все еще существует, в то время как в моем сердце он был разрушен уже давно. Взор мой упал на пуховое одеяло. Это была самая роскошная вещь в нашем доме, и я всегда смотрел на него с благоговением и восторгом. В эту минуту я возненавидел его со всей страстью и яростью ребенка, разбивающего любимую игрушку.

У меня была такая привычка: задумываясь, я засовывал руки в карманы. Так у меня в руке оказалась петарда.

Вероятно, тогда я действительно был не в своем уме. Не долго думая, я зажег петарду и бросил ее на кровать отца. Когда игрушка, взрываясь, пустилась вскачь по зеленому пуховым холмам, я, чтобы заглушить треск, скомкал одеяло. Потом отполз обратно к зеркалу и почти бессмысленно, но со все возраставшим чувством ужаса смотрел, как грязно-серые клубы дыма поднимались к желтому абажуру, а едкий запах горелого шелка и пуха мстительно разрушал тесный союз лаванды и кожи.

II

Завтра поеду домой. А может быть, я и вправду почувствую себя там дома?

По просьбе отца советская администрация направила его в Западную Германию. Отныне уютный баварский

городок должен был стать мне родным. Но нет, этого не произошло.

— Ну и повезло же тебе, приятель, — говорил кое-кто из моих коллег. — Опорный пункт на Западе и западные марки! Заставь только своего старикана прилично тебя одеть! Он-то понимает что к чему. Не зря обосновался в Западной Германии!

Да, у него, несомненно, были свои цели, у господина полицейского вахмистра Ротдорна, в глазах которого улицы любого города лишь плац для военной муштры.

— Мальчик мой, — сказал он мне сентиментально, слащавым тоном доброго бургера (он любит порой подвизаться в такой роли), — мальчик мой, у меня слезы выступают на глазах, как вспомню о Силезии!

И в самом деле слезы выступили у него на глазах!

Вот тогда-то и произошло со мной чудо, которое случается со многими людьми, приезжающими в гости в Западную Германию. Слушая несурязицу, которой нас угощают вместе с кофе и апельсинами наши западногерманские друзья — все они принимают нас с несколько демонстративным гостеприимством, — мы внезапно проникаемся духом критики и скептицизма.

Да, да, это происходит и с такими, как я, с теми, кто, по мнению наших партийных товарищей, всячески лелеет и пестует в себе все буржуазные предрассудки и настороженность в отношении ГДР.

Почувствовав это, отец вскипел:

— Нет, постой-ка! Что ты, собственно, хочешь сказать? Разве я не жертва несправедливости?

— Несправедливости? — повторил я в раздумье. Сколько разных мыслей и воспоминаний теснилось у меня в голове!

— Так, значит, твоего отца тоже засадили на двадцать пять лет, — сказал мне однажды Стефан.

Стефан — мой друг. Он осветитель сцены, член компартии. То, что он коммунист, вполне закономерно. Отец Стефана — рабочий-текстильщик, погиб в концлагере. Мать — тоже член КПГ с 1927 года. Партия — родная стихия моего друга, он чувствует себя в ней как рыба в воде. Ни одна передовица, ни один начиненный цифрами

доклад никогда не могли ни в чем меня убедить. Но такие люди, как Стефан...

— Да, — ответил я ему, — моего отца тоже приговорили к двадцати пяти годам принудительных работ.

— А ты любил своего отца?

— Нет, но мне все же его жаль. Он с таким энтузиазмом пошел в армию и вообще... главных-то виновников отпустили на все четыре стороны, а мелкую сошку — на виселицу...

— На виселицу? Да неужели? А я-то думал, что его приговорили к двадцати пяти годам.

Я не стал дальше слушать. Зачем он издевается надо мной? Я так и сказал ему, когда он бросился мне вдогонку и схватил меня за руку.

— Прости, — проговорил Стефан спокойно. — Это уж вошло у меня в плоть и кровь. Ненависть. Но не жгучая, слепая, а, как бы это сказать... холодная, разумная...

Я заметил, что Стефан с трудом подыскивает слова. А когда он говорит о своей работе или о чем-либо другом, ясным и конкретном, мой друг выражает свои мысли образно и четко. Мне ужасно не хватает такой внутренней ясности; боюсь, что она не появится у меня никогда, даже при его помощи.

Да, все это так, но, если речь заходит о чувствах, Стефан становится просто беспомощным. Не то чтобы он не умел чувствовать, нет, чувства его удивительно сильны и чисты; говоря о своей матери, жизнерадостной работнице обувной фабрики, Стефан весь светится любовью. Таким любящим сыном я не буду никогда.

Об отце он говорит редко. Для этого ему нужно сделать над собой большое усилие. Слишком больно. Но тогда он становится сдержанным и спокойным.

Рассказывая о своем отце, умершем в концлагере от воспаления легких, об отце, гибель которого тоже занесена в список преступлений против человечности, рабочий не станет потрясать кулаками как одержимый или вопить о возмездии. Он твердо уверен, что кара настигнет виновных. И тогда все это уйдет в прошлое — и боль, и удовлетворение тем, что возмездие свершилось. Казненные преступники не стоят того, чтобы долго о них думать. Слишком много новых дел.

Все это, вероятно, и имел в виду Стефан, когда говорил о слепой и о разумной ненависти. Тогда я не стал об этом размышлять. Я слишком был поглощен своей персоной.

— Не можешь же ты требовать, чтобы мы сочувствовали преступникам, которых приговорили к двадцати пяти годам принудительных работ? — спросил он, продолжая нашу беседу.

— Моего отца ты все-таки мог бы оставить в покое, хотя бы ради меня, — ответил я угрюмо.

Смех его был горьким.

— Охотно пощадил бы тебя. Но нельзя требовать слишком многого. Из тебя еще может получиться толк. Ты вполне здраво судишь о вещах, в которых разбираешься. Но, рассуждая о том, что выше твоего понимания, ты несешь невероятную чушь. Да, именно чушь. Помолчи минутку, послушай меня! Ты пускаешь в ход все десять заповедей, произносишь громкие слова о Добре, Гуманности, Примирении, либо донимаешь меня своим нытьем насчет того, что мир, мол, все равно идет к гибели и все на свете — суeta суeta... Одним словом, болтаешь всякие глупости. И всегда твое настроение определяется тем, что ты в данное время читаешь.

— Я читаю, что хочу, — возразил я упрямо. — Не настолько уж ты эрудирован, чтобы указывать мне, что читать.

Стефан не обиделся. Своим грубым ответом я лишь оборвал нить его мыслей. Он снова заговорил, с трудом подыскивая слова:

— Да, возможно, что я в твоих глазах недостаточно образован. Ты же, по-моему, искалечен образованием. Я не хочу тебя обидеть. Но если мы необразованны, а вас образование искалечило, то иными словами это можно сказать и так: мы еще не достигли высшего развития своих сил, а вы уже обессилены.

Мне хотелось бросить его, уйти куда глаза глядят. Я не вспыльчив и не груб, но, если уж меня охватывает такой гнев, что я могу ударить человека, я убегаю. Стефан схватил меня за руку.

— Прости, — снова сказал он. — Мы поговорим об этом в другой раз. А сейчас вернемся к твоему чтению. Прочел ты хоть один роман о сопротивлении фашизму?

Я молчал. Нет, я не читал таких книг. Он торжествовал.

— Да я ведь тебя отлично знаю. Знаю все, что ты думаешь. Ты и «Юлиуса Фучика» прочел только потому, что с профессиональной точки зрения это превосходная пьеса. Ты сам так сказал, но я тогда промолчал.

— Хотелось бы все-таки знать, какое отношение это имеет к моему отцу? — прервал я его.

Вопрос мой прозвучал очень высокомерно. Это получилось невольно. Я ведь знал, что не следует так говорить. Стоит только дать Стефану получше замахнуться, и он еще более метко попадет в цель. Недаром я часто наблюдал за ним в столовой, когда он отбивался от насмешек... Но никогда еще я не слышал, чтобы речь его была такой обстоятельной и лилась так свободно.

Да, этот удар будет нанесен со страстью, и мой друг больно ранит меня. Я это чувствовал. Мне было страшно.

— Хотелось бы все-таки знать, какое отношение это имеет к моему отцу...

После этой фразы между нами возникла враждебность. В вопросах и ответах зазвучало озлобление.

Стефан. Ты мне когда-то говорил, что твой отец служил в полицейских частях, сначала в Польше, потом в Советском Союзе?

Я (*насмешливо*). Да, это верно, но ведь и ты сам был со штрафным батальоном в Польше и в России!

Стефан. Правильно. В штрафном батальоне я служил с июля 1942 года. А до этого рекрутом я проходил подготовку в учебном полку в Медзиржече.

— Где, где?

— В Медзиржече, в Подлесском округе. А не скажешь ли ты мне, где служил перед своим последним отпуском господин полицейский вахмистр Ротдорн?

В замешательстве я молчал. Мне пришло на память, что мы как-то говорили со Стефаном о труднопроизносимых названиях некоторых польских городов и в связи с этим вспоминали Медзиржече, местечко, где одно время стояла часть моего отца. Я не решался взглянуть Стефану в глаза. Он говорил с горечью и скорбью.

— Ты прекрасно знаешь, где был твой отец. Это маленький польский городок. В нем всего несколько кварталов были застроены каменными домами. Линия фронта

проходила тогда далеко на востоке. Мы представляли собой так называемый последний эшелон. Солдаты ночевали в бараках на окраине городка. В лесах, окружавших Медзиржече, скрывались отряды польских партизан, и мы постоянно находились под угрозой нападения.

На правах оккупационной власти в городе хозяйничала немецкая полиция. Несколько домов окружили колючей проволокой: там было гетто. Туда привозили евреев из Польши и из всей Европы. Своего рода пересыльный пункт. Предпоследний этап... Последним был Освенцим.

Раз в месяц людей сгоняли на привокзальную площадь. Нам незачем было спрашивать, что происходит, когда в городе начиналась беспорядочная стрельба из пистолетов и автоматов. Мы уже понимали, что это означает. Евреи тоже знали, что их ждет. Они пытались скрыться, но их разыскивали и под градом ударов выгоняли из убежищ — отхожих мест, выгребных ям, отовсюду, где может спрятаться человек. Перед вокзалом, в ожидании отправки в товарных вагонах, они часами стояли на коленях на булыжной мостовой... Сотни людей. Тех, кто падал, били до тех пор, пока они не поднимутся или не останутся недвижимы — в глубоком обмороке или уже без дыхания.

Стефан замолчал и закурил сигарету.

— Много говорить я не буду, не то тебе станет дурно, да и незачем все это расписывать. В общем в один прекрасный день меня прорвало... На наших глазах расстреляли тридцать человек. Вот как это происходило: их заставили вырыть большой ров, а потом всех, кроме одного заключенного, загнали в барак. Тому, кого оставили, велели подойти к краю рва и выстрелили в затылок. Затем вытолкнули следующего и приказали ему сбросить в ров тело убитого товарища. Через минуту и он упал мертвым, а из барака вывели очередную жертву. И так далее... Тридцать человек. Трупы засыпали слоем извести. Ров забросали землей. Аминь.

Стефан рассказал мне, в чем состояла вина евреев, которых даже не потрудились отравить в газовой камере Освенцима, а решили расстрелять здесь же на месте. Когда их отправляли на лесопилку, расположенную вблизи

города, они устроили у ворот гетто толчею. В возникшей суматохе вместе с их группой удалось выйти еще трем молодым евреям, которые бежали в леса, чтобы наладить связь с польскими партизанами.

Потрясенный увиденным, Стефан громко выражал свое возмущение и даже написал об этом матери. Его тут же перевели в штрафной батальон. Моему другу было тогда 18 лет.

Мы оба молчали.

— Часть отца стояла в Медзиржече только месяц, — сказал я, все еще стараясь удержать позиции.

Стефан был в изнеможении.

— Я не имел чести познакомиться там с твоим отцом, — ответил он тихо. — Но можешь мне поверить — все эти молодчики из полицейской части были на один лад. И уж если он там служил, то ты меня прости, но я никак не могу поверить, что позже, в Советском Союзе, он проводил время, играя в «прятки» или «кошки-мышки», да попивая чаек из самовара.

Он предложил мне сигарету.

Мне не хотелось курить. Я вспомнил свое детство, плетки, овчарок.

В этот день у меня не стало отца. Потерять отца очень больно. Ведь и в заповедях сказано: «Чти отца своего и мать свою».

III

Пришло письмо от мамы.

— Я положила его на ваш ночной столик, — прошептала моя хозяйка.

— Спасибо, — сказал я. — Наверное, вернулся отец.

— Да что вы говорите! — Быстрыми шажками фрау Цюнгель проскользнула впереди меня в мою комнату и присела на кровать. Вся поза ее выражала напряженное ожидание. Она славная женщина. Когда Лидия остается у меня на ночь, она только посмеивается. Грозит коротким толстым пальцем и вздыхает: «Ох-ох-ох!» Она любопытна и сует всюду свой нос, как кошка, пробравшаяся в кладовую. Когда я поселился у нее, отец был еще в лагере, и это придало мне в глазах фрау Цюнгель ореол мученичества.

Она сидела на моей кровати и ждала, когда я прочту ей мамино письмо. Я знал, что, выслушав его, она вскочит,

погладит меня своими пухлыми ручками, заохает или скажет сквозь слезы: «Ну и счастливчик же вы, ну и счастливчик!»

Я задумчиво рассматривал конверт.

— Фрау Цюнгель, — сказал я растерянно. — Я не могу его сейчас прочесть.

— Ах, боже мой, а я-то расселась. Конечно, надо оставить вас одного. — Улыбаясь, она засеменила к дверям, и я с облегчением разорвал конверт.

«Сыночек, — писала мама. — Я уже сообщила тебе, что скоро вернется отец. И вот неделя, как твои родители снова вместе, а тебя все нет. Неужели ты не можешь вырваться хоть на несколько дней? Ведь отцу так хочется тебя повидать. Он совсем не в восторге от того, что ты стал актером. «Это не солидная профессия», — говорит он. Пожалуйста, привези вырезки из газет, в которых тебя хвалят, а не то он еще будет упрекать меня, почему я за тобой недоглядела. Прошу тебя, ничего не говори о Лидии. Видно, не стоило и мне о ней говорить».

Слова эти, написанные ее аккуратным детским почерком, убедили меня: действительно нужно ехать. Мама это заслужила. При всей своей плаксивости она держалась долгие годы молодцом. А ведь она так тревожилась за своего дорогого муженька! Теперь мы обязаны дать ей насладиться семейным счастьем, о котором она мечтала так давно.

— Н-да, значит, мы можем считать вас выбывшим из нашей труппы, — подтрунивал надо мной директор театра, когда я попросил его об отпуске.

— Нет, господин директор, я вернусь!

— Ну да! Кто вам поверит! Вы тогда не были бы самим собой, малышом Ротдорном. Хотелось бы только поскорее узнать наверняка, чтобы произвести кое-какие изменения в труппе. Мы никогда не задерживаем тех, кто спешит попасть на тонущий корабль...

— Ох, уж эти мне партийцы! — сказал я через несколько часов Стефану, пришедшему проводить меня на вокзал. — Ну просто хоть прочь беги! Тонущий корабль!!! Неужели он думает, что такой выпренной болтовней

можно кого-то в чем-то убедить? И ведь я действительно вернусь, ты же знаешь почему.

Поезд медленно отходил от платформы. Лидия, как всегда, опоздала; она еле ковыляет на своих высоченных каблуках. Помахала платочком. «Привези мне шоколаду, милый», — закричала она, а Стефан добавил: «Не забывай нас!»

Нет, я о них не забыл, и у меня будет что им порассказать. Стефан сказал: «нас». Я был растроган. Просит, значит, помнить не только его, но и других товарищей партийцев. А знаком я только с ним. Неужели еще кому-нибудь есть до меня дело?

Ведь даже господин директор не даст себе труда поинтересоваться мной. Вот вернусь, и он обязательно придумает какую-нибудь шутку, чтобы меня подразнить.

Помнится, еще три дня назад, когда я ехал к родителям, настроение мое было совсем иным. Патрон, видимо, не так уж плохо знает людей, если сказал: «Вы не были бы самим собой, малышом Ротдорном...»

Да, я не был бы самим собой, не был бы тем сумасбродом, какой я на самом деле, если бы не думал с умилением и сочувствием о несчастном, несомненно состарившемся и сломленном человеке. Я не был бы самим собой, если бы не забыл, что еду в гости вовсе не к родному отцу, а к совершенно чужому мне человеку. Во время этой поездки малыш Ротдорн как бы видел вокруг своего чела сияние нимба, которым увенчала его невежественная и простодушная госпожа Цюнгель; ему уже рисовалась картина встречи: готовый все простить, со слезами на глазах, стоит он перед своим отцом.

Ох, какой же я дурень!!!

В действительности все произошло совсем не так. Если бы на вокзале в Р. рядом с отцом не стояла мама, я непременно прошел бы мимо. Ведь я заранее подготовился к тому, что он изменился до неузнаваемости.

Оказалось, что пережитое его не состарило, и я сразу же почувствовал, что нрав отца не был сломлен. Даже золотого зуба на верхней челюсти русские ему не выбили, отметил я с удивлением. Мама повисла у него на руке.

Ее пальцы чуть-чуть дрожали. Она слегка всплакнула, бедняжка.

— Вот и ты, сынок, — воскликнул отец. Мы обнялись: — Подрос немного. А в остальном как будто бы и не изменился.

Он раскатисто захохотал, и несколько человек с любопытством обернулись.

— Ну, полно, Эдуард, — сказала мама, нежно поглаживая рукав его нового пальто. У меня она попросила извинения: ей очень неприятно, что в первый же вечер придут гости — старые фронтовые товарищи отца, с которыми он был в лагере, и его новые коллеги. — Знаешь, телеграмма не намного опередила тебя. Ты, видимо, вырвался совершенно неожиданно. А нам уже было неудобно отменять приглашение.

Отец прервал ее.

— Довольно болтать, Грета. Пошли! Ты и дома успеешь выложить все это.

Он ткнул меня кулаком в спину и без всякого стеснения заорал:

— Гр-р-рудь вперед, голову выше! Отделение, шагом марш! — Так, непрерывно выкрикивая слова команды — «направо», «налево» — и по обыкновению оглушительно хохоча, он довел нас «в строю» до двери нашего дома. «Отделение, стой!»

И это продолжалось три дня. Квартира у родителей вполне приличная. Спальня орехового дерева с бронзовыми инкрустациями, прямо как у аристократов. Обстановка столовой состоит пока из купленного по случаю громоздкого дубового стола и шести таких же стульев. Мама уверенно смотрит в будущее:

— Мало-помалу у нас снова станет уютно. А к тому времени, когда ты, сыночек, вернешься домой, квартира будет иметь совсем другой вид.

Что мог я на это ответить? Уж не думает ли она, что я стал бы безропотно терпеть гостей моего отца?

Пьяным взглядом я обвел столовую родителей. Оглядел голые стены, украшенные географическими картами Европы и великого германского рейха. Посмотрел, прищурясь, на свисавшую с потолка голую стосвечовую лампочку, освещавшую комнату резким, неприятным светом. Презрительно скользнул взглядом по валявшимся под

столом пустым, опрокинутым бутылкам. И, наконец, впился глазами в людей, сидевших на тяжеловесных стульях. Так вот они, эти гости, приход которых было невозможно отменить, несмотря на то, что единственный сын приехал из Восточной зоны, примчался, чтобы, наконец, в порыве умиления заключить в объятия своего отца!

Прежде чем меня снова захлестнула волна горького хмеля, я успел заметить, как блеснула золотой зуб полицейского вахмистра Ротдорна. И опять погрузился в раздумье.

Вот они, эти шестеро мужчин, сидят здесь совсем по-человечески, мирно попыхивая трубками. Комната то и дело оглашается взрывами хохота. «Если бы я был глухим и никто не разъяснил бы мне, что здесь происходит, за кого бы я принял этих людей?» — спрашивал я себя с мучительным напряжением.

Ведь точно так же посиживают за столиками своих излюбленных пивных почтенные отцы семейств... Они шутят, чокаются, набивают трубки, грызут соленые сухарики, улыбаются, пытаются перекричать друг друга, пьют, кричат, пьют, хохочут, спорят...

Я вскочил и бросился через всю комнату на балкон мимо собутыльников, на физиономиях которых отразилось изумление. Не владея собой, я хлопнул дверью так сильно, что она задребезжала.

Чудесная мирная ночь. Чистое, усыпанное звездами небо.

Нет, я не глухой! Но это правда, я долго был слепым!
Стефан, друг мой!

Ах, я слишком много пил!

На следующий день я чувствовал себя разбитым, и будущее казалось мне беспросветным.

Да, я не был глухим. Собственными ушами я слышал, как вчера, через десять лет после окончания войны, они с упоением предавались воспоминаниям, вызывая из небытия призраки прошлого и все, с чем оно было связано: слова военной команды, артиллерийскую подготовку, огнеметы, ручные гранаты, автоматы. Они наперебой вспоминали «забавные» мелкие эпизоды: «Помнишь, какой дурацкий вид был у этого Ивана, которому мы разможили прикладом башку?», «А другой-то: замычал, как теленок, когда штык вонзился ему в грудь!» Обо всем этом они говорили смеясь, чокаясь, набивая трубки!

Так продолжалось три дня, вплоть до сегодняшнего утра, когда я уже был не в состоянии смущенно улыбнуться, услышав зычную команду: «Напра-во, мар-рш!», я набросился на отца с кулаками и кричал на него до тех пор, пока не потерял сознание.

Завтра я еду домой. Как приятно думать, что вечером я снова буду стоять на сцене, увижу Стефана в его неизменном сером комбинезоне, а в антракте он дружески кивнет мне головой... Не забыть бы привезти Лидии шоколаду.

Да, это правда: порой я, как говорится, мудрю. Правда, что я собрался было перейти в католичество, после того как добродушные старые монахини три недели ухаживали за мной, когда я лежал в больнице. Иногда я чувствую себя экзистенциалистом. Я прочел три экзистенциалистские пьесы и нахожу их великолепными. Полутона, таинственные миры, сумрак... Хотелось бы сыграть что-нибудь в таком роде. (Надо будет поговорить со Стефаном.)

Правда и то, что я подчас не знаю толком, чего, собственно, хочу. Все еще такое неустоявшееся, такое сырое. Ведь никому не охота ошибиться в выборе, верно? А я артист, и мне не к чему особенно торопиться с выбором мировоззрения.

Я не мог бы добровольно поступить на службу в народную полицию. Не мог бы беседовать ни с одним рабочим, кроме Стефана. А когда в трамвае посмеиваются над моими длинными волосами, я воспринимаю это как посягательство на мою личную свободу. Ужасно неприятно!

Сегодня я грохнулся в обморок, как истеричная дамочка. До чего же нелепо бросаться с кулаками на отца!

И все-таки теперь я отлично знаю, чего хочу. Я падаю в обморок только от ярости, не от слабости. Такой отец мне не нужен, я подыщу себе другого. И, может быть, я не буду больше злиться, когда наш кадровик похлопает меня по плечу и добродушно скажет:

— Эх, парень, все равно придешь к нам.

Может быть, я даже радостно улыбнусь ему в ответ.

ОДНОПОЛЧАНЕ

Это случилось в июне 1941 года под Мемелем; в тот день особенно повезло трем солдатам: обер-ефрейтору Карлу В. и старшим стрелкам Йозефу Л. и Томасу П. Каждому из них удалось во время учебных стрельб выбить тридцать пять очков из тридцати шести возможных. За последние годы такой результат был лучшим не только в батальоне, но и во всей дивизии. Всем троим командир батальона майор фон дер Заале тут же на стрельбище объявил благодарность. Обычно после таких результатов удачливым стрелкам предоставлялся отпуск; но вот уже больше месяца как отпуска были запрещены. И этих стрелков освободили от службы всего на три дня. Им разрешили уйти, не дожидаясь конца учений.

Карл, Йозеф и Томас быстро договорились о том, как им провести свободное время. Они решили пойти в Либиакен, ближайшую деревню. До нее часа два ходу, но там можно, если повезет, найти девушку, а если не повезет, утешиться в каком-нибудь ресторанчике. В Либиакене имелся такой ресторанчик, который один стоит двухчасовой ходьбы. В месте расположения батальона не было ни одного подобного заведения. Там были только луга, пересеченные ручьями и постепенно переходившие в болото. Местами на равнине возвышались гряды небольших холмов, похожих на дюны, одни их склоны были пологи, другие падали круто, отвесно и даже с выгибом, как морская волна. Холмы эти поросли редким лесом: березой, ольхой и соснами, а под негустыми кронами теснились полки — солдат к солдату, палатка к палатке, оружие к оружию. Казалось, все это тоже неотъемлемая часть ландшафта.

— Прибалтика, — сказал Карл. — Такой она была всегда.

Итак, они отправились в Либакен. Они шли свободно и непринужденно, сняв фуражки, расстегнув воротники и засучив рукава, винтовки висели у них на груди. Солдаты громко пели. Земля расстилалась перед ними, открытая, буйно поросшая сочной, мясистой зеленью, в которой ослепительно, по-майски, желтели болотные цветы, и среди этой зелени и желтизны ярко блестело серебро струящихся или стоячих вод. Стеклянно-голубое небо выгнулось громадным сводом, и там, где оно касалось земли, стихии сливались в мягкое, белесое марево, в котором стирались очертания всех предметов.

Вдруг, испуганная шагами путников, в небо взлетела какая-то диковинная птица. Она походила на цаплю, только перья у нее были иссиня-черные, а грудь покрыта красными ромбами. Птица плавно парила в воздухе, потом взвилась еще выше и остановилась, хлопая крыльями, как зловещий черный знак на безоблачном небе.

У солдат тотчас появилось желание подстрелить эту птицу. Патроны у них были, — торопясь с полигона, они вопреки правилам не сдали каптенармусу оставшиеся, — по три у каждого. Но здесь, на границе, стрелять без приказа было строжайше запрещено. За самовольную стрельбу их могли предать военно-полевому суду. Солдаты колебались: они страшались наказания, но им очень хотелось подстрелить птицу. Карл предостерег своих товарищей; Иозеф, напротив, настаивал на том, что майор фон дер Заале — страстный коллекционер всяких редкостных тварей и что он не только не поставит им в вину стрельбу без разрешения, но и похвалит, если они принесут ему эту черно-красную цаплю. Однако споры слишком затянулись. Птица, словно почуяв грозящую ей смертельную опасность, стремглав полетела прочь, вытянув шею, и, похожая на стрелу, оперенную двумя огромными крыльями, скрылась из глаз. Раздосадованные солдаты опустили винтовки. Но им посчастливилось во второй раз за этот день: цапля появилась снова, и они следили за ней, охваченные охотничьей лихорадкой. Птица была еще очень высоко. Но вот она медленно начала опускаться, издала пронзительный крик и, захлопав крыльями, метнулась в прибрежные заросли ивняка. Ее черные перья поблескивали в лучах солнца среди застывшей неподвижной листвы. Птица посмотрела на солдат, потом повернулась к воде, чтобы напиться. Иозеф и Карл выстрелили одновременно, а Томас

только хотел нажать на спуск, как отчаянный вопль, заглушивший грохот выстрелов, словно парализовал его. Все трое стояли, будто окаменев, их лица посерели. Они ждали, затаив дыхание, но больше ничего не услышали. Кругом царила тишина, почти такая же осязаемая, как тугой ветер, дующий с воды. Винтовка выскользнула из рук Иозефа и упала в траву, чуть звякнув. Тогда они пришли в себя. Они поняли, что попали в человека, и кинулись спасать его. Но, когда они подбежали к ивняку, было уже поздно.

Они увидели растерзанную цаплю, а рядом с ней лежала девушка, мертвая. Среди жесткой осоки, за кустом, возле ручья, лежала она на спине, распластавшись, широко раскинув руки. Из ее груди била кровь тонкой, прерывистой струйкой.

Иозеф и Томас, охваченные ужасом, смотрели на нее и тихонько, без крика, стонали. Они впервые увидели, как человек истекает кровью, и были не в силах это вынести. Потом отвернулись и заметили цаплю. Они увидели, что трава тоже покраснела от крови.

— Боже мой, — пробормотал, содрогнувшись от страха, Карл, — боже мой, ведь это дочка майора.

Он склонился над девушкой, но не коснулся ее. Он прислушался, не дышит ли она, и заглянул ей в глаза.

— Все... — сказал он.

— Я не стрелял. Я — нет... — пролепетал Томас.

Нестерпимый ужас охватил его. Томас хотел убежать, но не мог. Он стоял, словно вкопанный, словно окаменевший, чувствуя, что бессилен и беззащитен, что отныне неразрывно связан с этим убийством, и, так же как цветок или лист неудержимо поворачивается к свету, так и его неудержимо тянуло обернуться и посмотреть на убитую. Он взглянул на нее. Ему показалось, будто он попал в совершенно другой мир; на какой-то миг он перестал понимать, где он и что произошло.

Лицо мертвой перед ним расплывалось; белое лицо, белая грудь, белые руки — все расплылось, он видел лишь светлое пятно, словно отсвет луны на темном фоне, очень темной, густо-зеленой сочной травы, над которой навис ужас смерти. Перед его глазами выступила надпись: «Мы родились, чтобы умереть за Германию». Тут мысли Томаса унеслись далеко-далеко в прошлое: слова эти были написаны заостренными черными буквами на воротах

лагеря гитлеровской молодежи, где Томас проводил лето, последнее лето перед призывом в армию.

Эти черные слова выделялись особенно резко на белом песке за воротами, на бескрайнем песке, простирающемся до моря, шум которого был слышен в лагере. Когда он читал эти слова, то вдумывался в них так же мало, как и его товарищи. Надпись была сама по себе, — просто слова, пьянящие, громкие. А смерть — кто знал ее, кто думал о ней, кто? Но однажды ребятам пришлось доказать свою храбрость. Им завязали глаза и привели на холм, высоты которого они не знали. Югендфюрер поставил их на край обрыва и сказал: «Прыгайте вниз! — и добавил: — Это опасно, холм высокий, а внизу камни. Можно разбиться и даже сломать себе шею». Некоторые отказались прыгать, и их с насмешками отправили обратно. Но из тех, кто остался, ни один не спросил, зачем нужен этот безумный прыжок и почему это вопрос чести.

Тогда Томас вспомнил о надписи на воротах лагеря и сказал себе: «Теперь уж не до шуток». Он услышал шум моря и прыгнул. В этот миг Томас, как и каждый, кто прыгал, казался, наверное, очень смешным, так как югендфюреры всякий раз раскатисто хохотали. И сейчас Томас снова вспомнил все это: необъяснимый страх перед тем, что его ожидало, дыхание смерти, внезапно вторгшейся в жизнь, прыжок, падение, которое казалось бесконечным и сопровождалось взрывами смеха.

Вся его жизнь, все эти восемнадцать лет промелькнули перед глазами Томаса, восемнадцать лет, и самыми неизгладимыми событиями за эти годы были тот прыжок и три выстрела в мишень сегодня на стрельбище. И вот теперь с высоты этих лет Томас рухнул в неизвестность, в темноту. Он упал на самое дно, тело его содрогнулось, он открыл глаза — рядом лежала она, убитая, мертвая. Томас задрожал и пустился было бежать.

Но Иозеф схватил его за плечо.

— Ты куда? — заорал на него Иозеф.

Томас молчал. Ему хотелось только одного: убежать, далеко-далеко отсюда. Но об этом незачем было говорить Иозефу. Тут ему пришло кое-что на ум. Он пролепетал:

— Да я хотел принести лопату... надо же ее похоронить...

— Так, так, — сказал Иозеф. — Принести лопату... Ишь ты какой прыткий! — Он крепче вцепился в воротник.

своего товарища, а левой рукой схватился за штык. Томас не видел этого, он только услышал лязг металла.

— Ты что? — беззвучно спросил он.

К нему подошел Карл.

— Продать нас хотел? — спросил он.

Только теперь Томас все понял. Резким движением он вырвался и тоже замахнулся. Но Иозеф уже держался за штык, а Карл поднял винтовку.

Томас опустил руку.

— Вы с ума сошли, — сказал он.

Они не отвечали и молча следили друг за другом.

— Оставьте меня в покое! — проговорил Томас.

Они не отвечали. Томас пошатнулся. В глазах у него потемнело. Ему сделалось дурно.

— Это было бы тебе на руку, — услышал он голос Иозефа. — Он хочет, чтобы его оставили в покое! Он не стрелял. Хочет удрать. Хочет остаться чистеньким. А нас продать. Предатель!

Томас собрался с силами.

— Я никого не хочу предавать, — пролепетал он.

— Пусть он тоже выстрелит. Тогда и он будет соучастником, — сказал Иозеф Карлу.

— То есть как это? — спросил Карл.

— Пусть тоже выстрелит, как мы.

— В нее?

— Да, — зарычал Иозеф, — да!

— Нет, нет, только не это, — в ужасе простонал Томас.

Карл тоже возразил:

— К чему лишний шум, — сказал он.

Он поднял винтовку и прицелился Томасу в грудь.

Томас не двинулся с места. Колени у него снова оцепенели. Почувствовав прикосновение металла к своему телу, он твердо взглянул в глаза Карлу. Какое-то мгновение стояли они так, друг против друга. Томас не сморгнул. Наконец Карл опустил винтовку. Они все еще впились друг в друга глазами.

— Запомни, — сказал Карл, — если ты нас предашь, тогда тебе крышка. Теперь нам нечего бояться. Все или ничего.

— Я ведь не предатель, ребята! — сказал Томас.

— Нет, — возразил Иозеф, — этого мало. Повторяй, Томас: «Если я предаю вас, ребята, тогда мне смерть!» Повтори!

— Если я предам вас, тогда мне смерть! — без колебания повторил Томас.

— Порядок, — сказал Карл.

Только теперь он отвел взгляд от Томаса. Но они опять стояли в нерешительности, как и раньше. Что делать с убитой? Каждую минуту мог кто-нибудь пройти мимо — солдат, офицер, наконец, крестьянин. Ведь эта дорога вела в Либиакен, в ресторанчик. Им показалось, что они уже слышат издалека голоса, смутный говор.

— Надо унести ее отсюда подальше, как можно дальше, к самой границе, — прошептал Карл. — Надо утупить ее в трясине. Беритесь!

Он сказал «Беритесь!», словно отдал команду. А сам не сдвинулся с места. Иозеф схватил убитую за руки.

— Берись, Томас, возьми ее за ноги! — скомандовал он.

Томас послушно нагнулся к убитой, но едва он к ней прикоснулся, как тут же отдернул руку, словно его ударило электрическим током. Он снова попытался взять ее за ноги, снова отскочил и уже не мог больше на нее смотреть. Томас отвернулся, судорога пробежала по всему его телу, он зарыдал, как ребенок, и упал на траву.

Иозеф дал ему пинка.

— Вставай, сопляк, трус!

Томас, рыдая, перевернулся на бок. Карл приподнял его, поставил на ноги и сказал:

— А ты лучше засунь в рот палец.

Томас отчаянно замотал головой и чуть не задохнулся от спазмы. Карл еще раз повернул его на бок, и Томаса вырвало.

— Господи, ну и сопляк! И что за люди тебя вырастили, видно, тряпки какие-то, — сказал Иозеф.

И вдруг его бросило в дрожь. У него задрожали руки, губы, все тело. Он насторожился, обернулся и прошептал: «Послушайте!»

Да, это были голоса, они приближались.

— Пошли, пошли, — завопил Иозеф.

Одним рывком он перебросил труп через плечо и бежал; Карл последовал за ним, таща за собой Томаса.

Они бежали вдоль берега по направлению к границе. Они бежали, пока не увидели солдат, патрулировавших у границы, крошечных, как муравьи; черные точки, ползающие на горизонте в белесом мареве. Они не знали, были это немцы или русские. Теперь они шли пригнув-

шись. Иозеф кряхтел. Он опустил труп на землю и поволок его за собой. Луг был болотистый; земля кое-где пружинила, как резина, и вода булькала под ногами. Они подошли к дренажной канаве. Вдруг раздался выстрел. Они не знали, в кого стреляют — в них или в кого другого, в зверя, в картонную мишень или просто в воздух. И все же они так перепугались, что упали в окоп. Убитая скатилась вслед за ними.

И вот они присели в затхлой стоячей воде, едва покрывавшей ноздреватую почву. Лениво всплывали большие пузыри и застревали под водяной пленкой. Пахло гниющими травами. Они руками вырыли яму, втиснули туда убитую и прикрыли землей, мохом и тростником. Они трудились в поте лица. Потом стали искать камни, чтобы придавить легкий могильный холмик. Они нашли только один пограничный камень, старый, источенный ветром камень с непонятной для них надписью и какими-то странными знаками, смысл которых был для них закрыт. Этим камнем они и придавили могилу. Потом, все еще пригибаясь к земле, побежали обратно к ручью, чтобы вымыться. Мылись долго. Сидели у ручья, пока не наступил вечер.

Карл давал своим товарищам полезные советы. Он говорил:

— Я-то знаю, как оно бывает и что нужно делать. В первый раз это не легко. Я-то знаю!

Молодые солдаты чуть не с благоговением прислушивались к каждому его слову.

Карл сказал:

— Молчите. Что бы ни случилось, держите язык за зубами. Уж я найду выход. Не вступайте ни в какие разговоры. Ложитесь спать. Первая ночь будет трудной, потом стертится. Ко всему привыкаешь.

Томас и Иозеф слушали его молча. Томас думал: «А как же отец, ее отец?» Но он не осмелился сказать это вслух. Карл продолжал:

— Если мы будем молчать, никто ничего не узнает. Положитесь на меня! Я человек бывалый!

А они смотрели на него, как на отца родного. Карл нашел в себе силы усмехнуться.

— Бывает и хуже, — сказал он.

— Бывает и хуже, — задумчиво повторил Иозеф.

Когда наступил вечер, они отправились в лагерь. Было еще очень светло, но они не могли больше ждать, их тянуло к людям. Каждый из них подумал, не взять ли с собой черную цаплю. Потом, когда они отошли уже довольно далеко, Карл сообразил, что убитая цапля может послужить уликой. Они побежали обратно и спрятали ее в ивняке. Там уж ее никто не найдет. Цапля сгниет там без пользы. А с ней исчезнет и порода птиц, оставшаяся людям неизвестной. Только они, три солдата, видели последний экземпляр, но для них эта разновидность цапель не представляла никакой ценности, разве что было жалко двух патронов, которые они на нее истратили.

— Главное, ничего не упустить, — сказал Карл. — В таких случаях очень важно хорошенько пораскинуть мозгами, — повторил он на обратном пути. Иозеф и Томас молча кивнули головой. — Теперь вы должны взвешивать каждое свое слово, — в третий раз напомнил им Карл.

— Да, да, да! — вне себя закричал Иозеф. — А ну-ка прекрати!

— Нервы, — буркнул Карл.

Лагерь встретил их шумом и песнями. Пылали костры. Оказывается, выдали спецпаек водки и рома. Они направились к походной кухне, чтобы получить свою порцию. Дежурный по кухне унтер-офицер сказал, что майор фон дер Заале за выдающиеся успехи в стрельбе приказал выдать им по двойной порции.

— Что он приказал? — воскликнул, задрожав, Иозеф.

— Да он пьян еще с обеда, — сказал Карл и отвел Иозефа в сторону.

Тогда Иозеф вспомнил, что он ведь стрелял и в мишень.

— Все в порядке, — отрезал он.

Они получили водку и ром, на каждого по пол-литра. Подошли однополчане, чтобы вместе отпраздновать их успех. Стрелки не могли не пригласить своих товарищей. Вместе со всеми сидели они у костра и молча пили, уставившись перед собой невидящим взглядом. Первым поднялся Томас. Он сказал, что у него разболелась голова и он хочет спать. Томас ушел. Иозеф и Карл тотчас же последовали за ним. Они спали в низком деревянном бараке без перегородок, где размещалось человек сорок. В бараке было еще пусто, они улеглись первыми. Карл пожелал приятелям спокойной ночи.

ах... он вздрогнул и проснулся окончательно. Спящие солдаты вокруг него храпели и стонали. Один говорил во сне, он все повторял: «Иди отсюда, прохвост, иди отсюда, прохвост». Томас был мокрый, как мышь. Тыльной стороной руки он вытер крупные капли пота на лбу и на груди. И снова увидел перед собой убитую, залитую кровью. Он закрыл руками глаза, как делают дети, когда они что-нибудь натворили и ждут наказания. Томас тяжело ворочался, сухое дерево койки трещало и скрипело. Вдруг он замер. Он услышал голос Иозефа, который тихо окликнул его.

— Томас?

Он не ответил. Он даже вздохнуть боялся. Все в нем, мысли и чувства, стало одним желанием — исчезнуть. Ему хотелось лежать на месте убитой, в болоте, в тине, с камнем на груди.

«Будь у меня револьвер, я бы знал, что делать», — подумал он. Задал себе вопрос и сам на него ответил: «Нет, из винтовки не выйдет, я не смогу нажать пальцем ноги спусковой крючок, и штыком не могу, и повеситься тоже. Яду бы мне, один глоток, чтобы заснуть навеки».

Он чувствовал, что Иозеф наблюдает за ним. Он смотрел в темноту. «Мне нужно сказать, необходимо все рассказать майору, иначе я сойду с ума», — думал он с отчаянием и решимостью. Томас неслышно слез с кровати. Без всякого шума. Храп спящих заглушал его шаги. И все же он заметил, что кто-то крадется за ним. Он направился к уборной и, сделав несколько шагов, быстро обернулся. Он увидел, как Иозеф отскочил в тень барака. Томас притворился, будто ничего не заметил, и пошел дальше.

Стало очень свежо, ветер дул с моря, упорный, холодный. Свежесть и соленый запах ветра успокаивали Томаса, так же успокоительно было смотреть на мир, который ничуть не изменился: ночное небо, словно вылепленное из черного воска, и месяц, похожий на кусочек сыра, силуэты барачков, палаток и деревьев, редкий лес на холмах и ветер. Под ногами все еще была земля, мир был цел и невредим, жизнь продолжалась, ничего не произошло.

Вдруг рядом возникла чья-то тень: комендант лагеря гитлеровской молодежи.

«Ты слишком мягок, парень, тверже надо быть, тверже», — услышал Томас его голос. Комендант говорил это же и тогда, когда ему предстояло сделать «прыжок мужества». Томас вспомнил, что откос, с которого они

прыгали, был не высок, меньше двух метров, и никто из них при прыжке даже пальца не вывихнул. Может быть, и сейчас так; может быть, в самом деле нужно выдержать только одну эту ночь! Рядом снова появилась тень: Томас, как тогда, во время последнего построения под знаменем, сказал: «Наша честь — это верность! Горе тому, кто предаст своих соплеменников! Тот будет прокляг своим народом! Быть немцем — значит быть верным своим соплеменникам до гробовой доски. В этом наше историческое величие! Поэтому мы избранный народ, мы — хранители верности нибелунгов!»

Потом Томас вместе с товарищами принес присягу знамени, фюреру, чести и верности. Когда он стал солдатом, он еще раз принял присягу, а сегодня он сказал: «Убейте меня, если я вас предам!» И что же? Чего он хотел? Куда шел? Кто он? Разве он не Иуда? Он услышал, как сзади него прошмыгнул Иозеф. Он не обернулся. «Возьми себя в руки!» — приказал он себе. Он заставил себя восстановить в памяти все случившееся. Увидел лунный свет, бледный свет у своих ног, блестящие струйки песка. Он увидел ее, она лежала у его ног. Он обратился к ней. «Тебя никто не сможет оживить, никто! — сказал он. — Я не Христос и не могу тебе сказать: «Встань и иди!» Я признался бы добровольно, пошел бы в тюрьму, умер бы, да, умер бы, если бы мог этим воскресить тебя. Но я не могу». Он повторил: «Я не могу!» — И в третий раз сказал: «Я же не могу!»

Томас начал дышать ровнее. Только лунный свет у его ног стал ярче. «Нужно все спокойно обдумать, — сказал он себе. — Что мне делать? Если я скажу хоть слово, это будет стоить головы обоим моим товарищам. Девушка от этого не оживет. Если я ничего не скажу, то два моих товарища, два честных парня могут уцелеть, об этом тоже нельзя забывать. Так или иначе мертвая останется мертвой. Что пользы, если двумя мертвцами станет больше? Но отец, ее отец?»

Томаса охватило отчаяние. Именно в этом он чувствовал что-то сводившее на нет все его оправдания: отец, ее отец, охваченный горем, не будет знать, что и думать. «Ну и что же, — сказал он себе. — Ну и что же. Ведь дело идет о жизни двух товарищей. Ведь если он узнает, они погибнут. Это еще хуже!» Томас сказал вслух: «Все. Ничего не было. Кончено».

Он глубоко вздохнул и посмотрел на небо: сколько же там звезд! Ему казалось, что раньше он никогда не видел таких звезд — серебристых, холодных и прекрасных, лучистых и равнодушных ко всему на свете, будь то сон или кровь, рождение или убийство. Он смотрел с облегчением на этот холодный свет. Он решился. Томас не был человеком действия, редко решался на что-нибудь, и проходило немало времени, пока он раздумывал. Первым большим решением, которое он принял, был тот прыжок. Это было вторым. Оно казалось ему значительнее.

Теперь он чувствовал себя уверенно и спокойно. Он знал, что такие сновидения больше не будут преследовать его. Конечно, Карл прав, тяжела только первая ночь. То, что он пережил — своего рода крещение огнем. Может быть, даже хорошо, что он уже сейчас принял это крещение огнем, перед войной, перед боями, в которых ему предстоит когда-нибудь участвовать.

Вдруг он почувствовал отвращение к самому себе: каким трусливым, каким жалким было его поведение, каким низким! Испытания он не выдержал, жившая в его душе подлость взяла верх. Что он сделал? Тайком, крадучись, выбрался из барака, чтобы выдать товарищей, — вот, что он сделал, а теперь они следят за ним, и он юркнул в уборную, как паршивый мальчишка, который хочет спрятаться от своего учителя. И вот он стоит здесь за дощатой стенкой, у выгребной ямы, вокруг него жужжат навозные мухи, а позади в тени караулят товарищи, чтобы проверить, пошел ли он действительно только в уборную или намеревался подвести их под расстрел.

Томас решительно повернулся и быстро зашагал обратно к тому месту, где, как он полагал, находились его приятели. Иозеф шел к нему навстречу. Делая вид, что Томас его совершенно не интересуется, он спешил вперед мелкими, быстрыми шажками, желая прошмыгнуть мимо. Томас окликнул его:

— Подожди!

Иозеф удивленно остановился. Томас помчался в барак. Он вернулся обратно, держа в руке подсумок.

— Что это значит? Зачем тебе подсумок? — быстро спросил Иозеф.

— Не хочу, чтобы у меня было больше шансов, чем у вас, — сказал Томас.

Он взял Иозефа за руку и сказал:

— Пошли!

Иозеф покорно последовал за ним. Когда они шли, Томас говорил:

— Не хочу, чтобы у меня было больше шансов, чем у вас. Ты сказал, что я должен в нее выстрелить, чтобы тоже стать соучастником, помнишь? Теперь я хочу стать им: я выброшу один патрон в уборную, будто я тоже стрелял. У каждого не хватает одного патрона, значит стреляли все трое.

Он сдавленно крикнул:

— Ваша подозрительность нестерпима! Так нельзя жить! Я не могу так жить дальше.

— Нет, — поспешно сказал Иозеф, голос его звучал хрипло. — Нет, не надо, и ты этого не сделаешь.

— Но я хочу, — возразил Томас.

— Томас... — начал Иозеф, он говорил, запинаясь, с трудом ворочая языком, — я должен тебе кое-что сказать. Я свинья. Я думал, ты предашь нас, да, я думал, и тогда я...

Томас раскрыл подсумок. Там было только два патрона, вместо трех. Он сжал обойму в кулак. Две остроконечные свинцовые пули торчали из сжатого кулака, словно кастет. Иозеф отскочил назад и, защищаясь, прикрыл рукой лоб. Они бросились бы друг на друга, но тут подошел Карл.

Иозеф быстро обернулся к Карлу. Он сказал:

— Все в порядке. Томас выбросил один патрон в уборную. Он парень порядочный. Теперь мы все в одинаковом положении.

— Так ли? — спросил Карл.

Он смерил Иозефа взглядом. Иозеф попытался рассмеяться, но смех этот был вымученный. Вдруг он сказал: — Одну минутку! — и хотел убежать.

Карл преградил ему дорогу.

— Как бы не так, — сказал он, — отдай патрон, который ты украл у Томаса.

Иозеф вытащил из кармана патрон, Карл свистнул сквэзь зубы.

— А что бы я с ним сделал, Карл? — пролепетал Иозеф. — Я хотел ведь выбросить его в уборную!

— Или положить в свой подсумок? Тогда ты смог бы оправдаться? Да?

— Что за глупости, — тихо сказал Иозеф. Он густо покраснел. Карл взял у него из рук патрон, зашел

в уборную и бросил патрон в яму. Было слышно, как патрон упал, тихонько булькнув.

Томас облегченно вздохнул. Он протянул обоим руку и сказал:

— Теперь недоверию конец, ребята! Теперь наши шансы равны. Давайте дадим клятву. Тот, кто хоть помыслит о том, чтобы выдать другого, будет объявлен вне закона.

Они соединили руки.

— Это похоже на клятву в Рютли, — заметил Карл. Томас рассмеялся. Солдат из барака медленно прошел мимо.

— Что это у вас? — спросил он сонным голосом.

Они быстро опустили руки.

— Мы основали союз снайперов, — сказал Карл.

— Ну, тогда выпейте по такому случаю, — сказал солдат и пошел дальше.

— Он прав, — заметил Карл, — теперь мы как следует выпьем.

— Где? — спросил Томас.

— В банном бараке, — сказал Иозеф.

— Да, — подтвердил Карл, — в банном бараке, там никто нам не помешает.

Карл и Томас пошли за бутылками.

Бутылки Иозефа остались как неприкосновенный запас. Когда Томас и Карл скрылись, Иозеф помчался в уборную и заглянул в яму. Нет, это было невозможно, яма слишком полна.

— Вы и вправду с ума сошли, — сказал тот, кто сидел в уборной.

Иозеф быстро вышел. Он подумал: «Такими дурацкими выходками мы выдадим себя сегодня же ночью». Потом он подумал о своем плане, как умно он его разработал и как глупо сам провалил. Зачем он отдал Карлу патрон? Он мог бы сказать, что выбросил его на помойку возле кухни. А теперь возможность упущена, теперь он замешан в это дело! Он поплелся к банному бараку, расстроенный, готовый вот-вот зареветь с досады. Если бы здесь был его отец, его дорогой отец, тот пришел бы ему на помощь. Отец всегда знал, что надо сделать. Он всегда был прав. Иозеф вспомнил, как отец каждое утро после мытья вставлял в рот протез, говоря при этом: «Они выбили мне зубы потому, что я был одним из первых, кто пошел

за фюрером!» Иозеф услышал рядом голос отца: «Против нас были все, мой мальчик. Но мы оказались правы. Теперь у нас в руках власть, и мы останемся у власти еще тысячу лет, навеки. История всегда оправдывает того, кому суждено быть правым. Что бы ты ни сделал, мой мальчик, помни одно: власть — это право. Сильный имеет право на все, такова глубочайшая мудрость жизни!»

«Отец, конечно, мне поможет», — думал Иозеф. Его отец был влиятельным лицом в ближайшем окружении Гиммлера. Лоб Иозефа разгладился. «Завтра же рано утром я напишу ему, нет, лучше дам телеграмму», — думал Иозеф. Он услышал шаги и звяканье бутылок.

Карл и Томас вернулись с бутылками в руках, перекинув одеяла через плечо. Они устроились в углу. Бутылка пошла вкруговую. Они пили молча. Из неплотно закрытого крана капала вода. Каждые десять секунд падала капля, шесть раз в минуту. Примерно после каждого четвертого вдоха полукруглая капля появлялась на конце крана, тяжелела, набухала; приняв грушевидную форму, она отрывалась и с глухим стуком падала в жестяной водосток. В промежутках между падениями капель было тихо. Солдаты пили прямо из бутылок. Упала капля. Карл жадно приложился к горлышку. «Ну-ка», — сказал Иозеф. Упала капля. Томас приложил бутылку к губам. За окном показалась чья-то тень. Тень проскользнула мимо. Упала капля. Томас все еще не отрывался от бутылки. Карл зашаркал ногами. Они уже не слышали, как упала очередная капля. Они напряженно прислушивались. Упала капля. Они молчали. Томас отставил бутылку и глубоко вздохнул. Потом он решился задать вопрос, который его мучил. Он спросил:

— Карл, ты хоть одного...

Карл вздрогнул:

— Что одного?

— Убил хоть одного человека?

Иозеф рассмеялся:

— Конечно, Карл убивал.

— Я ведь фрейкоровец,¹ так как ты думаешь? — сказал Карл. — Участвовал в ликвидации коммуны в Берлине. А потом был в Польше.

¹ Фрейкоровцы — члены белогвардейских «добровольческих отрядов», организованных военным министром социал-демократом Носке для подавления Ноябрьской революции 1918 года в Германии.

Он сделал глоток.

— Кто никого не угробил, тот еще не настоящий парень, — сказал он.

— Расскажи-ка об этом, — попросил Иозеф.

— Нет, не то, — сказал Томас, — я имею в виду не в бою, это совсем другое дело. Это неизбежно. И не коммунию, ведь это тоже, собственно говоря, не люди. Я говорю о том, ну, как сегодня...

— Послушай-ка, — дружелюбно начал Карл, — сегодня мы убили птицу, понимаешь? Я не знаю, о чем ты говоришь. Мы убили птицу. Она упала в воду и утонула. Понимаешь?

— Да, — сказал Томас, — понимаю. Мы убили птицу!

— Ну и что же? — отозвался Иозеф. — При известных обстоятельствах птица может быть ценнее человека. Что таксе человек?

Карл, позевывая, громко рыгнул.

— Что такое человек? — повторил Иозеф, ни к кому не обращаясь и продолжая развивать свои мысли. — Что такое человек? Человек — это дрянь. Кусок металла в лоб, чуточку газа в легкие или дырку в артерии, и через несколько дней он уже только падаль.

— Перестань пороть чушь, — сказал Карл. Он разозлился. — Мы-то живы, — жестко сказал он.

— Да, мы живем, мы защищаемся и не сдаемся! — сказал Иозеф.

— Правильно! — подтвердил Карл; он снова удовлетворенно рассмеялся. Потом запел вполголоса: — Так мы живем, так мы живем, и так проходят дни... — и отбивал костяшками пальцев такт на железном желобе.

— Заткни глотку, кто-то идет! — буркнул Иозеф.

Карл прекратил пение. Они прислушались, но было тихо, только чуть доносился однообразный шум ветра да падали капли. Томас схватил бутылку и жадно глотнул. Закурил сигарету. В дрожащем огоньке спички они увидели его лицо, зеленое, перекошенное, глаза, налившись кровью. Томас бросил спичку, она упала, еще тлея, на одеяло и прожгла в нем круглую дырочку; поднялся едкий чад. Томас этого уже не замечал. Он затянулся сигаретой. Сигарета не курилась, она только обуглилась. Он хотел ее выплюнуть, но сигарета прилипла и повисла на клейкой от слюны губе. Он подобрал губу, втянул сига-

рету в рот, и она размокла. Томас ощутил на языке отвратительный, горький вкус табака. Теперь он почувствовал и дым, тяжелый, едкий. Упала капля. Звук ее падения показался Томасу ударом литавр. Перед глазами поплыли круги, черные и синие, они сжимались вокруг него, давили. Упала капля. Томас вскрикнул; он рывком вскочил с места и начал кричать. Крики вырывались из него, подобно водопаду. Иозеф вскочил и ударил Томаса. Он попал ему в висок всей тяжестью своего увесистого, крепкого кулака. Томас повалился наземь, скатился к деревянной решетке, ударился затылком о сточную трубу и остался лежать.

— Он спятил, — сказал Карл.

— Что нам с ним делать? — спросил Иозеф.

— Отнесем в барак, — ответил Карл.

— Может быть, позднее. — предложил Иозеф.

— Ах, вот что, — сказал Карл.

— Этот не выдержит! — заметил Иозеф.

— Обязан, — заявил Карл.

— Мы же не можем вечно следить за ним, — сказал Иозеф.

— А что нам делать? — спросил Карл.

— Он сам сказал!

— Да, сказал.

— Значит...

— Но как?

— Мы вытащим его потом отсюда, — сказал Иозеф, — положим его так, словно он покончил с собой. Или еще лучше: мы бросим его в канаву. Каждый решит, что он туда упал спьяну и захлебнулся. Теперь мы все можем с ним сделать. Пошли!

— Пошли, — сказал Карл.

Они схватили Томаса, подняли его и потащили к двери. Иозеф только хотел взяться за ручку, как дверь распахнулась, из тьмы ворвался сноп света и ослепил их. Они ничего не могли разглядеть.

— Что это у вас тут, уважаемые господа? — спросил чей-то голос.

Сердце у них замерло. Голос был им знаком. Это был голос майора фон дер Заале.

— Что это у вас? — повторил майор. — Труп? Покажите. Действительно, труп. Мертвецки пьян. Играете здесь в войну, а?

Карл отпустил ноги Томаса, глупо засмеялся и отдал честь. Приложив руку к виску, смеясь, прошел мимо майора преувеличенно торжественным парадным шагом и проскользнул в дверь, стараясь не покачнуться, все еще держа руку у виска. Его задержала команда «стой!»

Он остановился.

— Кру-гом!

Карл повернулся кругом, все еще держа руку у виска.

— Нализался?

— Так точно, господин майор, нализался!

— Вот как...

Вдруг майор расхохотался. Он хохотал оглушительно, до упаду, прислонившись к стене и трясясь от смеха. Карл тоже засмеялся, смеялся и Иозеф.

— Дружище, вы самая большая скотина, которую я когда-либо видел, — хрюкал майор. — Вы скотина, понятно?

— Так точно, я скотина!

— Скотина. Все вы скоты!

Карл и Иозеф подтвердили: «Так точно!»

— Молчать! — заревел майор. — Чем вы тут занимаетесь?

Они молчали. Первый раз в своей жизни Иозеф почувствовал прилив такой судорожной ярости. «Если бы ты знал, — думал он, — если бы ты сейчас знал то, что знаю я! Берегись, старик. Не шути с нами. Я волк, я тигр, я схвачу тебя, я растерзаю тебя, я тебе скажу кое-что!»

— Мы празднуем наши успехи в стрельбе, господин майор, — громко прохрипел Карл.

Только теперь майор узнал их.

— Ах, это вы, снайперы, чертовы дети! — Майор слегка качнулся, он был навеселе.

— Это хорошо, вы ребята что надо, умеете выпить, — сказал он. — С вами и я глотну.

Он вытащил портсигар и предложил им закурить. Иозеф поспешил достать из кармана коробок спичек. Он чиркнул спичкой, но она сломалась. Он хотел вынуть вторую, но уронил коробок на пол. Его руки дрожали. Он слишком сильно чиркнул, спичка опять сломалась, уже вспыхнувшая головка отлетела в сторону. Иозеф почувствовал, что майор смотрит на его руки. Он задрожал так, что третью спичку уже не мог достать из коробка. Он уперся локтем о бедро. Пальцы его свело судорогой. Вдруг

он почувствовал, как заколотилось его сердце, на лбу выступил пот. Карл взял у него коробок и поднес майору зажженную спичку.

— Эти спички дрянь, — сказал он.

— Что с вами, парень, — спросил майор, — почему вы так нервничаете?

— Со мной ничего, господин майор! — пролепетал Иозеф.

— Можете пить сколько вам угодно, но рука ваша должна оставаться твердой, — продолжал майор. — А если бы здесь был враг, если бы вам нужно было стрелять, что тогда? Рука немецкого солдата всегда должна быть твердой, понятно?!

— Так точно, господин майор! — рывкнули Иозеф и Карл.

Майор вскинул руку, словно собираясь крикнуть «хайль!» Он поднял ее немного выше плеча. Кончики пальцев, запястье, локоть и плечевой сустав образовали одну линию, которая лишь слегка изогнулась в предплечье от надувшегося бицепса.

— Вот, можете поучиться, — сказал майор.

Рука неподвижно застыла в воздухе, словно это было изваяние.

— Здорово, — сказал изумленный Карл.

Майор, продержав руку в воздухе чуть ли не целую минуту, опустил ее.

— Замечательно, господин майор, — сказал Иозеф.

— Чепуха, — сказал майор. — Ничего замечательного, понятно?! — крикнул он. — Я не потерплю этого от своих солдат, понятно?

— Так точно, господин майор, — рывкнули Иозеф и Карл.

— А вообще — вы brave ребята, — сказал майор. — Такими и оставайтесь!

Он вытащил у Карла из кармана бутылку и отхлебнул. Потом отхлебнули Карл и Иозеф. Томаса они положили на пол.

— С него хватит. В него больше не лезет, — сказал Карл.

— Меня радует, — сказал майор, — что вы не только хорошие стрелки, но и хорошие товарищи. Товарищество — железный закон для солдата. Как хорошо, что вы заботитесь друг о друге. Вы могли бы сделать с ним что

угодно ради шутки, теперь это снова вошло в моду. Очень хорошо с вашей стороны, что вы хотите отнести своего приятеля в постель. А теперь — шагом марш на боковую!

Они разом вскинули руки:

— Хайль Гитлер!

— Хайль Гитлер! — ответил майор.

Иозеф снова почувствовал какой-то странный озноб. Он вытянулся перед майором и выпалил:

— Прошу, господин майор, пожелать также вашей дочери спокойной ночи!

Карл окаменел от ужаса. Неужели и этот парень рехнулся, или это была потрясающая, изумительная наглость, психологическое алиби?

— Спасибо, — сказал майор.

Он засмеялся добродушно, по-отечески, удовлетворенно.

— Хотя она и уехала сегодня в полдень в Берлин, но, безусловно, спит спокойно и без вашего пожелания.

— Ах, уехала, — повторил Иозеф.

— Да ну, тоже втирился в девчонку? — спросил майор.

Иозеф покраснел. Карл засмеялся.

— Уж признайся, мой мальчик, — сказал майор и хлопал Иозефа по плечу.

Иозеф кивнул.

— Кто же устоит, господин майор, — сказал Карл, — я тоже не устоял, как и все.

Майор рассмеялся от всей души.

— Настоящая девушка-солдат, — сказал он. — Марширует, как гвардии кирасир; протопать семь часов до станции этой девушке ничего не стоит. Так и надо.

— Здорово! — сказал Карл.

— Если бы отпуска не были запрещены, вы могли бы теперь с ней поехать или хотя бы донести ее багаж, — сказал майор Иозефу. — Не повезло, господин кавалер!

— Верно, не повезло, господин майор, — отозвался Иозеф.

Майор ушел. Карл и Иозеф бросились друг другу в объятия.

— Дружище, — сказал Карл, — теперь уже все позади. Пусть только нам и дальше так везет!

Они подняли Томаса, отнесли его в барак и бросили на койку.

— Повезло и тебе, парень, — сказал Карл, — чертовски повезло!

Они засеменили к своим постелям. Никто их не видел и не слышал. В спертom воздухе раздавался громкий храп и сопение. Карл тут же заснул; Иозеф не спал. Он, конечно, заметил, какой взгляд бросил на него Карл, когда он. Иозеф, просил пожелать дочке майора спокойной ночи. Он почувствовал свое превосходство над Карлом, старым прибалтом. Он чувствовал свое превосходство над всеми. «Кто знает что-нибудь о мистерии смерти? — думал он. — Разве эти вот что-нибудь знают?!» Он ненавидел их всех, кто лежал здесь, храпя и ворочаясь во сне. «Разве кто-нибудь меня поймет, — думал Иозеф, — разве я могу с кем-нибудь поделиться? Мне нужно почитать Ницше!» У него в ранце было много книг: Ницше, Георге, Биндинг и сборник произведений немецких романтиков: Тика, Брентано, Новалиса. «Скорей бы уж наступило утро», — думал он.

Но вот пронзительный свисток наконец разорвал ночные шорохи. Иозеф поспешно вскочил, накинул на себя шинель и побежал в канцелярию, чтобы перехватить посыльного на телеграф. Он дал ему телеграмму для отца, которая гласила: «Прошу срочно приехать. Очень нужен. Иозеф». Потом как следует вымылся, и когда из барака все ушли и только Томас да Карл еще храпели на своих постелях, он тоже прилег, наконец почувствовав себя уверенно. Он подумал: «Отец поможет, должен же он помочь!» Потом вдруг сообразил: «Какая чепуха — охотиться за одним патроном! Словно это что-нибудь меняет! Вот чепуха! Как глупо я себя вел!» Усталость медленно овладевала им. Он почувствовал легкость во всем теле. Ему казалось, будто он отделяется от земли и летит. Он усмехнулся и заснул с улыбкой на лице.

Карл очнулся первым; было около одиннадцати. Ставни были широко распахнуты; с потоком солнечных лучей в барак врвался запах лугов и крепкий аромат сосен.

Карл бросился к окну. Ему была видна канцелярия майора. Там тоже было открыто окно. Карл увидел, что майор сидит за письменным столом. Майор тоже посмотрел в окно, узнал Карла и приветственно помахал рукой.

Карл разбудил товарищей. Томаса ломало с похмелья, он открыл глаза с мучительным усилием и, едва ворочая языком, бормотал какую-то бессмыслицу. Карл и Иозеф подхватили его и потащили в банный барак, там раздели и положили под холодный душ. Понемногу Томас стал приходиться в себя. Они влили ему в рот черного кофе и дали пожевать кофеиновые таблетки.

— Нужно, чтобы у тебя сейчас была ясная голова, — сказал Карл.

Потом они вымылись и уселись на траве под теплыми лучами солнца, прислонившись к березе; над головами у них пели птицы, и Карл стал рассказывать о том, что произошло этой ночью в банном бараке. Им прямо повезло, добавил Карл, что Томас чуть не спятил и, пьяный до бесчувствия, сбитый с ног крепким ударом, провалялся всю ночь без памяти. Разве он смог бы сдержаться, если бы так неожиданно очутился ночью лицом к лицу с майором?

— Я ничего не помню, — сказал Томас. — Помню только, что мы пожали друг другу руку. А что было дальше, все забыл.

— Вот и хорошо, — отозвался Карл.

Томас промолчал. Он глубоко вдыхал теплый душистый воздух. В голове у него была пустота, какая-то смесь страха и воспоминаний о крови и ночном мраке.

— Убейте меня все же, ребята! — сказал он.

Его обуял страх, терзающий, мучительный страх. Он подумал: «Прошел всего лишь один вечер, одна ночь, пьяная, угарная, но так дальше не пойдет. Не могу же я все время напиваться до потери сознания. Теперь, когда я знаю об убийстве, как же я буду жить? Мне ведь придется видиться с майором, смотреть ему в лицо, в глаза, придется выслушивать его — что же это будет?»

— Но ведь уже должны были заметить, что ее нет... — проговорил Томас, и весь его ужас вылился в этих словах.

— Не бойся, — ответил Карл, — майор считает, что дочь его уехала в Берлин.

— И она придет туда не раньше завтрашнего дня, — размышлял он вслух. — Старик, ничего не подозревая, будет три дня ждать от нее письма. Это составит уже четыре дня. Потом он, может быть, даст телеграмму. Пройдет еще один день. Значит, у нас пять дней. Это очень много.

Томас облегченно вздохнул.

— Ее нужно бы получше зарыть,— воскликнул Иозеф.

— Подождем,— сказал Карл,— подождем, сейчас все в полном порядке.

«Значит, майор считает, что она едет в Берлин»,— думал Томас. Он представил себе поезд: покачиваясь, она сидит в вагоне, как тень, воздух в воздухе. Он думал: «Отец считает, что она в безопасности. Может быть, сидя за письменным столом, он тоже представляет себе, как она едет в поезде, человек среди людей. Ведь он ничего не знает. Майор тоже отец. Странно, кем только не бывает человек: начальником, отцом, врагом и другом. Что же такое человек?!» Томасу не хотелось думать об этом. Он боялся раздумий. Он боялся взглянуть на майора. Что будет дальше? Он не знал.

— Почему это она вдруг поехала в Берлин?— спросил Иозеф.

Карл пожал плечами.

— Не знаю. Может, ей пора родить.

— Нет,— резко возразил Томас.

Карл удивленно взглянул на него.

— Разве ты...— спросил он, но не договорил.

Иозеф вдруг вытаращил глаза на Томаса и рассмеялся.

— Ты был в нее влюблен?— ухмыляясь, спросил Карл.

Томас вздрогнул.

— Ты что, спал с ней?— спросил Иозеф.

— Эх вы свиньи, свиньи,— медленно произнес Томас.

— Ну, ну полегче,— сказал Иозеф.

— Оставь его в покое, не годится так,— уговаривал его Карл.

Томас тяжело дышал.

— А почему бы тебе, мальчик, и не быть влюбленным в нее?— добродушно заметил Карл.

— Нет!— крикнул Томас.— нет, ничего у меня с ней не было, ничего, совсем ничего! Она для меня просто человек, как и все другие, человек, поймите же...

— Да, да, дружище, успокойся,— сказал Карл.

— Никогда больше не говорите об этом,— строго остановил их Иозеф.

— Хорошо,— согласился Карл.

Иозеф стал насвистывать какую-то веселую мелодию. Он тоже представил себе поезд, идущий в противоположном направлении, чем тот, который мерещился

Томасу. Он видел в поезде своего отца, спешившего к нему на помощь, чтобы спасти их от мести другого отца. «Может быть, он прилетит самолетом, — размышлял Йозеф. — Конечно, самолетом».

Они провели мучительный день. Бесконечно тянулось время. Они держались все вместе. Несмотря на свои клятвы, они понимали, что каждый не доверяет другому. Так они и ходили, словно связанные веревочкой, какое-то существо из трех тел, и каждый из них был ненавистен и омерзителен себе и другим. Они пошли в барак, играли там несколько часов в скат, обсуждая при этом, зарыть им труп или оставить все как есть. Йозеф полагал, что убитую нужно закопать получше. Томас не высказывал своего мнения. И они все предоставили судьбе.

Наконец наступил вечер с длинными тенями и серыми сырыми тучами. Устало подходил батальон. Но едва солдаты вошли в барак, как была объявлена тревога. С руганью они снова кинулись на место сбора. Трое остались. Но через несколько минут дежурный унтер-офицер рванул дверь барака. Он закричал:

— Почему вы не выходите? Вы что, спятили?

— Мы свободны от службы, — спокойно сказал Карл; но унтер-офицер завопил:

— Приказ господина майора! Весь батальон ждет вас, паршивцы. Да, да, нечего глаза пялить, поднимайтесь! Марш из барака!

Безотчетно, совершенно безотчетно каждый из них схватил свой ремень, машинально надел его, проверил, на месте ли подсумок, штык и пряжка, уже на бегу поправил фуражку, проверив рукой расстояние от козырька до переносицы. Они бежали быстро, в ногу, дышали в такт, и сердца их бились в такт.

— Спокойствие, сейчас главное спокойствие, — шептал Карл своим товарищам.

Предупреждение было излишним: они не испытывали никакого страха. Хотя они чувствовали, даже знали, что сейчас решится их судьба, страх совершенно исчез. Они были почти счастливы оттого, что все решится. Наконец они снова перестали быть отдельными, не связанными между собой человеческими личностями; теперь огромный грохочущий механизм втянет их в себя, прикажет им что-то, а что-то запретит, и они снова могут подчиняться беспрекословно, без необходимости думать, освобожден-

ные от собственной воли и собственного решения. Не имело никакого смысла в эту минуту, во время этого бега ломать себе голову над тем, что же теперь будет и почему им тоже приказали выйти по тревоге, объявлена ли эта тревога по случаю убийства или была только учебной, наказанием или просто вздорной выдумкой начальства. Все теперь утратило свой смысл, все, кроме плаца, батальона, майора; существовал лишь этот плац, туда бежали они к центру мира, к центру вселенной.

Серыми прямоугольниками, обогранными лучами вечернего солнца, стояли построенные в каре роты, металлические части снаряжения и оружия блестели на солнце. Трое приятелей хотели пристроиться, но майор приказал им встать перед строем, лицом к своей роте. И вот они стоят, не шелохнувшись; поясные ремни подтянуты, фуражки сидят безупречно, ни к чему нельзя придраться.

— Смирно! — скомандовал майор.

Каблуки сотен людей, обутых в сапоги, гулко щелкнули. Майор прочитал приказ фюрера вооруженным силам Германии, приказ, от которого у солдат кровь застыла в жилах. В нем говорилось о большевистском заговоре, раскрытом благодаря гению фюрера, о грозящем нападении с востока и о тех мерах, которые принял фюрер. Батальон слушал, и лица у многих побледнели. Потом майор зачитал приказ по дивизии, согласно которому немедленно запрещались всякого рода отпуска и увольнительные. В приказе говорилось, что никто не имеет права оставлять во внеслужбное время месторасположение батальона. Всем быть в полной боевой готовности. Оружие держать постоянно наготове, никто не имеет права снимать обмундирование, даже во время ночного отдыха. Майор читал медленно, фразу за фразой, и после каждой фразы спрашивал:

— Поняли, ребята? Это не шутки!

Потом, прочитав до конца, опустил руку, державшую бумагу. Он указал на троих, стоявших перед строем батальона.

— Это лучшие стрелки дивизии! — воскликнул он. — Берите с них пример! Такими должны быть настоящие солдаты, настоящие однополчане! Такие молодцы теперь нужны фюреру, чтобы осуществить его грандиозные планы!

Он сделал глубокий вдох и крикнул:

← Батальон — разойдись!

Солдаты побежали в барак. Томас на ходу подтолкнул Иозефа.

— Спасены,— сказал он.

— Дружище,— отозвался Иозеф. — Дружище, так и должно было случиться, именно так.

Едва они вошли в барак, как получили новый приказ. Им велели снова встать в строй. Проверили их перевязочные пакеты, неприкосновенный запас и личные знаки. Потом они получили боеприпасы, каждый по шестьдесят патронов.

— Веселой стрельбы по мишеням! — сказал Карл.

Офицеры и фельдфебели были подчеркнута жизнерадостны и много говорили о духе товарищества. Когда проверка кончилась, командиры взводов прошли по баракам. Они сказали:

— Вечерняя поверка сегодня отменяется. Собирайте свои вещи. Что вам не нужно, отошлите домой. Понятно?

— Так точно! — отвечали солдаты.

Все начали укладываться. Иозеф и Томас держались возле Карла.

— Ну, начинается, ребята,— сказал Карл. — Начинается! — он хлопал себя ладонью по ляжке, потирал руки, ухмылялся во весь рот и строил гримасы.

— Начинается,— снова и снова повторял он. — Все будет хорошо! Начинается!

— Эх, ребята, только бы все обошлось,— сказал солдат, собиравший свои вещи рядом с Карлом.

— Ты что? — резко спросил Иозеф. — О чем ты говоришь?

— Оставь,— успокоил его Карл, — не горячись.

— Значит, мы намерены завоевать Россию,— тихо сказал кто-то, — Москву, Урал, до самого Тихого океана.

Хотя голос этот был тих, но он, как ни странно, заглушил шум, стоявший в бараке, и заставил всех умолкнуть. Тишина придавила всех невыносимым гнетом.

— Ну и что же,— сказал Иозеф. Он говорил сиплым голосом, — что же, — конечно, мы идем против большевиков. Рано или поздно это должно было произойти.

Вдруг он закричал:

— Это должно было произойти, и лучше сегодня, чем завтра.

— Лучше ужасный конец, чем ужас... — недоговорил Карл и вдруг рассмеялся.

Иозеф смерил его холодным взглядом. Карл пожал плечами и принялся укладывать свой ранец.

Томас подошел к Иозефу. Он спросил:

— Как по-твоему, когда мы будем в Москве?

— Скоро, можешь не сомневаться, — ответил Иозеф, все еще глядя на Карла. — Теперь все будет в порядке, малыш, — добавил он, — и у нас троих, и в Германии, и во всем мире.

Томас облегченно вздохнул. Они уйдут отсюда. Убитую не найдут. Майор так и не узнает, что с ней случилось. Может быть, он и сам погибнет, не успев спросить о ней. Ведь это возможно, это было бы, пожалуй, самое лучшее. Томас уже не чувствовал, что стал рассуждать, как настоящий убийца. Правда, он сделал только первый шаг. Карл ушел дальше. Укладывая вещи, Карл думал: «Судьбе можно помочь. Мало ли что может случиться в бою. Будет неплохо, если майор при первой возможности умрет смертью храбрых. Майор и Иозеф, да, и Иозеф тоже».

Иозеф уложил свой ранец и приготовил сверток, который хотел передать отцу. Он едва сдерживал досаду оттого, что потревожил отца — теперь, когда все уладилось само собой. Может быть, тот даже не застанет его здесь. Чем скорее начнется, тем лучше!

Иозеф зажег свечу, сел на свой ранец, укрепил свечу на табуретке и достал книгу, по которой было видно, что ее часто читают. Это было сочинение Ницше «Так говорил Заратустра». Иозеф читал, а кругом постепенно нарастал шум: укладывали ранцы, шуршали бумагой, глухо звякал металл и раздавались негромкие голоса вперемешку с несмолкающими приглушенными выкриками и топотом строившихся солдат. Один раз донеслось также ржание лошади, дикое и гневное, напоминающее грозный зов трубы. Иозеф ничего не слышал. Он читал, погрузившись в иной мир, холодный и пустой, в котором жил только один-единственный человек — он сам. А вокруг этого единственного что-то копошилось, какая-то неразличимая масса, глубоко внизу сутились какие-то существа: люди.

Он читал о Заратустре, о последних людях, этих тварях, которые были так жалки в своем стремлении к счастью, о канатном плясуне, и о паяце, который перепрыгнул через канатного плясуна, о том, что канатный

плясун сорвался и совершил страшный прыжок в смерть. Иозеф представил себе, как тот упал и разбился. А Заратустра говорил:

«Из опасности сделал ты себе ремесло, а за это нельзя презирать. И вот ты гибнешь от своего ремесла. За это я хочу похоронить тебя своими руками».

Так говорил Заратустра. В его словах Иозеф нашел подтверждение своим сокровеннейшим мыслям. Он думал: «Заратустра понимает миф опасности, миф смерти. Заратустра понимает немецкого солдата. Сделать опасность своим ремеслом только ради самой опасности — это величественно, это по-немецки! Нибелунги шли навстречу верной гибели, они знали об этом и все же шли в страну гуннов: они гибли, и смерть была их подвигом. Они обезглавили невинное дитя и все же, нет, именно поэтому, были героями. Ведь нужно геройство, чтобы рубить головы невинным младенцам». Он вздрогнул, низко склонился над книгой, впитывая в себя слова:

«Но Заратустра продолжал сидеть на земле возле мертвого и был погружен в свои мысли: так забыл он о времени. Наконец наступила ночь, и холодный ветер подул на одинокого. Тогда поднялся Заратустра и сказал в сердце своем:

«Поистине прекрасный улов был сегодня у Заратустры. Он не поймал человека, зато труп поймал он.

Страшно существование человеческое и все еще лишено смысла: паяц может стать роковым для него.

Я хочу учить людей смыслу их бытия: смысл этот — сверхчеловек, молния из темной тучи, именуемой человеком.

Но я еще далек им, и моя мысль далека их мысли. Для людей я еще что-то среднее между шутком и трупом.

Темна ночь, темны пути Заратустры. Идем, холодный и неподвижный спутник! Я отнесу тебя туда, где похороню тебя своими руками».

Сказав это в сердце своем, Заратустра взвалил труп себе на спину и отправился в путь».

Иозеф опустил книгу. Он подошел к окну и стал всматриваться в черноту ночи. Он увидел широкую темную синеву, по краям слегка блеклую. Товарищи за его спиной уже давно спали. Он был один. Он погасил свечу и устался во мрак. Иозеф торжествовал. Он думал: «Россия — необъятная страна, и теперь она будет

песню генерал разрешил им продолжать. Все в грязи, увешанные пучками травы, листьев и ивовых веток, они все же шли сомкнутым строем, по три в ряд, четко отбивая шаг. Томас, Карл, Иозеф шагали в одном ряду и пели так громко, что до самой границы, все дальше уходившей к горизонту, доносились слова:

Роза, миленький цветочек,
Вон девчонка впереди,
И от радости смеется
Сердце у меня в груди.
Холдри!

Они вернулись в барак; день прошел так же, как и ночь: бесконечные проверки, сборы, построения и тупое ожидание приказа, который должен перебросить их через границу.

Иозефу удалось поговорить с отцом. Они не спеша ходили взад и вперед по плацу. Иозеф рассказывал, а отец слушал внимательно, молча, задумчиво. Когда он кончил, отец несколько минут о чем-то размышлял. Потом заявил:

— Собственно говоря, это хорошо. Это полезно. Это даже очень хорошо.

Потом отец ушел и отдал двум сопровождавшим его эсэсовцам какие-то приказания. Иозеф вернулся к своим. Они спросили его:

— Что же будет?

— Не знаю, — сказал Иозеф. — Знаю только, что все будет в порядке.

Вечером им снова пришлось идти на занятия: противохимическая оборона. Им сказали, что русские на все способны, могут применить и газы. Газы! Газов они все же боялись.

— Черт подери, дело становится серьезным, — сказал Карл.

Раздались резкие звуки ударов по рельсу и крик:

«Газы — га-азы — га-а-азы!»

Солдаты напялили на себя маски, загремела команда «Бегом марш!», и они побежали по кругу — словно стадо странных, серых, затравленных зверей с хоботами. Пот катился с них градом, он попадал им в глаза, в рот. С ослабевающей силой гремели удары по рельсу. И в этом

грохоте и пыхтении они едва разбирали одно только слово: «Люизит — люизит — люизит!»

Машинально хватали они противохимические накидки — пропитанную маслом бумагу, величиной в несколько квадратных метров, которая была искусно сложена в одну четвертую формата и лежала в маленькой сумочке, привязанной к коробке противогаса. Эта бумага должна была предохранять от едких жидкостей. Они рывками вытаскивали бумагу, хватали за помеченный угол, становились против ветра и набрасывали накидку на голову. Бумага разворачивалась, и они, пригибаясь, закрывались ею. И вот весь плац заполнился серо-зелеными бугорками, какими-то похожими на жаб чудовищами, которые покачивались, переминаясь с ноги на ногу. Никого нельзя было узнать. Они ничего не видели под своими серыми покрывалами, кроме неясных очертаний затененного кусочка земли, на который присели. Долго сидели они на корточках. Металлический звон давно уже затих, а они все еще не вставали. Наконец послышалась команда: «Химическая опасность миновала», — и снова раздались удары по рельсу. Они поднялись, сбросили накидки и увидели идущих между рядами двух санитаров с носилками.

На носилках лежала человеческая фигура, закрытая простынями, видны были только волосы, женские волосы. Санитары принесли носилки на плац и остановились перед баракком коменданта лагеря. Там стояли майор, дивизионный генерал и человек в черной, шитой серебром форме. Санитары опустили носилки на землю. Майор подошел ближе. Санитары сняли простыни. Майор закричал. Он кричал, зажимая кулаком рот, все это видели, но он продолжал кричать, сжатые пальцы не могли заглушить этот крик. Генерал обнял его за плечи и увел. Крик звенел у всех в ушах. Солдаты стояли точно окаменелые. Вдруг послышался еще один вскрик, тихий, он донесся из солдатских рядов. Вскрикнул Томас. Йозеф и Карл подошли к нему. Генерал вернулся из барака. Он говорил с эсэсовцем. Прибежали офицеры. Возле носилок поднялось облако пыли. Генерал приказал построиться. Батальон образовал каре. Солдаты стояли плечо к плечу; от пропотевших масок, висящих на груди, шел пар, от лиц тоже шел пар. Генерал шагнул вперед. Не было слышно ни звука. Генерал заговорил:

— Солдаты! Вашего майора постигло тяжелое горе. Русские варвары опозорили и убили его дочь. Ее нашли возле границы, зарытую в землю, с обезображенным лицом. Возле нее нашли еще русский штык. Но час убийц пробил! Солдаты, вы отомстите за своего командира! Солдаты, в память убитой — шапки долой!

Они сорвали с головы фуражки. Они стояли лицом на восток.

— Шагом марш! — скомандовал генерал.

Генерал шел впереди. Солдаты шагали по плацу. Когда они подошли к носилкам, эсэсовский офицер снял с убитой покрывало. Генерал сказал правду: лицо было изрезано и исколото так, что его нельзя было узнать, а возле этого страшного лица лежал длинный штык, похожий на грифель, четырехгранный, несомненно русский, с темными пятнами крови. Эсэовец вскинул руку в нацистском приветствии. Генерал крикнул: «Внимание!» Подойдя к носилкам, генерал и солдаты перешли на парадный шаг и угрожающе прошествовали мимо опозоренной покойницы. Покрытые испариной хоботы масок на груди смотрели на изрезанное лицо убитой. Впереди выступал генерал, весь в золоте и пурпуре. Угрожающе печатая шаг, они покидали плац и уходили все дальше на восток. Солнце спустилось за горизонт, и ночь окутала землю.

Томас едва мог понять, как хватило у него сил пройти мимо трупа. Когда он шел, то думал о страшном суде, думал о том, что на мертвых выступает кровь, если мимо них проходит убийца, раны мертвых открываются, а убийцы как подкошенные падают ниц. Но ничего не случилось, он остался в строю рядом с Карлом и Иозефом, в строю походной колонны, влекомый какой-то магической силой, которой не мог преодолеть. Он даже посмотрел, как и все, на лицо убитой, и ничего не случилось. Она была мертва, она молчала.

«Ну вот, все прошло, все кончилось, — подумал он, облегченно вздохнув. — Все кончилось. Больше ничего не случится. Все прошло, уладилось, утряслось. Теперь уже ничто, ничто не угрожает нам!»

Иозеф подтолкнул его в бок и сказал:

— Это сделал мой старик, здорово придумал, а?

— Твой старик велоколепен, — сказал Карл.

— Вот вам национал-социалистское решение вопроса, —

сказал Иозеф. — В этом отец мастак. Эти вещи он понимает. Он все решает в духе нацизма; бессмыслица получает смысл, и беда становится благодеянием. Такова наша политика!

— В политике я ничего не смыслю, я далек от политики, — заметил Карл, — политика никогда меня не интересовала. Но твой старик в ней разбирается. Это политика правильная, человеческая!

— И в этом смысле он прав, — продолжал Иозеф. — Он сказал мне: «Раз уж так случилось, то вы тут ни при чем. Ведь вы этого не хотели. Совершенно невероятно, чтобы вы хотели ее убить. Немец не бывает убийцей. Но вполне вероятно, что этого могли хотеть большевики. Это у них в порядке вещей. Они бы так и сделали, если бы имели возможность. Мы не лжем, когда утверждаем, что это сделали они. Немец никогда не лжет. Он ищет тех, кто по своей природе способен на такое дело. И находит».

— Твой старик — парень что надо, право же, — сказал восхищенный Карл. — Майор действительно поверил или только делает вид?

— А меня это не интересует, — заметил Иозеф. — Должен верить. Это важно для нации. Это нам выгодно. Отец сказал, что нужно решать все с пользой для нас. В этом сущность национал-социалистской философии!

— В философии я ничего не смыслю, я больше за практику, — сказал Карл.

— Ну, а практика такова, что дело улажено, окончательно и бесповоротно, — ответил Иозеф.

— Это хорошо, ох, как это хорошо, — промолвил Томас.

Потом они заснули, не снимая одежды, положив рядом с собой винтовки.

На рассвете, в четвертом часу, в сторону границы стремительно пролетел самолет, а спустя несколько минут с грохотом низвергся с неба широкий прямоугольник яростного металла. Было видно, как от этого ревущего металла отделяются маленькие, похожие на сливы темные металлические тельца и падают вниз, покачиваясь вокруг оси, как ваньки-встаньки. Одновременно начался ураганный артиллерийский огонь. Из серого марева, окутавшего границу, поднялась стена дыма, и были видны вспышки. Потом солдаты услышали гул и скрежет мчащихся танков,

а затем двинулись и они мимо куста, где валялась черно-красная цапля, через дренажную канаву, где лежал пограничный камень, перепрыгнули через могилу в болоте и прорвались через границу. Они увидели первых убитых: русских в военной форме, крестьян, лежавших возле дымящихся изб и одного немецкого солдата с простреленной грудью, сжимавшего в окоченевшей руке пучок травы.

Они шли весь день, почти не встречая сопротивления. К вечеру достигли деревушки, где сделали привал. В деревушке было всего шесть домов, желтых, кособоких, крытых камышом; в сумерках они казались невесомыми. Это была бедная деревня, бедная еще в мирное время, а первый день войны окончательно разорил ее. Сопротивления здесь не оказывали, но двое крестьян лежали убитые, один дом горел, и все погреба были разграблены. На одном еще уцелевшем доме был прибит плакат с надписью: «Немецкие рабочие и крестьяне, не стреляйте в своих советских братьев!» Иозеф сорвал плакат и сжег его.

— Здесь мы поставим виселицу, — сказал майор.

Он приказал выгнать из домов всех жителей деревни и собрать их на площади. Нашлось восемь крестьян, двенадцать крестьянок и восемь детей. Майор вызвал из круга двух девочек. Он приказал повесить их в отместку за смерть своей дочери.

Девочек увели, их поставили к стене дома и велели поднять над головой руки. Они не произнесли ни слова, они не плакали, словно ничего другого и не ожидали. Сзади них стояли часовые с заряженными винтовками, с прикинутыми штыками, похожими на широкие ножи, остро отточенными, ослепительно блестящими немецкими штыками, теплый отблеск огня струился по широкому желобку, выточенному посередине штыка, чтобы с него могла лучше стекать кровь.

— И правильно, нужно кончать с этой сволочью, — сказал Иозеф.

— Этого не может быть, — прошептал Томас. Он побледнел. — Ведь они не виноваты, — пролепетал он.

— Большевики всегда виноваты, — сказал Иозеф.

Его взгляд упал на Томаса.

— А что, тебе их жалко? — спросил Иозеф.

Томас молча покачал головой. Он чувствовал, какая все это ложь.

— Дружище, — сказал Иозеф, — дружище, тебе жалко этих русских? Да ведь это сброд, это клопы, которых надо давить!

Он потянулся.

— Я сам вывезал их повесить, — сказал он. — Вешать — это искусство. Карл умеет, он нас научит. Быть палачом — почетная обязанность, как сказал Геринг. Нужно всему научиться. Я их повешу. Да, я их повешу, я, да, я.

Он посмотрел на Томаса.

— Ну что? — спросил он.

— Уйди, уйди отсюда, — сказал Томас.

Его глаза застлало пеленой, синей пеленой. Иозеф расмеялся и ушел.

— Это убийство, да, это убийство, а ты убийца! — крикнул Томас.

Он видел, как они устанавливают виселицу.

— Ты убийца, — повторил он.

Вдруг он увидел, что у солдат, стоявших возле виселицы, выросли звериные головы и заслонили человеческие лица: волки, гиены, свиньи. Совершенно отчетливо увидел он, как их лица побелели и распухли, рты вытянулись, превратившись в чавкающие пасти, носы — в хоботы, глаза, заплывшие жиром, стали маленькими и налились кровью, а лбы исчезли, становясь все более покатыми, и он уже ничего не видел, кроме ошетинившейся пустоты. Только у двух девочек — это он видел — оставались человеческие лица, по-крестьянски красивые и чистые.

Он содрогнулся: а что таится в нем? Посмотрел на себя. Он был хуже всех. Ведь другие ничего не знали. А он знал.

Томас кинулся к майору.

— Что вам нужно, именно сейчас перед исполнением приговора? — сердито спросил адъютант. — С господином майором сейчас нельзя разговаривать, потом!

— Речь идет об убийстве, нужно предотвратить убийство, — сказал Томас.

Голос его срывался.

— Что, какое убийство? — спросил адъютант.

— Так точно, убийство, — повторил Томас.

Адъютант впустил его.

Когда Томас вошел в комнату майора, все поплыло у него перед глазами, все покрылось туманом. Виделось что-то черное, вероятно, это был майор.

— Старший стрелок П. докладывает: две русские девочки не виноваты! Я убил дочь господина майора! — сказал Томас.

— Что? — заревел майор, — что?

Он схватил Томаса за плечо, встряхнул его и зарычал:

— Вы опять нализились, парень, опять! Вы свинья, вы с ума спятили, свинья!

Томас пытался всмотреться, но ничего не увидел. Он бормотал:

— Господин майор, я говорю правду, я...

— Адъютант! — крикнул майор.

Хлопнула дверь, в комнате стало одним голосом больше.

— Парень напился до потери сознания! Арестуйте его! — кричал майор.

— Я не пьян, — сказал Томас твердым голосом, — я не пьян, клянусь вам...

Теперь туман перед глазами рассеялся. Он видел все совершенно отчетливо. Перед ним стоял майор, хрипя, содрогаясь всем телом, точно разъяренная глыба, руки сжаты в кулаки, а кулаки готовы в бешеном гневe разбить лицо стоящего перед ним старшего стрелка. «Он мне не верит, — думал Томас, — что мне делать?!»

— Уберите его, — приказал майор.

— Слушаюсь! — сказал адъютант.

В дверь постучали. Вошел Иозеф.

— Докладываю господину майору: все готово для экзекуции.

— Хорошо, я иду, — сказал майор.

— Нет! — закричал Томас, — нет, их нельзя убивать!

— Он с ума спятил, господин майор, — сказал Иозеф.

— Это ведь ваш приятель, да? — спросил майор.

— Господин майор, выслушайте меня, — простонал

Томас.

Он подошел к двери.

— Господин майор, выслушайте меня.

— Бедный парень свихнулся, — сказал Иозеф, — ему нужно надеть смирительную рубашку.

— Ну, довольно, — заявил майор, — уведите его прочь.

— Я прошу, господин майор, освидетельствуйте меня, я не сумасшедший, я не пьяный, а в здравом рассудке, — воскликнул Томас.

Тогда Иозеф сказал:

— Есть предложение, господин майор. Пусть поклянется своей честью, что говорит правду, будто он убийца.

— Это еще что такое? — спросил майор, но потом добавил. — Ладно. Можете вы поклясться, что говорите правду, старший стрелок?

— Этого я не могу, — пролепетал Томас.

Адъютант рассмеялся.

— Вон! — закричал майор. — Теперь уж хватит!

— Ты убил, ты! — кричал Томас, показывая пальцем на Иозефа.

Тот рассмеялся.

— Говорю вам, он спятил, господин майор! Напился до белой горячки, а увидел убитую — и вовсе рехнулся. Он сумасшедший.

— Уберите его отсюда! — приказал майор.

— Я не уйду, пока вы меня не выслушаете! — настаивал Томас.

— Бунтовать? Свяжите его! — сказал майор.

— Слушаюсь! — ответил Иозеф.

Он с размаху ударил Томаса кулаком в висок, как в тот раз. Томас пошатнулся, но еще продолжал стоять.

— Дайте ему как следует! — кричал майор.

Иозеф еще раз ударил Томаса. Томас увидел красивое юношеское лицо Иозефа; ах, эта свиная морда... Потом в голове у него помутилось, он упал.

— Пошли, пошли, — сказал майор. — Нельзя заставлять их так долго ждать в последние минуты. Ведь мы не варвары.

В дверях он еще раз обернулся и сказал:

— Унесите сумасшедшего!

Потом вышел из комнаты. Адъютант поспешил к окну.

Когда Томас с трудом очнулся, он почувствовал равномерное покачивание. Он лежал на носилках, двое солдат несли его.

Он приподнялся. Увидел виселицу. Все уже свершилось. Он вскрикнул.

— Лежи спокойно, черт тебя побери, а то получишь еще затрещину, — сказал солдат, который шел сзади. Они отнесли его в палатку и положили на кровать.

— Не делай глупостей, — сказали солдаты.

Ночь окутала землю. Томас сбежал. Его заметили и открыли по нему стрельбу. Он слышал, как свистели пули, потом огонь обжег ему легкие. Он потерял сознание и остался лежать в луже крови. Его подобрала литовские крестьяне.

У ПОДНОЖИЯ СПЯЩЕГО РЫЦАРЯ

Непостижимое совершилось, и лишь много дней спустя Ванда Ковальская вспомнила о недобрых предчувствиях, охвативших ее в тот миг, когда профессор, прощаясь в последний раз, посмотрел на нее.

В тот дождливый осенний вечер 1939 года старик ушел к себе наверх позже обычного. Как неуверенно, словно ощупью, поднимался он по скрипучим деревянным ступеням! За ужином он не сказал ей и двух слов. Рассеянно поковыряв вилкой свой любимый бигос, профессор не заметил даже, что Ванда раздобыла баранину, а капусту, тушенную по всем правилам с салом и луком, полила соусом от свиного жаркого. Вдруг он встал из-за стола и ушел к себе, в свою мрачную библиотеку. Он не показывался весь вечер, и только один раз совсем поздно Ванда услышала его глухой, изменившийся голос: «Почистите мне к утру черный костюм». Голос доносился откуда-то сверху; старик, наверное, забрался по приставной лестнице под самый потолок, к верхним полкам.

Дождь перестал. Но гнилой тяжелый туман по-прежнему обволакивал остроконечные крыши старинных домов и колокольни краковских церквей, словно хотел задуть их.

В чердачное окно, затерявшееся под самым гребнем крыши, доносились, словно из какого-то таинственного, жуткого и спасного мира, отрывистые, тяжелые шаги завоевателей. Ванда прильнула к стеклу. Ее лоб казался теперь мертвенно-белым.

Охваченная мучительной тревогой, Ванда наконец легла. Но смутные предчувствия не давали ей уснуть. Обычно она быстро засыпала глубоким безмятежным

сном и просыпалась наутро бодрой и полной сил. Но в эту ночь семнадцатилетняя девушка лишь под утро забылась тревожным полусном.

В шесть часов она уже проснулась, разбитая, с головной болью. В памяти пронеслись обрывки ночных кошмаров, запутанных и бессвязных.

Против обыкновения профессор завтракал в это утро один. В любой другой день это обидело бы Ванду: с тех пор как профессор Жиromский прошлым летом привез ее к себе из горной деревушки, между одиноким стариком ученым и молоденькой горничной установился молчаливый уговор: они всегда завтракали вместе. Профессор так привык к этому, что почти ничего не ел, если ей случалось задержаться на рынке. В такие дни он пил за завтраком только кофе. Он был ей как отец родной, ее старый хозяин.

Но в это утро его словно подменили. Сойдя с лестницы, он остановился и долго смотрел на стоявшую наверху Ванду. Потом он произнес загадочную фразу — последние его слова, которые ей суждено было услышать. Но смысл их она поняла лишь много времени спустя. «Не бойтесь, дитя мое, я вернусь, мы, поляки, всегда возвращались!» — сказал он спокойно, не делая ударения ни на одном слове. Потом он вышел. В окно Ванда видела, как он неторопливо шел по улице, как всегда, слегка наклоняясь вперед, но не сутулясь. Черный костюм придавал старику торжественный вид. И вдруг его серебристая седина засияла, словно нимб вокруг головы святого: в этот миг заблудившийся луч солнца пробился сквозь облака и осветил не по-осеннему ласковым светом одну лишь узкую улицу — улицу Святой Марии, по которой шел профессор.

В тот вечер профессор не вернулся домой. Не пришел он и ночью. Лишь на следующий день Ванда узнала всю правду, хотя то, что случилось, долго не укладывалось в ее сознании. Ей рассказала обо всем пани Грибовская, жена известного искусствоведа, старого друга профессора, бесследно исчезнувшего той же ночью. Третьего дня, около полудня, в старое здание Краковского университета явился некий немецкий господин, отрекомендовавшийся профессором Мюллером. Мюллер в довольно вежливом тоне попросил всех профессоров и доцентов университета собраться завтра к 11 часам в актовом зале, где видный

немецкий ученый прочтет им лекцию на тему «Чужая германская наука».

Профессор Жиромский и другие польские ученые в сопровождении своих жен пришли без опоздания. Женщины сразу же попросили удалиться под тем предлогом, что ввиду сугубо научного характера лекции она не вызывает у них интереса. «Профессор» Мюллер стоял на кафедре. Как только женщины покинули зал, он внезапно свистнул в два пальца пронзительным разбойничьим свистом. Одепеневские от ужаса ученые не успели опомниться, как распахнулись дубовые двери и в зал повалились взрывчатка с автоматами. «Вот это, господа полячки, и есть германская наука», — улыбаясь во весь рот, изрек Мюллер. Черные мундиры окружили ученых, вытолкали их прикладами на улицу и, как скот, загнали на стоявшие у подъезда грузовики. Арестованных увезли в Заксенхаузен, концентрационный лагерь под Берлином.

Ванда продолжала поддерживать образцовый порядок в доме, со дня на день ожидая возвращения профессора. Но не прошло и недели, как она получила известку, в которой ей предлагалось незамедлительно явиться на «немецкую биржу труда города Кракова». Там онемевшей от страха девушке сказали, что уже восемь дней, как она осталась без работы и поэтому будет тотчас же препровождена на вокзал, на сборный пункт для безработной польской прислуги, и оттуда направлена на работу. Ванде не дали времени на сборы, так же как и профессору, которого увезли неделю назад в одном черном костюме без вещей. На сборный пункт она приехала в летнем темно-синем платье, не захватив с собой и пары белья. У входа стояли немецкие грузовики, молча ждали заплаканные женщины и девушки. Разговаривать было запрещено.

...Машина шла на полной скорости. В памяти Ванды остался лишь омерзительный смех конвойных. Потом их выгрузили в каком-то незнакомом городке. Кругом были вершины высоких скалистых гор, оседающая теснившиеся в долине дома.

«Закопанье», — прошептал кто-то.

Ванду направили на работу в бывший курортный отель, превращенный немцами в офицерский дом отдыха. Сначала она была судомойкой на кухне, а спустя некоторое время стала официанткой.

Долго не удавалось Ванде узнать о судьбе профессора. Два ее письма к жене искусствоведа Грибовского остались без ответа. Написала она и матери в родную деревню.

Спустя несколько месяцев, показавшихся ей бесконечно долгими, она получила ответ. Мать писала, что фашисты угнали отца на работу в Германию и что до сих пор от него нет никаких вестей. Но о том, что случилось с профессором, она тоже не знала.

Однообразный изнурительный труд и постоянная усталость — Ванда работала по 14—15 часов в сутки — сделали свое дело. Девушка уже почти ни о чем не думала, мечтая только об одном — поскорей добраться до постели. Но однажды утром у серой громады костела ее окликнула дама в черном траурном платье. Ванда не сразу узнала в изможденной постаревшей женщине сестру профессора. На вопрос, удалось ли ей сохранить личные вещи профессора и бумаги из его научного наследства, Ванда лишь покачала головой. У нее ничего нет, и она не знает, где теперь вещи хозяина. Но почему пани говорит «о наследстве»? «Ах, так вы ничего не знаете, — печально сказала пожилая женщина, и ее серые глубоко запавшие глаза заволоклись слезами. — Брат умер. Семь дней спустя после заключения в концлагерь Заксенхаузен. Пятеро из его коллег по университету умерли там же вскоре после него». Помолчав, она добавила с глубокой горечью, поразившей Ванду в самое сердце: «Да уж старику все равно пора было помирать», — сказал немецкий чиновник, прочитав мне вслух извещение о смерти».

Вплоть до этого дня Ванда Ковальская считала несмелое нашествие со всеми его ужасами неотвратимым ударом судьбы и покорно принимала его. Конечно, ей было тяжело, она часто плакала. По ночам она в безысходном отчаянии била отяжелевшими от усталости кулаками по мокрой от слез подушке, пока не приходил к ней наконец как избавитель свинцовый сон.

Но в тот день, когда она узнала об убийстве ее доброго старика профессора, в душе замкнутой нелюдимой девушки произошел перелом: сама того не замечая, Ванда вступила на животворный путь борьбы. Время покорности и терпения миновало.

Услышав о смерти профессора, Ванда закрыла глаза и вся сжалась от острой боли, но тотчас же распрямилась, как пружина. Внешне это не было заметно — она лишь как-то странно откинула назад белокурую голову. Губы ее были плотно сжаты, кончик носа слегка побелел. Взгляд больших темно-синих глаз был устремлен куда-то вдаль — казалась, из тьмы веков на нее глядит ужас грядущего.

Ванда никогда еще не задумывалась над смыслом жизни и почти не читала книг, но в этот миг она вдруг поняла, что в мире есть беспощадное зло и что покорно подчиняться этому злу означает стать на его сторону. И, хотя никто не говорил с ней об этом, Ванда не сомневалась, что примириться с убийством старого профессора для нее равносильно соучастию в этом убийстве, убийстве доброго старика, который был ей ближе, чем родной отец! Одна эта мысль ранила ее душу почти так же больно, как и сама смерть профессора. И Ванда обошлась без рассуждений и логических выводов — сердце подсказало ей единственно правильное решение.

В первые дни после этого в нескончаемых серых буднях официантки Ванды ничего не изменилось. По-прежнему она подавала обеды и ужины, уносила на кухню грязную посуду, мыла вилки и ножи, сметала крошки со столов, высыпала окурки из пепельниц, вытряхивала скатерти, иногда по два, по три раза в день подметала большой зал столовой: ведь офицеры натаскивали на своих ботфортах все новую и новую грязь. Не замечали никаких перемен в девушке и ее сослуживцы — их всего двое: Мария — немая старуха судомойка и чудаковатый немец-повар, толстый, почти квадратный карлик. Ванда работала усердно, спала, как всегда, мало и казалась безразличной ко всему.

Однажды вечером — это было примерно на восьмой день после встречи с сестрой профессора — Ванда обслуживала шумную компанию за большим столом в нише. Тут царил сегодня необычное веселье. Один из офицеров праздновал свой день рождения. Ванде то и дело приходилось подставлять стулья: к столу подсаживались все новые и новые гости. Они много ели и еще больше пили. Ванду вновь послали за вином, но в ту минуту, когда она подошла к захмелевшим кутилам с шестью бутылками, с трудом удерживая их под мышкой, по три справа и слева, дорогу ей преградил огромный верзила-офицер.

Он внезапно вскочил со стула и пролаял, с трудом ворочая языком:

— Господа, сегодня Франция подписала капитуляцию! А за нашим столом — ни одной француженки. Это черт знает что!

— Верно! Правильно! — раздалось со всех сторон.

Но пьяный вояка поднял руку, призывая к спокойствию, и продолжал:

— Были бы на худой конец подходящие польские бабенки! Тогда еще куда ни шло! А так...

Поджарый, хлыщеватого вида офицер с белокурыми усиками, сидевший прямо напротив верзилы, прогнусавил:

— Майор, вы несправедливы, да и галантным вас не назовешь!

— То есть как? — шумно выдохнул майор, удивленно ворочая стеклянными глазами.

В ответ гундосый хлыщ бросил лишь небрежное «ну пот», слегка кивнув головой в сторону Ванды, стоявшей за спиной майора. Тот уже еле держался на ногах, нижняя губа у него отвисла. Он с трудом повернулся и устоял на Ванду. На лице его появилась ухмылка, она расплзлась все шире, и наконец раздался оглушительно громкий грубый смех. Верзила внезапно схватил беззащитную девушку за талию, поднял, поставил на стол и рывком высоко задрал ей юбку. Все это произошло так быстро, что Ванда не успела опомниться. Стоя на столе, она все еще боялась уронить бутылки. Чьи-то руки поспешно завязали ей юбку над головой. Но, почувствовав на теле прикосновение потных пальцев немца, Ванда с такой силой ударила его ногой, что упившийся майор, икнув, повалился на пол, увлекая за собой соседей. Отчаяние придало девушке сил. Она надвое разорвала юбку. Под звон падающих бутылок Ванда прыгнула со стола и вне себя от ярости и боли выбежала из столовой на улицу. Не успели растерявшиеся офицеры прийти в себя, как она исчезла во тьме.

За ее спиной раздался треск выстрелов, но пули пролетели мимо.

Ванда не помнила, как она выбежала из городка. Беспорядочная стрельба, крики и ругань — все осталось далеко позади.

Метнулись в последний раз и погасли лучи мотоциклетных фар, рассекавшие мрак, словно мечи. Кругом — не-

проглядная мгла. На небе ни звездочки. Обессиленная Ванда наконец остановилась и, дрожа всем телом, опустилась на сырой мох у подножия огромной ели.

Долго пролежала она так, прильнув к шершавому стволу, вдыхая его смолистый аромат. Величавое безмолвие могучей ели, могучего, словно уснувшего, леса постепенно успокоило ее.

Когда кровь перестала бешено стучать в висках, Ванда поднялась на ноги и, осторожно раздвигая руками колючие мокрые ветви молодых елей, пошла вверх по скалистому склону.

Три долгих года скрывалась Ванда на хуторе гурала, молчаливого крестьянина-горца, принявшего ее, как дочь, в свою семью. На исходе той памятной ночи крестьянин обнаружил ее у себя на сеновале. Ветер дул из всех щелей. У Ванды зуб на зуб не попадал от холода. Сперва старик долго смотрел на нее, недоверчиво сощутив свои темные глаза и не произнося ни слова. Наконец он сказал: «Вставай, пойдём! Ишь, дрожит-то вся, как мокрый теленок».

Он привел гостью в низкую горницу, позвал свою старуху. Потом, напоив Ванду горячим молоком, велел ей побожиться, что она будет говорить ему сущую правду. Не сойти ей с этого места, если солжет! И Ванда начала рассказывать. Горец и его жена слушали молча. Старик — в тех местах, где рассказ казался ему недостаточно подробным, — лишь предостерегающе поднимал голову, и Ванде приходилось припоминать все до мелочей.

Ванда кончила. Воцарилось молчание. Потом старик заговорил, не поднимаясь с места.

— Когда немцы пришли, дочка моя как раз в Новые Горки поехала, в наш уездный город. Так и не вернулась с тех пор. Что с нею стало, жива ли, померла — бог знает. Кристиной ее звать. Зовись и ты Кристиной, пока дочки нет. Коли вернется она — уйдешь к словзкам, через малый перевал. А пока и платья ее можешь носить. Теперь ступай переоденься да пойдти присмотри за скотиной. Корова в хлеву, свинья — на дворе...

Три лета подряд косила Ванда чахлую выгоревшую траву на горных лугах, пасла коров и стригла овец, три зимы коротала за работой долгие вечера, вышивая старинные красные узоры на войлочных куртках гуралов.

И каждую весну просыпалась в сердце робкая надежда, просыпалась и вновь угасала.

За эти три года на альпийских лугах в Польских Таграх мало что изменилось. Лишь иногда у подножия Спящего Рыцаря появлялись немецкие туристы — обычно в сопровождении солдат. Они громко трещали что-то на непонятном языке, нарушая вековой покой гранитного великана. Время от времени сюда забирались и фельд-жандармы, обливаясь потом под тяжестью снаряжения и разнообразного оружия, которым они были увешаны с ног до головы. Они выпивали целые ведра молока и рычали на польских переводчиков. Видно, нелегко переводить этому упрямому мужичью мудреные вопросы господ жандармов.

Ванда почти не покидала хутор и все же только чудом благополучно прошла сквозь все облавы и проверки документов. Впрочем, уже на следующий день после ее появления старик горец молча сунул ей в руки истрепанный паспорт, подтверждавший, что его владелицу зовут Кристиной и что она дочь крестьянина и родилась здесь же, в этом доме. Быстрота, с которой Ванда привыкла к этой мысли, ей самой впоследствии казалась непостижимой...

В последний год к крестьянину стали приходиться по ночам какие-то странные гости, сперва редко, потом все чаще и чаще. Пошептавшись о чем-то с хозяином в сенях, они исчезали так же внезапно, как и появлялись. Но лишь месяц назад Ванда поняла наконец, кто эти таинственные незнакомцы... В тот вечер крестьянин сказал ей вдруг, что ему нездоровится, и ушел спать, поручив Ванде встретить двух гостей, которые придут под утро, часа в четыре, и передать им мешок картошки да холщевый узелок с брынзой. Все это спрятано в сарае под сеном.

— Только смотри, чтобы никто из чужих не увидел, — добавил он.

Ванда вопросительно посмотрела на него, но старик только рукой махнул, словно хстел сказать: не твоя это забота, делай, что тебе говорят.

Зато пришельцы без обиняков сказали ей, что они партизаны. Там, в долине, они не дают покоя швабам.

Ванда слушала их с восхищением и смотрела на них во все глаза. Гости решили, что девчонка годна не только на то, чтобы передавать им сыр и картошку. Нет, ей можно поручить дела посерьезней! Видимо, старик рассказал им

о том, кто такая на самом деле его Кристина. Молчаливый горец, не любивший впутывать баб в мужские дела, видать, нарочно прикинулся больным. Пусть партизаны сами скажут девчонке, чего они от нее хотят! Впрочем, эта мысль пришла Ванде в голову много позднее. Так или иначе, партизаны сказали ей об этом. Ванда ответила «да», и это прозвучало так же просто и естественно, как «аминь» в церкви. Ванда ненавидела немцев всей душой, и до сих пор у нее не было повода изменить свое отношение к ним.

Прошел месяц. Ванда стала связной у партизан и выполнила уже несколько поручений. Кроме того, днем, работая в поле, она следила за дорогой и запоминала, кто и в какие часы проходит по ней.

Однажды вечером девушка сидела, как обычно, со стариками на крыльце.

Они смотрели вниз, туда, где, скрытая за синеватой дымкой леса, раскинулась долина. И вдруг Ванда услышала гул далекого взрыва. Быть может, ей это померещилось? Но, взглянув на стариков, она поняла, что не ошиблась. Тотчас же вслед за взрывом тишину разорвал глухой короткий треск. Тысячметровая гранитная стена Спящего Рыцаря откликнулась зловещим эхом, которое прокатилось над горными лугами, окутанными пеленой вечернего тумана. Но лес заглушил эхо, прежде чем оно отзывалось.— потревоженный Рыцарь так и не дождался ответа... И вновь воцарилась тишина.

Девушка и старики по-прежнему прислушивались, но каждый уже погрузился в свои думы.

Посидев так еще немного, они ушли с крыльца.

В ту же ночь незадолго до рассвета, часа в четыре, Ванда, спавшая беспокойно и чутко, внезапно проснулась. Стучат? Приподнявшись на локте, она вглядывалась в темноту. Да, стук явственно доносился из-за разошедшейся двери. Ей даже показалось, что на этот раз стучали настойчивей. Ванда быстро скользнула в свои деревянные башмаки, накинула на плечи шерстяной платок и ощупью пробралась на кухню. В темноте она столкнулась с хозяином, который тоже крадучись шел к двери. Как по команде, они приложили палец к губам и чуть не рассмеялись, но нетерпеливый стук вновь поглотил их внимание. Они замерли у двери. Подождав еще немного, Ванда осторожно отодвинула засов, и в этот миг они ясно слышали четыре долгих и три коротких удара: условный стук партизан.

Он внезапно вскочил со стула и пролаял, с трудом ворочая языком:

— Господа, сегодня Франция подписала капитуляцию! А за нашим столом — ни одной французенки. Это черт знает что!

— Верно! Правильно! — раздалось со всех сторон.

Но пьяный вояка поднял руку, призывая к спокойствию, и продолжал:

— Были бы на худой конец подходящие польские бабенки! Тогда еще куда ни шло! А так...

Поджарый, хлыщеватого вида офицер с белокурыми усиками, сидевший прямо напротив верзилы, прогнусавил:

— Майор, вы несправедливы, да и галантным вас не назовешь!

— То есть как? — шумно выдохнул майор, удивленно ворочая стеклянными глазами.

В ответ гундосый хлыщ бросил лишь небрежное «ну вот», слегка кивнув головой в сторону Ванды, стоявшей за спиной майора. Тот уже еле держался на ногах, нижняя губа у него отвисла. Он с трудом повернулся и устоял на Ванду. На лице его появилась ухмылка, она расплзлась все шире, и наконец раздался оглушительно громкий грубый смех. Верзила внезапно схватил беззащитную девушку за талию, поднял, поставил на стол и рывком высоко задрал ей юбку. Все это произошло так быстро, что Ванда не успела опомниться. Стоя на столе, она все еще боялась уронить бутылки. Чьи-то руки поспешно завязали ей юбку над головой. Но, почувствовав на теле прикосновение потных пальцев немца, Ванда с такой силой ударила его ногой, что упившийся майор, икнув, повалился на пол, увлекая за собой соседей. Отчаяние придало девушке сил. Она надвое разорвала юбку. Под звон падающих бутылок Ванда прыгнула со стола и вне себя от ярости и боли выбежала из столовой на улицу. Не успели растерявшиеся офицеры прийти в себя, как она исчезла во тьме.

За ее спиной раздался треск выстрелов, но пули пролетели мимо.

Ванда не помнила, как она выбежала из городка. Беспорядочная стрельба, крики и ругань — все осталось далеко позади.

Метнулись в последний раз и погасли лучи мотоциклетных фар, рассекавшие мрак, словно мечи. Кругом — не-

проглядная мгла. На небе ни звездочки. Обессиленная Ванда наконец остановилась и, дрожа всем телом, опустилась на сырой мох у подножия огромной ели.

Долго пролежала она так, прильнув к шершавому стволу, вдыхая его смолистый аромат. Величавое безмолвие могучей ели, могучего, словно уснувшего, леса постепенно успокоило ее.

Когда кровь перестала бешено стучать в висках, Ванда поднялась на ноги и, осторожно раздвигая руками колючие мокрые ветви молодых елей, пошла вверх по скалистому склону.

Три долгих года скрывалась Ванда на хуторе гурала, молчаливого крестьянина-горца, принявшего ее, как дочь, в свою семью. На исходе той памятной ночи крестьянин обнаружил ее у себя на сеновале. Ветер дул из всех щелей. У Ванды зуб на зуб не попадал от холода. Сперва старик долго смотрел на нее, недоверчиво сощутив свои темные глаза и не произнося ни слова. Наконец он сказал: «Вставай, пойдём! Ишь, дрожит-то вся, как мокрый теленок».

Он привел гостью в низкую горницу, позвал свою старуху. Потом, напоив Ванду горячим молоком, велел ей побожиться, что она будет говорить ему самую правду. Не сойти ей с этого места, если солжет! И Ванда начала рассказывать. Горец и его жена слушали молча. Старик — в тех местах, где рассказ казался ему недостаточно подробным, — лишь предостерегающе поднимал голову, и Ванде приходилось припоминать все до мелочей.

Ванда кончила. Воцарилось молчание. Потом старик заговорил, не поднимаясь с места.

— Когда немцы пришли, дочка моя как раз в Новые Горки поехала, в наш уездный город. Так и не вернулась с тех пор. Что с нею стало, жива ли, померла — бог знает. Кристиной ее звать. Зовись и ты Кристиной, пока дочки нет. Коли вернется она — уйдешь к словзкам, через малый перевал. А пока и платья ее можешь носить. Теперь ступай переоденься да пойдй присмотри за скотиной. Корова в хлеву, свинья — на дворе...

Три лета подряд косила Ванда чахлую выгоревшую траву на горных лугах, пасла коров и стригла овец, три зимы коротала за работой долгие вечера, вышивая старинные красные узоры на войлочных куртках гуралов.

И каждую весну просыпалась в сердце робкая надежда, просыпалась и вновь угасала.

За эти три года на альпийских лугах в Польских Татрах мало что изменилось. Лишь иногда у подножия Спящего Рыцаря появлялись немецкие туристы — обычно в сопровождении солдат. Они громко трещали что-то на непонятном языке, нарушая вековой покой гранитного великана. Время от времени сюда забирались и фельд-жандармы, обливаясь потом под тяжестью снаряжения и разнообразного оружия, которым они были увешаны с ног до головы. Они выпивали целые ведра молока и рычали на польских переводчиков. Видно, нелегко переводить этому упрямому мужичью мудреные вопросы господ жандармов.

Ванда почти не покидала хутор и все же только чудом благополучно прошла сквозь все облавы и проверки документов. Впрочем, уже на следующий день после ее появления старик горец молча сунул ей в руки истрепанный паспорт, подтверждавший, что его владелицу зовут Кристиной и что она дочь крестьянина и родилась здесь же, в этом доме. Быстрота, с которой Ванда привыкла к этой мысли, ей самой впоследствии казалась непостижимой...

В последний год к крестьянину стали приходиться по ночам какие-то странные гости, сперва редко, потом все чаще и чаще. Пошептавшись о чем-то с хозяином в сенях, они исчезали так же внезапно, как и появлялись. Но лишь месяц назад Ванда поняла наконец, кто эти таинственные незнакомцы... В тот вечер крестьянин сказал ей вдруг, что ему нездоровится, и ушел спать, поручив Ванде встретить двух гостей, которые придут под утро, часа в четыре, и передать им мешок картошки да холщевый узелок с брынзой. Все это спрятано в сарае под сеном.

— Только смотри, чтобы никто из чужих не увидел, — добавил он.

Ванда вопросительно посмотрела на него, но старик только рукой махнул, словно хстел сказать: не твоя это забота, делай, что тебе говорят.

Зато пришельцы без обиняков сказали ей, что они партизаны. Там, в долине, они не дают покоя швабам.

Ванда слушала их с восхищением и смотрела на них во все глаза. Гости решили, что девчонка годна не только на то, чтобы передавать им сыр и картошку. Нет, ей можно поручить дела посерьезней! Видимо, старик рассказал им

о том, кто такая на самом деле его Кристина. Молчаливый горец, не любивший впутывать баб в мужские дела, видеть, нарочно прикинулся больным. Пусть партизаны сами скажут девочонке, чего они от нее хотя! Впрочем, эта мысль пришла Ванде в голову много позднее. Так или иначе, партизаны сказали ей об этом. Ванда ответила «да», и это прозвучало так же просто и естественно, как «аминь» в церкви. Ванда ненавидела немцев всей душой, и до сих пор у нее не было повода изменить свое отношение к ним.

Прошел месяц. Ванда стала связной у партизан и выполнила уже несколько поручений. Кроме того, днем, работая в поле, она следила за дорогой и запоминала, кто и в какие часы проходит по ней.

Однажды вечером девушка сидела, как обычно, со стариками на крыльце.

Они смотрели вниз, туда, где, скрытая за синеватой дымкой леса, раскинулась долина. И вдруг Ванда услышала гул далекого взрыва. Быть может, ей это померещилось? Но, взглянув на стариков, она поняла, что не ошиблась. Тотчас же вслед за взрывом тишину разорвал глухой короткий треск. Тысячметровая гранитная стена Спящего Рыцаря откликнулась зловеющим эхом, которое прокатилось над горными лугами, окутанными пеленой вечернего тумана. Но лес заглушил эхо, прежде чем оно отзвучало.— потревоженный Рыцарь так и не дождался ответа... И вновь воцарилась тишина.

Девушка и старики по-прежнему прислушивались, но каждый уже погрузился в свои думы.

Посидев так еще немного, они ушли с крыльца.

В ту же ночь незадолго до рассвета, часа в четыре, Ванда, спавшая беспокойно и чутко, внезапно проснулась. Стучат? Приподнявшись на локте, она вглядывалась в темноту. Да, стук явственно доносился из-за разошедшейся двери. Ей даже показалось, что на этот раз стучали настойчивей. Ванда быстро скользнула в свои деревянные башмаки, накинула на плечи шерстяной платок и ощупью пробралась на кухню. В темноте она столкнулась с хозяином, который тоже крадучись шел к двери. Как по команде, они приложили палец к губам и чуть не рассмеялись, но нетерпеливый стук вновь поглотил их внимание. Они замерли у двери. Подождав еще немного, Ванда осторожно отодвинула засов, и в этот миг они ясно слышали четыре долгих и три коротких удара: условный стук партизан.

...В предрассветных сумерках Ванда различила в темном квадрате окна фигуры двух мужчин; один был высокого роста, другой пониже. Судя по шепоту и звяканью оружия, раздававшемуся у них за спиной, они пришли не одни. Высокий тотчас же вошел в дом и приглушенным голосом приказал: «Свет, пожалуйста, не зажигайте». Вслед за ним вошел тот, что пониже. Оставив дверь полуоткрытой, он прислонился к косяку и повернулся лицом к своим спутникам, оставшимся снаружи. В высоком Ванда по голосу сразу же узнала человека, с которым она, выполняя поручения партизан, встречалась в условленном месте на горной тропинке. Он подошел к ней и старику, положил им руки на плечи и заговорил спокойным, казалось, даже беспечным тоном. Но его пальцы, то и дело нервно сжимавшие плечо Ванды, выдавали скрытое волнение.

Да, он и его товарищи очень спешат! Время дорого. Еще до утра им надо уйти как можно дальше в горы. По всей вероятности, немецкие каратели уже ранним утром начнут прочесывать ближние леса и долины. Еще был Веды в долине вчера взлетел на воздух немецкий склад горючего. Как ни маскировали и ни охраняли его швабы, ничего не помогло.

Партизан помолчал немного. Рука его больно стиснула плечо Ванды. Чувствовалось, что он не сказал еще самого главного. Девушка и старик не проронили ни слова. Тем временем проснулась и старуха. Несмотря на разыгравшуюся подагру, она проковыляла к двери и тоже внимательно слушала рассказ ночного гостя.

— Я прошу вас оказать нам важную услугу. Важную для нашего дела, для Польши, — продолжал партизан, делая ударение на словах «прошу» и «важную». И всем троим сразу стало ясно, что на этот раз речь пойдет о чем-то более важном и, наверное, гораздо более опасном, чем обычные поручения.

— Во время операции трое наших людей были ранены. Двое из них могут идти с помощью товарищей, но третий... третий ранен в живот. Сюда мы его кое-как дотащили. Но он истек кровью... Если мы понесем его дальше в горы — он не вытянет. Бинт и... ампулу с камфорой мы вам оставим. Дадим и шприц. Прокипятите его и, если пульс у раненого начнет ослабевать, сделайте ему укол.

Партизан порылся в вещевом мешке, достал индивидуальный пакет и положил его на раскрытую ладонь Ванды. При этом он ласково, но твердо сжал ее руку.

— Это — все, что у нас осталось, — мягко сказал он и продолжал уже деловитым тоном: — Поднимите доски в полу где-нибудь в углу, чтобы в глаза не бросалось, и выроете яму. Застелите ее рогожей и сеном. Нагрянет патруль — спрячьте там нашего товарища. Да смотрите, оставьте щели между досками, а то он, чего доброго, еще задохнется! Работать начинайте сейчас же, пока еще есть время. Раньше чем часа через четыре немцы сюда не доберутся. А раненый пусть тем временем в постели полежит, укройте его потеплей, а то его знобит.

— В моей постели, — добавила Ванда. Она сказала это так же спокойно и деловито, как говорил командир партизан.

— Но ни в коем случае не давайте ему пить, как бы он ни просил. Намочите кусок марли в чае или просто в кипяченой воде и обтирайте ею язык и губы раненого...

Партизан внезапно замолк, не окончив фразы. В наступившей тишине слышно было лишь дыхание старика и старухи. Казалось, гость в тревоге прислушивается к нему, ожидая ответа.

— Внесите его, — сказал наконец хозяин. Старый горец молчал долго не потому, что колебался: он молился, беззвучно шевеля губами. В темноте, однако, никто не заметил этого.

Четыре человека, вспотевшие и распаренные как после бани, осторожно внесли носилки, наспех сделанные из сучьев. Взяв одного за руку, Ванда провела их в свою комнату. Они шли, осторожно ступая в темноте, и, подойдя к кровати, стали укладывать раненого. Жалобный стон огласил низкую каморку. Потом раненый пробормотал несколько слов. Ванда не поняла его, но ей стало не по себе: он говорил на каком-то чужом языке.

Партизаны постояли немного у постели раненого товарища. Один из них тихо и ласково сказал ему что-то на прощанье. Странно прозвучала эта ласка в устах бывшего солдата.

Партизаны, стараясь не шуметь, один за другим вышли из комнаты. Последний нес пустые носилки. Ванда вышла

вслед за ними и закрыла за собой дверь. В этот момент из кухни вновь донесся голос высокого партизана:

— Немцам в голову не придет, что его прячут здесь. А через пару дней мы всыплем им по первое число где-нибудь поблизости, в соседнем уезде, — тогда они и вовсе об этом думать позабудут! Потом мы сразу же пришлем сюда хирурга — он вынет пулю. Как только раненый оправится немного после операции, мы перенесем его к себе, в горы. Ну а до тех пор — ухаживайте за ним получше... и смотрите в оба...

— Ступай, сынок, ступай! Не трать слов попусту, — сказал старик и слегка подтолкнул партизана к выходу.

Тот уже переступил было порог, но в этот миг Ванда, подойдя к нему, спросила:

— Как зовут вашего товарища? Откуда он родом?

Высокий обернулся, автомат, висевший у него за спиной, глухо стукнулся о дверной косяк. Он привлек к себе Ванду и наклонил к ней свою большелобую голову. От его густых, всклокоченных волос пахло смолой.

— Я думал, это не так важно. Но уж коли спросила — слушай. Сказать-то недолго! Слушайте и вы, хозяин с хозяйкой. Наш раненый товарищ — немец!

Старик и Ванда отпрянули, словно от удара по лицу. Только старуха не двинулась с места: каждый шаг причинял ей нестерпимую боль.

— Немец? — повторяла она. — Немец?! Тогда пусть подышает! Мало, что ли, они наших погубили!

Партизан не дал ей договорить. Изменившимся от гнева голосом он сказал:

— Этот человек тоже свой, уже много месяцев работает вместе с нами. Уничтожение склада с горючим — его рук дело! Он был в карауле, и без него мы не подступились бы к складу. Когда мы отходили, взводный, немец, успел выстрелить ему в живот. — И тоном, не допускающим возражения, добавил: — Не для того мы, рискуя жизнью, тащили его сюда, чтобы он здесь «подышал»! Ясно?

Он постоял в нерешительности, словно хотел сказать еще что-то, но потом махнул рукой и вновь шагнул к двери.

Ванда и старик стояли в раздумье, понутив голову. Старуха все еще не могла прийти в себя; она продолжала машинально бормотать:

— Немец?.. Немец?..

Внезапно партизан повернулся и закричал на всю кухню так, что задрезжала гипсовая фигурка богоматери, стоявшая на столе, у стены:

— Да, немец! Немец, по фамилии Мюллер!

И он вышел, с силой захлопнув дверь. Ночная мгла вскоре поглотила шум шагов.

Ванде не хотелось спать, хотя она и валилась с ног от усталости. Девушка сидела на краю кровати, своей кровати, в которой лежал теперь раненый немец, держа его восковую руку в своей. Еще час назад она была в смятении: противоречивые тревожные мысли проносились в ее сознании. Но теперь сомнения не мучили ее больше и мысли были ясны, как вода в Белой, горной речушке, стекавшей в долину.

Весь остаток ночи они с хозяином работали не покладая рук: разбирали пол, долбили и копали землю. Не одну тяжелую, доверху наполненную землей корзину пришлось им оттащить подальше от дома к скалистому обрыву над Белой. Там они высыпали землю в kloкочущий водоворот. Потом они устлали яму сеном и рогожами и тщательно прибрали комнату, уничтожив все следы ночной работы. Ванда проделала все это машинально, не чувствуя усталости; грозящая опасность придавала ей сил. Но мучительные сомнения не оставляли ее. Сердце не желало соглашаться с доводами рассудка. Что бы он ни сделал, этот немец, рисковать ради него жизнью троих поляков — это уж слишком! Но Ванде не с кем было поделиться своими мыслями. Старик, насупившись, упорно молчал. Видно, он сам не знал, что и думать. Старуха, покачивая головой, добралась кое-как до постели и стала вслух молиться. Ванда попыталась было последовать ее примеру, но молитвы не шли на ум.

Под утро Ванда, пошатываясь от усталости, пришла к себе в комнату. Она была вся в пыли, намокшее платье прилипало к телу, руки и спина мучительно ныли. Тягостные мысли не выходили из головы. Она опустила на табурет, отодвинув его как можно дальше от постели, и долго сидела так, не двигаясь и отвернувшись от раненого. Тишину нарушало лишь прерывистое дыхание немца.

Ванда невольно прислушивалась к его ритму. Потом она повернулась и стала смотреть, как поднимается и опускается при каждом вздохе серая простыня, укрывавшая раненого.

И вот раненый солдат, лежавший на ее кровати, предстал ей в ином свете. Еще час назад он был в ее глазах таким же немцем, как и любой другой. Вдобавок его звали Мюллер — ненавистное имя. Ведь так же звали подлеца, передавшего в руки палачей-эсэсовцев ее профессора. Но теперь она увидела в неизвестном солдате человека, добровольно рисковавшего жизнью во имя того же правого дела, что и она. И этот человек нуждался в ее помощи! Ванда бесшумно подошла к нему и в первый раз за эти часы всмотрелась в его черты. Тонкий прямой нос раненого казался почти белым в неверном свете утренних сумерек, большие черные глаза лихорадочно блестели. Их невидящий взгляд был устремлен прямо на Ванду. И вдруг ей стало ясно, что ему, немцу, найти правильный путь было куда трудней, чем им, полякам. «Пить», — чуть слышно прошептал раненый, с трудом разлепив пересохшие губы. Ванда побежала на кухню, заварила чай, достала из шкафа чистый полотняный лоскут, прокипятитала шприц...

С этой минуты она не отходила от раненого. Она обтирала влажной тряпкой его губы, когда он особенно настойчиво просил пить, и время от времени проверяла его пульс. Пульс был слабый, с перебоями. Едва ощущаемое биение сердца раненого болью отзывалось в душе Ванды, но в то же время успокаивало ее. Но пульс становился все слабей. Вскоре Ванда уже вовсе не могла нащупать его и позвала на помощь старика. Подойдя к кровати, тот долго смотрел на большую мозолистую руку немца. Она мало чем отличалась от его собственных рук. Но сейчас, бессильная и пожелтевшая, она вызвала у него острую жалость. Старик осторожно приподнял руку солдата и медленно ощупал его запястье заскорузлыми пальцами. Потом с необычной для него бережностью вновь положил руку раненого на простыню. Помолчав немного, горец отер лоб тыльной стороной ладони, повернулся и уже у двери тихо, словно ни к кому не обращаясь, произнес:

— Они ведь оставили нам что-то? На всякий случай...

Ванда лишь однажды в своей жизни случайно видела, как делают уколы шприцем. Кое-как она впрыснула раненому камфару и схватила его руку. На этот раз она сразу нашла пульс. Улыбка осветила ее лицо. Бросившись к двери, она крикнула чуть ли не во весь голос:

— Бьется! Бьется! Идите же сюда! Скорей.

Старик тут же пришел на ее крик и остановился в дверях, вопросительно глядя на девушку и не ожидая ответа. Ванде стало стыдно, что она закричала так громко, но она не выпустила из рук пальцы раненого. Теперь, под вопросительным взглядом хозяина, она опустила глаза. На несколько секунд широкая рука легла на ее волосы — значит, она не ошиблась, когда ей послышалось, что в соседней комнате скрипели половицы...

...Старик вышел, осторожно затворив за собой дверь. Вновь заскрипели половицы в соседней комнате. Внезапно глаза Ванды наполнились слезами. Горькое отчаяние, неудержимое, словно талые воды весной, охватило ее. Она попыталась взять себя в руки, но мучительное чувство собственного бессилия разрывало ей сердце. Слезы потекли по щекам. Низко наклонившись к лицу раненого, она заглянула ему в черные, затуманенные болью глаза, прислушалась к слабеющему дыханию. Не может быть! Старик ошибся! Зачем он пытался утешить и обнадежить ее? Ведь сам он потерял уже всякую надежду! Она прочла это в его глазах!

Раненый, слегка подвинув голову к краю подушки, прошептал что-то. Ванда наклонилась к самым его губам, забыв, что не понимает его языка.

— Дзенкую, — по-польски прошептал солдат, — дзенкую. Спасибо. — Потом, помолчав немного, он произнес несколько непонятных слов по-немецки.

Ванда сразу же запомнила их. Это были уже не первые немецкие слова, навсегда сохранившиеся у нее в памяти: она не забыла слов, произнесенных Мюллером в актовом зале университета, рычанье пьяного майора в Закопанье... Но отныне ей не суждено было забыть и слова умирающего солдата... «Это — хорошая смерть!..»

...Спящий Рыцарь смотрел через низкое оконце на умирающего и на плачущую девушку. Его каменное чело пламенело в первых алых лучах восходящего солнца.

...Вскоре в дом ворвались немецкие солдаты. Они первернули все вверх дном. Комья грязи с их сапог падали

в щели между половицами, в невидимый тайник, где лежал мертвый немецкий патриот. Польские крестьяне были ему надежной защитой и после смерти.

Когда солдаты ушли, Ванда Ковальская и старый гурал на плечах понесли мертвого в горы, к подножию Спящего Рыцаря. Там они вырыли могилу. Гранитная скала, уходящая в облака, вздымается над ней, как нерушимый памятник.

КОМЕНДАНТША

Семнадцатого июня тысяча девятьсот пятьдесят третьего года около двенадцати часов дня в камеру Заальшtedтской тюрьмы, где сидела некая Гедвиг Вебер, вошли двое мужчин; узнав от арестантки, что она приговорена к пятнадцати годам за преступление против человечности, они сказали: «Вот таких-то мы сейчас и разыскиваем», — а затем объявили ей, что она свободна.

Накануне, поздно вечером, проститутка и детоубийца Ральман, сидевшая этажом выше, условным стуком подзвала ее к окну. Вебер встала на цыпочки и услышала шепот: в городе забастовка. Ей хотелось разузнать подробности, но Ральман уже отскочила от решетки. На следующий день, на рассвете, еще до начала работ, она впервые уловила отдаленные крики и пение. Вебер подумала лениво и вяло: «Снова у них праздник». Порылась в памяти, но так и не вспомнила, какой. «Впрочем, они без конца что-нибудь да празднуют». Сейчас, стоя перед этими мужчинами, она сообразила, что работы сегодня начались раньше обычного. Часа через два после начала работ она снова услышала голоса, они раздавались намного ближе, чем на рассвете, громче, отчетливее, но слов разобрать было нельзя. Несколько лет назад Вебер отсидела в тюрьме четыре месяца за воровство. Теперь в самодельном календаре — каждому дню соответствовала царапина на стене — она начала отмечать восьмой месяц своего заключения. За это время она успела привыкнуть к тюремным шумам и не обращала на них внимания. Флигель, в котором содержались женщины, стоял далеко от улицы. Вебер подчас не понимала, что происходит за тюремными стенами; собственно, это было не так уж и важно; звуки с воли были лишь толчком для возникновения мыслей,

а стоило им только появиться, как поток воспоминаний, словно несущийся поезд, уносил ее в прошлое. Жадно погружалась она в свои мечты, хоть и понимала их бесплодность и бессмысленность. Вот и сегодня утром, собственно, ничего не изменилось, даже когда Ральман снова подозвала ее к окну: она, мол, видит дым. Вебер не видела никакого дыма. А если он и был, что ж, это попросту знойный, южный ветер гонит в их сторону дым из труб машиностроительного завода. Зато в ней самой как будто поднималась дымовая завеса, какой-то туман заволакивал все ее существо; она слышала торопливые шаги в коридоре, глухие удары и рев толпы на улице. Потом раздался крик, равнодушно отмеченный Вебер; это был нечеловеческий вопль, плохо верилось, что он исходит из человеческой груди.

Тюрьма все еще молчала. Но вдруг во всех камерах громко и возбужденно заговорили, пронзительно засмеялись; шум приближался, уже слышны были шаги и скрип отворяемых дверей. Вот завизжал замок, и в камеру Вебер вошли те двое мужчин. Тот, кто спросил ее о причине ареста, был молодым, красивым, высоким парнем; у другого, постарше, был примечателен только взгляд, лишь раз на мгновение остановившийся на Вебер, когда та объясняла причину своего ареста. Он едва скользнул по ее лицу, но уж, конечно, человеку с таким взглядом можно было довериться. Мужчины стояли в дверях, на обоих были береты и темные очки, а за спинами их опростельно пробегали заключенные. Вебер увидела среди них Ингу Грютцнер с верхнего этажа, та весело кивнула ей через головы мужчин и исчезла. Сердце Вебер то замирало от безумной надежды, то отказывалось довериться ей. Туман, наполнивший ее, распирает грудь: хотелось орать, бесноваться, крушить что попало. Мужчины сообщили ей, что в Берлине и по всей стране — грандиозные события, правительство свергнуто, коммунисты бежали, янки вот-вот перейдут демаркационную линию.

— А что же русские?

— Не сражаться же им за Ульбрихта, — сказал высокий красавец и, насвистывая, принялся осматривать стены камеры, словно это было невесть как интересно.

— Русские отойдут за Вислу. Такие люди, как вы, могут понадобиться, — сказал пожилой. — Вы должны явиться в Заальштедтский штаб. Уже сейчас предвижу,

сколько дел обрушится на нашу голову. Нам очень нужны будут опытные, преданные люди.

Вебер спросила, все еще словно в тумане:

— Неужели правда? Я действительно свободна?

Мужчины рассмеялись. Вебер слушала шум в коридорах и на улице, и ей вдруг показалось, что заиграла полузабытая музыка: визжали флейты, трещали барабаны, врываясь в звуки марша и в истерические крики «хайль», перекачивались из улицы в улицу; и тогда туман, обволакивающий Гедвиг, исчез. Отчетливо и хладнокровно представила она себе свое прошлое: семь месяцев пребывания в этой камере, где ей предстояло провести пятнадцать лет, и семь лет до этих семи месяцев — то были годы, наполненные страхом, притворством, безнадежностью, полные невыразимой ненависти к тому, что еще недавно было ей подвластно и что теперь имело власть над ней: ко всем этим новым деятелям с их знаменами, газетами, соревнованием, лозунгами. Как в кошмарном сне, ее на каждом шагу подстерегали бесчисленные опасности, от которых нельзя было убежать, ибо она уже не верила в возможность бегства, не верила в возможность перемен в жизни. Старые связи она и не пыталась возобновить. У одной женщины, не подозревавшей об ее прошлом, Вебер регулярно слушала по радио сообщения о розысках эсэсовцев. Раз-другой в этих сообщениях промелькнули знакомые фамилии. Но вот однажды она услышала свое имя: «Разыскивается служащая Гедвиг Вебер, которую в последний раз видели в марте 1945 года в Фюрстенберге». Она тогда чуть было не выдала себя. Ну и хитры же они: нарочно называют Фюрстенберг, который находится совсем рядом с Равенсбрюком.

Несколько раз она поступала на завод, но очень быстро ей становились невмоготу и работа и люди. Фальшивые документы на имя Хельги Шмидт навязали ей чужую жизнь, тысячи мелочей чужого прошлого, о котором она ничего не знала. Чтобы заполнить время, она заводила интрижки с мужчинами. Так, в Магдебурге Вебер познакомилась с человеком, напоминавшем ей обершарфюрера Воррингера, с которым она жила в Равенсбрюке. Когда за кражу мотка медной проволоки ее на четыре месяца посадили в тюрьму, она впервые почувствовала себя спокойной: за арестанткой Шмидт никто не следил, никто ее ни о чем не расспрашивал, ей больше

нечего бояться, что ее узнают на улице. А потом пришло письмо из Ганновера, от отца; он писал, что его прошлым никто не интересуется, наоборот, работа в охране даже послужила рекомендацией для органов юстиции, ему грешно жаловаться на жизнь, но ей лучше повременить с приездом: у него-де полно хлопот с новой квартирой. Ей тем временем снова опротивела эта жизнь, эти люди в синих блузах с их беседами о культуре, образовании, домах отдыха и займах, опротивела народная полиция на грузовиках и вечная погоня за парой белья, которую немислимо было достать, а главное — осточертело шататься по улицам и кафе, где она постоянно находилась в мучительно напряженном состоянии, стараясь никому не бросаться в глаза и ухитряясь показывать людям только свой профиль, — короче говоря, все это ей опротивело до такой степени, что она серьезно подумывала о переезде в Ганновер, хотя и опасалась, что там ее скорее будут разыскивать, чем здесь, где это никому и в голову не придет. Но тогда произошло то, что, как дамоклов меч, все время висело над ней, о чем она думала и что передумывала тысячу раз и в конце концов стала считать невозможным: когда она в Заальштедте выходила из магазина, ее на улице опознал бывший узник концлагеря, ее арестовали и приговорили к пятнадцати годам тюремного заключения.

И вот сейчас Вебер говорила себе, что кошмары не длятся вечно и тот, кто был наверху, снова займет там свое место. Сегодня ли, завтра ли, но так будет. Вебер усмехнулась, поймав себя на привычном движении: ее правая рука похлопывала несуществующим хлыстом по голенищу несуществующего сапога.

— Положитесь на Блюмлейна, — сказал высокий красавец, — он великолепно понимает что к чему. Еще вчера он был в Целендорфе. О, этот слышит, как трава растет. Недаром его зовут Блюмлейн. Что и говорить — цветочек!

И он расхохотался.

— Думается, все мы вообще можем положиться друг на друга, — скромно заметил тот, кого звали Блюмлейн. — А теперь вот что: вам надо прежде всего переодеться. В этом наряде вы слишком бросаетесь в глаза. На складе вы наверняка себе что-нибудь подберете. Сегодня все бесплатно.

И он посторонился, пропуская Вебер вперед.

На лестничной площадке плашмя лежала тюремная надзирательница, веселая белокурая фрау Хельмке. Лицо ее было растоптано сапогами, но она еще дышала.

— Представляю, как она истязала вас, — бросил мимоходом высокий красавец.

Вебер ни разу не мучили в тюрьме. В Заальштедте вообще никого не мучили. Это всегда было выше ее понимания, и именно поэтому она сказала:

— Еще как...

Она перехватила быстрый взгляд Блюмлейна. Лицо его было неподвижно. Одни глаза смеялись.

«Уж мы-то понимаем друг друга», — казалось, говорили они. Решительно, с этим человеком Вебер чувствовала себя в безопасности. Тюрьма почти опустела. Где-то орало радио.

— Я бы сегодня не отходил от приемника, — сказал Блюмлейн. — РИАС так и сыплет специальными выпусками.

И Вебер вспомнила, как страна праздновала взятие Парижа, а потом Смоленска, а потом Симферополя, да разве запомнишь все эти дикие названия!

«Только не думать об этом», — приказала она себе.

Вебер жаждала рассказать кому-нибудь все, что с ней произошло. Но никто не приходил ей на ум. Воррингеру... Пожалуй, это было бы естественным, но Воррингер исчез, как призрак; только однажды пронесся слух, будто он живет в Аргентине. Тут она вспомнила об отце.

— Подождите-ка минутку. Я должна написать письмо.

Они зашли втроем в караульную, дверь которой была распахнута. Рядом с опрокинутым стулом валялась пишущая машинка. Сквозь пустые оконные рамы с торчащими осколками стекла врвался горячий ветер. В кипе бумаг Вебер раздобыла чистый лист, а в ящике стола — карандаш. Облокотившись на стол, она быстро набросала:

«Дорогой отец!

Свершилось. Не быть же Восточной Германии вечно в рабстве. Скоро мы снова наденем любимую эсэсовскую форму. Недалек тот час, когда я опять буду работать в политическом управлении, а может быть, и в гестапо. Добрые друзья позаботятся обо мне, пока наше знамя не взвьется над всей Германией. Уж теперь-то нам недолго ждать. *Твоя Хэди*».

Она поискала конверт, но не нашла.

«Ладно, отправлю его как-нибудь потом», — подумала она и сунула письмо в карман.

За воротами Вебер ослепил яркий свет. Ее поразило безлюдье на улице. Перед тюрьмой слонялось всего несколько человек, они посмотрели ей вслед. Шум схлынул, как вода после ливня. Было знойно и пустынно, и она, словно в родную стихию, окунулась в эту пустоту, где раскаленный ветер крутил рано опавшие сухие листья.

На углу Мерзбургштрассе толпа остановила машину, развозившую пиво. Двое мужчин сгружали ящики на землю, другие одеяли бутылками толпившихся вокруг зевак и прохожих. Какой-то старик без пиджака, в одной жилетке и рубаше без ворота снял мокрую от пота фуражку и кинул на Вебер напряженный, усталый взгляд: «Бери, не трусь. Янки заплатят». По улице медленно двигался автомобиль с громкоговорителем, он сзывал всех жителей Заальштедта на Базарную площадь, где в шесть часов вечера состоится митинг. Вебер обратила внимание на мужчину, который, повязав голову носовым платком, спокойно копался в палисаднике. А кто-то даже захлопнул окно в квартире, когда автомобиль проезжал мимо. Снова Вебер поймала себя на том, что рассекает воздух несуществующим хлыстом. Внезапно ей захотелось выстроить перед собой всех людей из домов, палисадников, со всего города и впиться в их лица глазами, как на переключке в Равенсбрюке. Когда они свернули на Фельдштрассе, Вебер увидела перед домом с выбитыми стеклами ворох бумаг, он съеживался и чернел на невидимом огне. Двое трое мужчин хлопотали около костра, из него к стенам домов взлетали большие хлопья сажки. Со второго этажа вышвырнули последнюю пачку с документами; зацепив надувшиеся от ветра занавески, она шлепнулась на мостовую. Внизу, в книжном магазине, была выломана дверь, а на его витринах — все перевернуто вверх дном. Высокий красавец выхватил верхнюю книгу из охапки, которую тащил парень в пестрой рубаше, и медленно прочел: «Чехов». Еще один Иван! К дьяволу!» Несколько минут они следили, как пламя перелистывает страницы книги.

Штаб занимал весь четвертый этаж жилого дома. Гедвиг ждала несколько минут в пустой комнате, потом Блюмлейн пригласил ее в соседнюю, где сидели какие-то люди. Вебер никого не знала из этих семи-восьми мужчин.

Они забросали ее вопросами о Равенсбрюке и о многом другом. Блюмлейн и высоченный лысый мужчина с набрякшими веками, видимо, были большими начальниками. Вебер легко представила их себе в эсэсовской форме. Она была голодна и попросила, чтоб ее покормили, а потом отправилась в ванную переодеваться. Только она начала мыться, как послышался скрежет и грохот. Она распахнула окно и увидела небольшую колонну советских танков, ползущих по улице. У нее пересохло в горле. Отсюда, с высоты четвертого этажа, хорошо были видны убегающие вдаль крыши домов, река, Базарная площадь и городские кварталы, круто обрывающиеся к реке. Сейчас на улице народу стало больше: будто в воскресенье, люди прогуливались взад-вперед, женщины толкали перед собой детские колясочки; появились пьяные, их выкрики глухо, словно издадалека, долетали до Вебер, но весь этот шум перекрывался грохотом танков; с открытыми люками — в них виднелись командиры — они невозмутимо и решительно двигались по улице и, скрежеща гусеницами, исчезали за углом.

Вебер поспешно вернулась в комнату. Приходили и уходили какие-то люди, кто был взбудоражен, а кто растерян и подавлен. Один из пришедших рассказал, что рабочие машиностроительного завода отказались бастовать, а агитаторов прогнали дубинками.

— Приходится считаться с этой красной сволочью, — обратился к Вебер лысый. Отозвав ее в угол, он продолжал:

— Только б не сдали нервы, коллега. — Он говорил, посмеиваясь, вполголоса. — Учтите, нас окружают всякие люди, кое-кому мы не совсем по вкусу, а кое-кто рад бы припереть нас к стенке. Вокруг не одни единомышленники, не так ли? Наш девиз сейчас: легальная борьба за власть. Но до власти еще далеко. Ведь янки ставят в своей игре не только на нас. А главное, не забудьте, сколько развелось в стране либеральствующей швади.

Подошел Блюмлейн.

— Что, начальник, делишься опытом старого нациста, а?

А лысый продолжал:

— Все это я говорю вам потому, что сегодня вечером на митинге вы должны выступить от имени политических

заключенных. Так вот, играйте на любых струнах, но только чтоб это было нам на руку.

Вебер спросила о танках, о том, что слышно с выводом русских войск.

— Время покажет. Народную полицию мы уже убрали. Представьте себе, она даже не подумала стрелять. И сейчас прячется по всем углам. Погодите, скоро и русские подожмут хвост.

«С такими удальцами во главе мы все одолеем», — торжествовала Вебер. И на мгновение она представила себе нескончаемое будущее, заполненное парадами, специальными выпусками последних известий, ликующим ревом громкоговорителей; ей чудились колонны людей в ярких мундирах, на которых завистливо и подобо-страстно смотрит толпа штатских, из верхних окон и до самого тротуара свешиваются огромные знамена; и вот она — вся в белом — и Воррингер — весь в черном — выходят из бюро регистрации браков, а на улице выстроился почетный караул — его отряд. Слепая дикая ярость затмила сознание, куда-то исчезла комната, и разговоры, и весь шум. Она видела себя снова за работой, за разумной, полезной, надолго вперед спланированной работой: следствия, допросы, потом — Равенсбрюк; во всем этом был определенный смысл и определенная система.

«Вы, голубчики, еще нас не знаете, — думала Вебер. — А вот теперь мы себя покажем. То, прежнее, было только прелюдией».

Группами, по двое, по трое, отправились они на Базарную площадь. Жители города, высунувшись из окон, смотрели на народ, тянувшийся к площади. Люди шли неторопливо, переговаривались, останавливались перед каждым объявлением военного коменданта об осадном положении в городе. Проходя мимо разгромленного магазина, на который молча глазела куча любопытных, Вебер услышала, как широкоплечий мужчина выругался:

— Полетели наши кровные денежки! Сволочи...

— Что поделаешь! Лес рубят — щепки летят, — отпаривал чей-то задорный и насмешливый голос.

Широкоплечий грозно обернулся на голос, но Вебер так и не услышала его ответа. У Базарной площади она увидела первый советский танк. Прислонясь к машине, стоял невысокий, наголо обритый солдат и свертывал

себе самокрутку. Женщина, шедшая рядом с Вебер, вызываясь плюнула ему под ноги. Солдат озадаченно взглянул на нее и несколько раз постучал себе пальцем по лбу. В толпе смущенно засмеялись.

За церковью Божьей Матери возвышалась трибуна, а над ней висел большой плакат с надписью: «Свобода!» Только эта трибуна и плакат занимали Вебер, она едва замечала танки, стоящие на всех четырех углах Базарной площади, ей была безразлична толпа народу, напоминавшая растревоженный муравейник. Русские, очевидно, решили не препятствовать митингу. Что ж, они еще пожалуют об этом! В голове у Вебер был невероятный ералаш: звучал колокол, раздавались слова команды лагерных надзирателей, в стремительном потоке мыслей она пыталась зацепиться за наставления лысого. Потом до нее донесся голос Блюмлейна, он открыл митинг и предоставил кому-то слово. И вдруг Вебер услышала: «Сейчас выступит жертва коммунистического террора, бывшая политзаключенная Хельга Шмидт».

Вебер не сразу сообразила, что Хельга Шмидт — это она. Пожалуй, неплохо, что ее снова назвали этим именем. А потом она услышала свой голос, полузабытый, прежний голос:

— Сограждане...

Может быть, ей следовало по-другому начать свое выступление. Но дальше она уже не допустила ни одного промаха. Ее речь лилась так, будто она все последнее время только и делала, что упражнялась в ораторском искусстве. Вебер говорила о том, что нескончаемые бедствия послевоенного периода и тоталитарный террор открыли глаза немцам Центральной Германии. Они, немцы, хорошо понимают теперь, что такое свобода и человеческое достоинство, а лучше всех это знают политические заключенные; тюрьмы, да и вся жизнь при этом режиме — беспросветная нищета и голод — укрепили кровную связь нашего народа с Западом, а Запад в свою очередь считает своим долгом вызволить восемнадцать миллионов братьев, рвущихся к закону и свободе; и вот теперь час освобождения пробил.

Толпа перед ее глазами сливалась в яркие подвижные пятна, между ними виднелись полоски пыльной мостовой.

«И за это вы поплатитесь тоже, — мысленно негодовала Вебер, — подумать только, как приходится улаживать вас».

Она все время чувствовала, что кто-то упорно наблюдает за ней. Ее раздражало это, и она вперила взгляд в первое попавшееся лицо, небритое лицо низенького старичка в потертом пиджаке; он боязливо поглядывал на нее своими выцветшими глазками. Раз-другой он заплодировал, раз-другой покачал головой. На площади то там, то здесь раздавались аплодисменты, но какие-то робкие, неуверенные и не всегда кстати. Теперь она обращалась к невзрачному низенькому старичку, точно он был ее единственным слушателем. «Кто же ты такой, — думала она, — сейчас-то ты аплодируешь, а как дойдет дело до схватки, ты и дашь тягу. Да и вы все, собственно говоря, кто вы такие? Предатели и пораженцы в той или иной степени. Вы проиграли войну, потому что заботились о своей жратве, о своих квартирках, а не о фюрере и не о новой Европе. А когда наступил конец, вы отвернулись от нас, вас поймали на удочку эти проходимцы с красными повязками, что якшаются с большевиками, и вы бросились им на шею. Строя Великую Германию, мы в лучшем случае используем вас как цемент, но, признаться, во время последних событий вы оказались цементом самого самого дрянного качества. Сейчас вы протягиваете нам мизинец. Ну и идиоты же вы! Не только палец, мы захватим всю руку, скрутим вас, а тогда вы узнаете, почему фунт лиха». Но вслух Вебер говорила другое:

— Близится час расплаты. Власти красных приходит конец. Их защищают только вот эти танки. Будьте наготове, чтобы огнем и мечом расправиться с ними!

Она отошла от края трибуны. Толпа рассыпалась. Ушел, не оглядываясь, и старичок в потертом пиджаке. Люди хлынули в соседние улочки. Рядом с Вебер кто-то басом запел: «Возблагодарим господ нашего». Поодаль несколько человек затынуло «Хорста Весселя», и сейчас же страшный шум заглушил пение. Какие-то люди набросились на поющих. «Кто с машиностроительного, сюда!» — крикнул чей-то голос. Но вдруг вся площадь начала содрогаться: это танкисты запустили моторы, и они бесперебойно вращались; прислонившись к своим гигантским машинам, русские смеялись. Танки не двигались с места, только моторы грохотали. Вебер спустилась с трибуны.

Толпа разошлась, и она поняла, что митинг окончен. Вебер тщетно искала глазами лысого... или Блюмлейна, или высокого красавца, хоть кого-нибудь из знакомых. Тогда она пошла к Фельдштрассе. Не успела Вебер сделать и нескольких шагов, как ее остановили двое молодых людей в плащах, один из них наклонился к самому ее уху, чтобы перекричать рев моторов:

— Гедвиг Вебер? Попрошу вас следовать за нами!

Она и не пыталась бежать или позвать кого-нибудь на помощь. Никто все равно не услышал бы ее, никто не обратил бы на нее внимания. Все произошло с такой быстротой, с такой невероятной быстротой, что казалось неправдой. Не может быть, чтобы это был конец, нет, это еще не конец. И она думала: «Может, я вас еще сегодня вечером вздерну на фонаре!»

Три дня спустя она предстала перед судом. Накануне ей приснился сон: воздух был полон оглушительного колокольного звона, под окнами кричала и выла толпа, серо-зеленые колонны солдат огромной гусеницей проползали по городу. Вдруг дверь камеры открылась, и появился ее отец в черном мундире, в черной фуражке с черепом. Он сказал: «Хэди, там внизу тебя ждет фюрер». На суде она ни от чего не отпиралась, что толку было отпираться... Два года она была комендантшей концлагеря в Равенсбрюке. До этого она работала в гестапо. Ее спросили, сколько заключенных умертвили по ее приказу. «Человек восемьдесят, девяносто», — ответила она. Да, она своими руками пыталась заключенных, топтала их каблуками, хлестала плетью, травила собаками. Во всем этом ей однажды уже пришлось сознаться: семь месяцев назад, когда ее приговорили к пятнадцати годам тюремного заключения. Но она понимала, зачем ее заставили повторить все это снова. Зал был битком набит, и, очевидно, там было много людей, слушавших ее речь на митинге. Прокурор зачитал стенограмму этой речи, прочитал и письмо, найденное в ее кармане.

До начала процесса в ней теплилась постепенно угасавшая надежда, что до суда дело не дойдет, что скоро, очень скоро красное правительство полетит ко всем чертям. А может быть, в город войдут американцы и спасут ее: они-то давно поняли, что в этой войне им следовало быть союзниками Гитлера. Когда ей разрешали сесть и брал слово адвокат, прокурор или кто-то из

свидетелей, она целиком отдавалась потоку своих мыслей и воспоминаний. Сколько проклятий посылала она на голову врагов! Болтовня там, за судейским столом, не интересовала ее. «Янки — трусы, — думала она, — мы уничтожим их, как только разделаемся с русскими, французами и всем остальным сбродом. Я получу двадцать лет, а то и пожизненную, но я не отсижу и трети». И Вебер снова видела себя в концлагере, на площади, где до самого горизонта толпится перед ней безликая масса людей в полосатых одеждах. А каждое лето она будет уезжать далеко-далеко, и Вебер живо представила себя вместе с Воррингером где-нибудь в горах или у моря, под пальмами, среди роскошной природы, которую она знала только по открыткам с видами Ривьеры; и тут же ей вспомнился рассказ ее приятеля о том, как в окрестностях Авиньона, по шоссе на каждом дереве вешали француза: одного справа, другого слева. Затем она снова перенеслась мыслями в Равенсбрюк, где собаки загоняли заключенных в отхожие ямы, а она кричала: «Ату его, Тило! Куси его, Тет!»

Суд совещался всего несколько минут. Потом ее снова ввели в зал, и тут она заметила в публике маленького потрепанного старичка, на которого обратила внимание на митинге. Он смотрел прямо на нее, глаза его выражали только отвращение и ненависть. Пока члены суда занимали свои места, Вебер твердила про себя: пожизненная, пожизненная, пожизненная. Ей приказали встать. Приговор гласил: смертная казнь. Сквозь звон в ушах до нее долетали отдельные слова: приговор окончательный... подлежит немедленному исполнению. Она старалась не кричать, не потерять сознания. В первый и последний раз она тщетно искала в себе ту непонятную силу, которая выводила ее из себя, когда она обнаруживала эту силу в своих жертвах. Она вспомнила немецкую студентку, которая не проронила ни звука, когда ее засекли насмерть; вспомнила, как русская пленница успела крикнуть перед смертью: «Гитлер капут!», а четыре француженки шли на расстрел с «Марсельезой». Дикий вопль, мольба о пощаде, вырвался у Вебер. Только этот вопль да еще страшная кровавая пустота были в ней, когда двое полицейских выволакивали ее из зала.

СЛАДКАЯ ГОРЕЧЬ НОЧНЫХ ТЕНЕЙ

Вилибальд Пиркхеймер был муж ученый, опытный в ратном деле и мастер пить. Чрезмерной чувствительностью он не отличался. И все же он видел дурной знак в том, что Альбрехт Дюрер стал редко заходить к нему и упорно отсиживался дома. Его тянуло к художнику: во-первых, он скучал без привычных задушевных бесед с ним, во-вторых, догадывался, что друг в нем нуждается. А пока — он цепенел изо дня в день за любой предлог, чтобы не пойти в дом у Тиргартентор: как он уверял себя, потому что терпеть не может хозяйку дома; на самом деле из-за того, что дом этот был отмечен ангелом смерти. Уже целый год мать его друга лежала пластом в своей комнатушке.

Наконец в ненастный вечер 16 мая 1514 года Пиркхеймер поборол себя: с напускным высокомерием прошествовал он мимо «этой ханжи, этого цербера», как он про себя именовал жену художника, и направился к Альбрехту, чтобы вместе с ним подпирать упрямой головой мрачный деревянный потолок мастерской, давившей на сознание болезненного художника с тяжестью могильного камня. Дюрер был у себя в кабинете и корпел над железной дощечкой. Он уклонился от пытливого взгляда Пиркхеймера, вяло и рассеянно пожал ему руку. Печать душевных и телесных страданий на лице друга испугала Пиркхеймера. С покорным видом он взял в руки несколько рисунков и сел. Казалось, художник тут же забыл о нем: в меркнувшем свете дня он критически разглядывал блестящую влагой дощечку.

— Ты все еще возишься с кислотой? — упрекнул его Пиркхеймер. — Какая досада, что для опыта ты пожертвовал именно этим наброском. Я считаю, что Мария с нитью

жемчуга в волосах и есть лучшая из всех твоих мадонн. Даже первый оттиск с травленого грунта был нечеткий, а этот и вовсе расплывчатый. Лучше бы ты пользовался холодной иглой, как в изображении святого Иеронима под ивой.

— Да уж ладно. Пусть. Все-таки это не безнадежно. Посмотрим, как железо вместо меди отзовется на кислоту.

Пиркхеймер вытащил из стопки другой рисунок — голову старушки. Он присвистнул.

— Твоя мать?

Дюрер взглянул на него с удивлением.

— Зачем ты спрашиваешь?

Друг переменял тему.

— Сдается мне, ты окончательно отказался от красок?

— В последнее время мне мало радости принесли большие полотна, которым я отдавал себя годами, — пояснил Дюрер, — за них никто не скажет мне спасибо.

— Вот так новость, — заявил Пиркхеймер. — Якоб Геллер из Франкфурта не нахвалится алтарной картиной, которую ты для него написал. Да и слепым он был бы...

— Или не был бы купцом, — желчно добавил Дюрер. — Мне пришлось с ним крепко поторговаться, пока он согласился, чтобы я уступил только сто гульденов, а не двести, как он хотел.

— Ты забываешь, что Геллер все же заплатил тебе вдвое против условленного. Эту неприязнь тебе внушила Агнес. Она отравила всю радость, которую давали тебе большие полотна. За это она ответит перед потомками. Какие вещи ты мог бы еще создать! Но хозяйке дома нужны деньги на расходы, она хочет почаще получать что-нибудь новое, ходкое.

— Опять ты придираешься к моей жене! — раздраженно воскликнул Дюрер. — Право, я и без ее советов пришел бы к тем же выводам. Какие вещи я мог бы еще создать! С каких пор ты меряешь мои картины на аршин? Я не отказался от красок, ты еще в этом убедишься. Но меня и без них поймут; по-моему, не так уж бесполезно создавать прекрасные вещицы, которые сотнями штук расходятся в народе и оттого становятся долговечнее самой лучшей картины — ведь какой-нибудь пожар может уничтожить ее за одну ночь. Все это я знал уже давно; но меня злило, что итальянцы издеваются надо мной: я-де рисую превосходно, но не умею обращаться с красками.

И вот я написал в Венеции свой «Праздник четок» и заткнул им рот. Потом мне пришлось по вкусу щеголять таким искусством. Но с возрастом приходишь в разум. Меня теперь уже не привлекают картины, которые пишутся красками. Для чего эта возня с холстом, мольбертом, с сотней предметов и приемов, для чего горячее стремление подчинить себе все это, заставить служить своему творению? Напрасный труд: сил, душевного пыла тратишь много, а цель-то ложная. Простота, благородная строгость — вот что мне по душе.

Дюрер заметил, что все это время его друг не сводил глаз с рисунка, извлеченного им напоследок.

— Ты, впрочем, еще не ответил мне? Зачем ты спрашиваешь, нарисована ли здесь моя мать? Ты же видишь, что это не мадонна. Эта женщина восемнадцать раз корчилась в родовых муках, часто хворала лихорадкой и другими тяжелыми болезнями, сносила презрение, насмешки, страхи и всякие превратности судьбы — и вот ты видишь, что остается от человека после шестидесяти трех лет такой жизни.

— Я ведь знаю твою мать, — сказал Пиркхеймер. — Я не хочу сказать, что портрет жесток в своей правде. Потому это и не ее портрет. Это не образ, отраженный неподкупным оком художника. Это образ, который носит в своем сердце сын.

— Ты думаешь?

Дюрер отложил работу в сторону и с удивлением взглянул на друга.

— Я этого не сознаю. Как бог свят — какой я увидел ее своими телесными очами, такой и нарисовал.

Пиркхеймер позволил себе насмешливо улыбнуться.

— Не клянись, друг, — предостерег он. — Если ты не приукрасил натуру на рисунке, отчего же я поражаюсь, когда мысленно сравниваю оригинал с портретом? Если натура не красива, а уродлива, то и на рисунке она должна быть не лучше, если только рисунок верен натуре.

— Ты хочешь испытать меня таким нелепым способом? — удивленно спросил Дюрер. — Что значит, в конце концов, быть верным натуре? Разве подражание — это верность? Хорош был бы художник, который считал бы своим учителем зеркальную поверхность гладкого серебра! Ты говоришь, мой портрет не походит на оригинал. Но разве какая-нибудь вещь среди творений господа бога

или человеческого искусства может так сильно походить на другую, чтобы их нельзя было отличить друг от друга?

Дюрер схватил деревянную заставку и поднес ее к глазам Пиркхеймера.

— Даже если я со всем тщанием сделаю двести оттисков с этой заставки, ты не найдешь среди них двух настолько схожих между собой, чтобы их нельзя было отличить друг от друга, — по многим причинам! Насколько же сильнее, по самой природе вещей, должен отличаться от своего оригинала портрет человека, набросанный на листке бумаги человеческой рукой. Знаю, — отвел Дюрер попытку друга ему возразить, — ты обвиняешь меня в другом: в произволе. Ты считаешь, что я нарочно приукрасил портрет. Я принял бы упрек, если бы я лгал, если бы изобразил в нем красоту, которой нет. Но я лишь запечатлел то, что было, что я увидел. В чем же сущность художника, если не в способности заметить прекрасное в натуре и запечатлеть его на бумаге, вырезать из дерева, высечь из мрамора, вылепить из глины? Кто нуждается в истолкователе, не должен звать его лжецом.

Вошла фрау Агнес. Она помешала друзьям не без умысла, ибо на высокомерное презрение заносчивого патриция отвечала той же монетой и ни за что на свете не упустила бы случая дать ему почувствовать, что хозяйка здесь она. Ей не нравилось, что ее Альбрехт обязан этому ученому кутиле, который имел обыкновение проходить мимо нее, задрав нос, когда случайно натыкался на ее прилавок с гравюрами где-нибудь в отдаленном уголке рынка.

Впрочем, Пиркхеймер не ошибался. Агнес и в самом деле была довольна, что ради своих гравюр на дереве Альбрехт сбросил с себя в последнее время тягостную зависимость от всемогущих господ. Возню с кислотой он не хотел оставить и теперь. Непостижимо, сколько сил и времени он все еще тратил на свои офорты, нацарапанные по железу! Но и это в конце концов дало неплохой итог — аккуратные стопки небольших листков с оттисками, которые охотно разбирали у Агнес за наличные.

Пиркхеймер, все еще немного смущенный раздражительностью приятеля, заставил себя сказать Агнес в доброжелательном тоне:

— У Альбрехта такой вид, что ему не мешало бы подышать свежим воздухом.

— Он достаточно взрослый и знает сам, что ему нужно, — сухо возразила жена художника. — Разве я его привязала? Если же под свежим воздухом вы понимаете то, от чего у вас сделался красный нос, то Альбрехт прав, не принимая вашего дружеского совета. Кроме увеселений на ваш манер, есть на свете и другие вещи. Уж если у человека при смерти родная мать, он вправе отворотить свое сердце от бранных радостей и светской суеты, чтобы подумать о спасении ее души и своей собственной.

На языке у Пиркхеймера уже горели слова, достойные мужчины, однако он сдержался и удовольствовался взглядом, сверкнувшим, как зарница, саркастической насмешкой; фрау Агнес побледнела и перекрестилась. Альбрехт этого не заметил. Когда они снова остались одни, он извинился перед другом:

— Не обижайся на нее, — попросил он. — Она не такая сварливая, какой представляется. У меня набожная и правдивая жена, немного резкая, но без фальши.

Пиркхеймер махнул рукой.

— Если бы я только мог быть так же спокоен за тебя, как ты за меня! — воскликнул он. — Набожная и честная, воистину она такая и есть, твоя Агнес. Она честно позволяет тебе томиться тоской и набожно следит за тем, чтобы ты от нее не избавился.

Дюрер покачал головой.

— Ты несправедлив к ней, — просто возразил он. — Даже ангел не смог бы теперь меня утешить.

— Разве с матерью так плохо?

— Ее мучают кошмарные видения, и она очень боится смерти. Священник дал ей выпить капель святого Иоанна, теперь она понемногу спит. Меня страшит предстоящее ночное бдение. Я так беспомощен перед ее страданиями. Мне нечего дать ей с собой в последнее странствие, ибо эти руки за всю жизнь не создали ничего, что могло бы ей послужить утешением.

— Если призвание священника — поддерживать тех, кто борется со смертью, то тебе следует радоваться, что твоя миссия — давать силу людям, борющимся за жизнь. Утешать скорбящих — доброе дело; но делать счастливых еще более счастливыми — разве это ничего не стоит?

— Уж конечно! — с горькой усмешкой заметил Дюрер. — Это делает и волынщик под липой.

— Но ты делаешь больше. Взять хотя бы твоего рыцаря, которому нипочем ни смерть, ни дьявол, — один этот рисунок, поверь мне, даст многим несчастным больше сил, чем пухлый молитвенник!

— Оттого что болваны не видят песочных часов, которым нипочем храбрый рыцарь.

— Проклятие! — взорвался Пиркхеймер. — Я не терплю, чтобы ты унижал себя в собственных глазах! Вот еще! Тебе нравится изображать шарлатана, такого бродячего лекаря, который хочет вылечить только свою мошну, а на самом деле ни в грош не ставит свои рецепты! Не притворяйся, что это первое темное ущелье, через которое тебе приходится пробиваться.

Дюрер взглянул на друга внимательным и в то же время отсутствующим взглядом, словно наблюдая за отчаянной суетой заблудившегося муравья.

— Брат, — мягко возразил он, — тебе придется примириться с тем, что сын учится у своей матери. Она далеко не так красноречива, как ты, но перед судом всевышнего красноречие ей не понадобится. Дарованное ей она не зарыла в землю, а пустила в оборот. Вскормила своей плотью и кровью восемнадцать детей.

Пиркхеймер мрачно кивнул головой. «Опять мы подошли к этому вопросу», — подумал он про себя.

В серьезной беседе Дюрер никогда не говорил прямо о своем бездетном браке, — это было жало, глубоко вонзившееся в его душу. Друг решительно проник зондом в рану.

— А ты? Разве ты зарыл в землю дарованное тебе? Или ты полагаешь, что, когда придет время, творения твоего труда и твоего гения останутся немymi перед господом?

— Этого я не знаю. Зато я знаю наверняка, что ни одно из моих творений не будет лить слез у моего гроба. Мои творения! О, тщеславие! Призраки...

— Эти призраки, Альбрехт, будут жить и тогда, когда дети твоей матери перестанут быть даже призраками.

Дюрер задумался. Он встал и, повернувшись к другу спиной, прижался разгоряченным лбом к холодному

стеклу. За окном лил дождь, смывая пыль с выпуклых круглых стекол.

Пиркхеймер вздохнул с облегчением.

— Пожалуй, так оно и будет, — пробормотал Дюрер, словно беседуя с самим собой. — Но чем я этого достиг? Силой усердия? Силой ума? Я встречал в своей жизни многих прилежных людей, к тому же не дураков. Но им не удавалось создать что-либо настоящее: не было милости божьей. Я творю так же, как моя мать рожала: его милостью. Это научило ее смирению.

Он снова умолк.

— А тебя? — наседал на него Пиркхеймер.

Альбрехт обернулся. Другу его стало страшно. «Да ведь он болен!» — подумал Пиркхеймер, поймав воспаленный, жгучий взгляд художника.

— Милости божьей мне мало, — начал свою исповедь Альбрехт Дюрер, и тут он дал волю потребности излить душу. Он говорил с все возрастающим волнением, часто запинаясь в поисках нужного слова. Пиркхеймер не позволял себе ни единым жестом поощрить или прервать его. Когда Альбрехт стал метаться по комнате и кружить вокруг него, он только взглядом следил за ним.

Так широкое озеро с крутыми берегами вбирает в себя воды ливня и обогащается благодаря его неистовству, не противясь и не торжествуя.

— Мне этого мало. Ибо, хотя наш ничтожный разум не в силах достичь совершенства в искусствах и науке, природа все же вложила в нас жажду знания. Я хочу знать, что это такое: прекрасное. Я не настолько исполнен смирения, чтобы по воле божьей покорно служить ему весь свой век, подобно лунатику. Если бы можно было трезвым рассудком постичь его меру и законы, познать их с помощью циркуля и линейки! Тогда б я больше не нуждался в милости божьей и знал, как избежать мрачных ущелий, где цель ускользает от моего взгляда и где мое сердце грызут досада и отчаяние. Но это была бы не полная победа! Ибо разве не ясно, что немецкие художники искусно владеют приемами рисования и красками? Видишь, я уже раньше думал о тех, кто лишен милости божьей. Если бы удалось сделать так, чтобы и они в ней не нуждались? Если бы обучить их искусству пропорции, перспективы и другим вещам? Ибо ни одна картина не может быть совершенной без правильных пропорций,

как бы прилежно над ней ни трудились. Если они это постигнут — можно надеяться, что ни одна нация не превазойдет их.

Дюрер умолк. Лихорадочный блеск его глаз затуманился и погас. Силы покидали его, и он упал в кресло напротив друга.

— Вот тебе и смирение, — тихо произнес он. — Подобно нашему праотцу Адаму, я протягиваю руку к плодам древа познания.

Своей огромной лапой Пиркхеймер накрыл стиснутые руки друга.

— Мудрый глупец, — ответил он с состраданием. — Оглядишься же! Разве здесь рай? Тебя мучает совесть, ибо ты проверил себя и понял, что у тебя меньше смирения, чем у твоей матери. Но разве ты уже исполнил свой долг, как она? Смирение пристало тому, кто сделал свое дело, в меру сил своих. Или тебя с полпути потянуло к монашеской рясе? Ты раскаиваешься, что научился пользоваться своими чувствами, вместо того чтобы умерщвлять свою плоть? Сожалеешь, что твой разум жаждет постигнуть законы искусства, вместо того чтобы по примеру чернорясников сохнуть над вопросом о божественной сущности?

Дюрер вздохнул. Его застывшие черты смягчила грустная улыбка.

— Что же, — заметил он, — может быть, ты и прав. Возможно, все дело в том, что я вижу мать в конце ее пути, но не знаю, где окажусь я сам на исходе моих дней. Ибо кто верует, как она, не стремится к учености, а кто хочет много знать, сомневается во многом.

Пиркхеймер, не сдаваясь, боролся за душевное спокойствие друга и своей искренней речью старался укрепить его сердце перед ночным бдением. Однако, когда Агнес вошла во второй раз и сообщила мужу, что послала за священником для его матери, он простился с Альбрехтом, молча обняв его.

Церемония соборования так потрясла Альбрехта, что Агнес не на шутку встревожилась и не позволила ему бодрствовать целую ночь. Мягко и терпеливо упрашивала она его прилечь и наконец добилась своего, твердо пообещав, что, если понадобится, сейчас же позовет его, а в полночь непременно уступит ему место у изголовья умирающей.

Лежа один в прохладной и мрачной комнате, Альбрехт думал о том, что не сможет уснуть. Однако уже через несколько минут сон сковал его сознание.

Ему приснилось, что он блуждает во тьме мрачного ущелья, где бушует поток и откуда не видно неба; это скорее длинная пещера, чем теснина. Он бежал, спотыкался, скользил, подгоняемый диким страхом за мать, ускользнувшую от него во тьме ущелья. Она забыла о сыне, оставила его в одиночестве и убежала через светлевшее впереди отверстие, еще такое далекое. А черная вода клокотала, заливая его, ибо, чтобы перейти поток, ему приходилось идти по шатким мосткам или в отчаянии прыгать с камня на камень. Казалось, этому пути нет конца. Но неожиданно, измученный и взмокший от пота, он все же оказался у цели. Шум внезапно прекратился, и он увидел луг, затянутый пеленой тумана, скрывшего от глаз всю зелень.

— Матушка! — в ужасе закричал заблудший. — Матушка!

Он увидел лишь старика, сидевшего под ивой; тот повернул к нему бородатое лицо, на котором глупо и безобразно торчал рубиново-красный нос. Кивнув ему, старик стал лениво шарить вокруг себя, и вскоре в его руках замелькала причудливой формы волынка. Но в этот момент раздалась колыбельная песня, нежная и до боли знакомая, манившая в Неизведанное. Тогда, все еще один, он ступил на луг, хоть музыка и не прекратилась. Вскоре он с радостью понял, что идет к Агнес; она сидела совсем рядом, задумчиво улыбалась и ногой покачивала колыбель. Он заспешил; колыбель была завалена рисунками — это были его гравюры, и одна за другой они падали на траву. Альбрехт стал на колени и принялся собирать их, но это ему никак не удавалось. Он поднял голову, чтобы попросить Агнес потише качать колыбель. Однако вместо лица жены он увидел только связку ее ключей. Тогда он взглянул вверх и содрогнулся, ибо теперь он стоял на коленях у ног гигантского сурового ангела; подперев руками мрачное лицо, ангел устремил свой взор поверх него, в туман, а на его волосах красовался венок из листьев растения, прозванного «сладко-горькой ночной тенью». Альбрехт опустил глаза и увидел, что в колыбели лежит книга, запечатанная семью печатями, с начертанным на переплете отрывком изречения, которое он с любопыт-

ством прочел: «...достоин принять силу, и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Это поразило его в самое сердце, и он громко воскликнул: «Кто достоин?» И зарыдал оттого, что не смел ни раскрыть книгу, ни дотронуться до нее, будучи глубоко уверен, что хорошо знает начало этого изречения из Откровения Иоанна, хотя оно и стерлось в его памяти. Это крайне потрясло Альбрехта; ибо ему казалось, что его душевный покой зависит от того, сможет ли он вспомнить эти слова перед лицом ангела. Исполненный ужаса, он снова поднял глаза и... недоуменно уставился на жену; склонившись над ним в свете керосиновой лампы, она пыталась разбудить его.

Молча и дрожа от озноба, он присел у постели матери. До полуночи было еще далеко. Старуха лежала спокойно и безучастно, с открытыми глазами. Альбрехт не мог понять, почему Агнес его разбудила. Он не понимал, почему она прижалась к нему, дрожа всем телом, почему зажгла свечи, какие жгут для покойника. Он все еще был во власти своих сновидений и, теперь уже наяву, ломал себе голову над изречением Иоанна, пораженный тем, что не может вспомнить его начало. Он готов был прийти в ярость от этого, как вдруг услышал голос Агнес, принявшейся читать молитвы. Ее слова отвлекли его. Хрип, донесшийся с кровати, заставил его содрогнуться. В то же время голос Агнес зазвучал громче; низко опустив голову, она торопливо читала молитвы. Альбрехт взглянул на мать, и волосы у него встали дыбом. Глаза умирающей, полные дикого ужаса, вылезли из орбит, высохшее тело выгнулось с неестественной силой и тотчас снова рухнуло, словно под ударом могучего кулака. Она испустила такой отчаянный вопль, что лепет Агнес перешел в рыдание. Альбрехт вскочил и хотел положить руку на костлявый лоб матери, но старуха вдруг изогнулась, и Альбрехт с ужасом почувствовал, как она ловит его руку своим беззубым ртом. На ее лице заблестели капельки пота, и в то же время безумный блеск ее глаз стал тускнеть. Она хрипела, пытаясь что-то произнести, и потратила много усилий, пока Альбрехт понял, в чем дело, и поспешно поднес ей сосуд со святой водой. Пока он быстрыми движениями кропил ее, вместе с огнем безумия в ней гасли последние искорки жизни. Плечи бессильно поникли; казалось, наступил конец.

Но вот в ее чертах снова проступило выражение чудовищной муки. Теперь она горько сжала веки и губы. Челюсти были судорожно стиснуты, она тяжело дышала, из-под ресниц ручьями текли слезы.

— Ведь это... — пробормотал потрясенный Альбрехт, и внезапно в его памяти ожила картина из его раннего детства. Тогда он видел, как отец резал пасхального агнца. Вонзая нож в горло животного, он зажал ему рот; агнец точно так же втягивал в себя воздух.

Альбрехт упал на стул и устался на Агнес, как будто снова видел вместо нее сурового ангела; он прошептал, как потерянный:

— Достоин агнец закланый принять силу, и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение.

В этот час он постиг, что бог страдает не иначе, как в своем творении. Если же человеческое страдание есть страдание господя, как может человеческое торжество быть богохульным? Если его мать всеми телесными силами служила человеческой жизни, как можно запретить сыну служить этой жизни по-своему, всеми силами духа? Альбрехт Дюрер был не в состоянии отдать себе отчет в подобных мыслях. Они падали в его измученную душу, как семена беззвучно падают в распаханную землю.

Он снова обратил свой растерянный взор к мертному одру матери и решил заставить себя мужественно испытать всю горечь материнской муки. Когда же он приготовился созерцать страшное зрелище, на его глазах свершилось чудодейственное превращение. Сама весна, сияя улыбкой, снизошла на это лицо. Она окрасила впалые щеки. Как снег, растаяли все следы страдания, разгладилась черта, сведенные судорогой. Какое-то мгновение Дюрер как зачарованный смотрел на оригинал собственного произведения, а смерть продолжала разглаживать лицо старухи и рукой мастера стирала с него следы не только мук, но и старости, озаряя его смиренную простоту дальним отсветом радостного познания.

Так сказала ему свое слово умершая мать, при жизни далекая от его творческих мук и триумфов.

У сына же дрожали губы, и, закрыв лицо руками, он зарыдал, потрясенный и горьким и сладостным чувством.

И ВСЕ ЭТО РАДИ ПЯТИ БАНАНОВ?

— До сих пор вижу, как они драпали, — сказал один из новоселов и приставил стремянку к грушевому дереву.

— И правда, — сказал второй, — они ведь жили совсем рядом с вами, за углом. — Он затачивал ножом один конец колышка для привязи.

— Ну и потеха! Одно колесо им пришлось обмотать веревкой. А оно переваливалось, все равно как яйцо. Тележка словно охромела.

— Да и не так уж много им удалось... — Второй слонил карманный нож и сунул колышек под мышку.

— Какое там! Больше суеты! Когда эдак-то торопишься, как они, всегда скорее думаешь о... — Листья грушевого дерева, плотные, словно из кожи, зашуршали от толчка стремянки, — хватаешь, что попадет под руку.

— Вот уж верно...

— Как вспомню: пузатая клетка и попугай! Когда они взгромодили ее наверх, эта крикливая зеленая тварь начала биться о проволочные прутья и скрипеть: «Хайль Гитлер! Хайль Гитлер! Хайль Гитлер!»

— Ничему другому они ее, верно, не обучили? — Человек оглянулся, подыскивая на лужайке подходящее место для колышка.

— Нет! Они набросили на клетку большое серое одеяло, но эта тварь и под ним продолжала гитлерствовать. — Новосел стал подниматься по стремянке, держа в одной руке корзину с крюком. — Кругом уже рвались гранаты. Ребятишки стали смеяться над крикливой тварью. Ей-ей, душа радовалась, как они смеялись...

Человек добрался до верха стремянки и проверил, устойчива ли она.

— А разве они не могли остаться? — спросил снизу второй и пошарил в поисках камня. — Ведь он не был даже активистом у «золотых фазанов»¹.

— Нет, но старуха будто взбесилась. Целый день липла к радио и ждала «чудесного оружия»! Вопила, что никогда не позволит выжечь свастику у себя на заднице! Совсем свихнулась ото всей этой геббельсовщины. Эх, черт дери, солнце! — он спрятал голову в тень груши, чтобы защитить глаза от лучей заходящего солнца.

— И не увидишь их теперь!

— Ну и верно!

— Ты о чем?

— Да о свастике.

— Может, сам-то он и остался бы здесь, — продолжал человек, стоявший внизу, вбивая камнем колышек для привязи.

— Когда он в последний раз вышел из дому, на башке у него была каска, а на руки он напялил войлочные туфли. Чистый медведь! Потом они двинулись.

— Каска? Гм-м, — пробурчал себе под нос тот, что был внизу, и отошел немного в сторону, где паслась коза. — А ведь был уже апрель, когда они смотались. Что я хотел сказать... старшая-то девчонка была вовсе не дура.

Человек на стремянке взвесил на руке первую сорваную грушу.

— Нет, не дура. Она ведь опять тут.

— Как опять тут? — Второй, ведя козу на веревке, подошел ближе. — Ну да, ведь она с самого начала не хотела с ними уезжать.

— Да нет. Поначалу ей там было неплохо... Хотя они жили в лагере, но она писала, что «джентльмены» очень милы. Это было спустя год, как они уехали.

— Так она писала? Она ведь была вроде мамзели, что ли, у них там? — сидя на корточках возле колышка, второй показал большим пальцем в направлении заходящего солнца.

— Ну нет, втого о ней... Ты уж всегда сразу думаешь что-нибудь вдакое... Нет, она не была мамзелью. Ну, мы ответили. Передали приветы и все такое и что мы здесь

¹ «Золотые фазаны» — кличка нацистской верхушки в Германии.

отхватили малый огород от барского имения. Девчонка-то была из сообразительных.

— Да, кое-кто там неплохо устроился, — пробормотал про себя человек внизу. Он заматал вокруг колышка веревку, на которой была привязана коза.

— И впрямь, — согласился человек наверху, нащупывая новую ветку с грушами. — Девчонка-то хоть и была честная, однако с год назад старик, между прочим, наемнул насчет бананов, апельсинов, шоколада и сала. Наши ребятишки прямо-таки глаза вытаращили, когда моя старуха прочла им это. О работе он ничего не писал. А девчонка, старшая-то, возьми и припиши, что они все еще ютятся в бараках и что ей больно охота учиться.

— Гм, в бараках, а хочет учиться, — проворчал человек на лужайке и поставил ногу на нижнюю перекладину лестницы.

— А что же тут глупого? Если и впрямь хотеть, так можно всего добиться, — сказал тот, что был наверху, и задумчиво засунул руку в карман. Он посмотрел на человека, стоявшего внизу. — Вот увидишь: эта совладеет. Теперь она здесь и уже с неделю как ходит на работу. Она-то добьется. Можешь не сомневаться.

— Ну, а как они там?

— Ого, будь уверен: присмирели и струхнули. Я всегда читаю их письма. Девчонка, когда приехала, привезла с собой пять бананов. Каждому из нас по штуке. Это старик прислал. Он прежде был такой скряга, а нынче...

— Некоторым это только на пользу... — Человек на лужайке покачал головой. Он снова проверил, крепко ли держится колышек. — Пойду схожу за козочкой.

— Ты бы только поглядел, — остановил его человек на дереве, — как они бомбардируют друг друга письмами!

— Кто? Девчонка и старик? Он, небось, буйствует?

— Буйствует?! Он и сам бы рад вернуться. Недавно пишет: так, значит, у вас на востоке не душат нацистскую мелкоту?

— Сбрось-ка мне одну. — Человек внизу прищурился на солнце. Тот, что наверху, сорвал грушу и бросил вниз. Но человек на лужайке, ослепленный солнцем, упустил ее, и груша шлепнулась на траву.

Он нагнулся, чтобы ее поднять.

— А вы их сразу съели?

— Что?

— Да бананы.

— Ах, бананы! Они до сих пор лежат в вазе на буфете. Эдакая пятерня! Она все съеживается и становится все меньше. И почти уже совсем почернела. Но вот что я еще хочу сказать. Я не большой любитель строчить письма, однако, когда старик написал, что хотел бы вернуться и все такое, тут уж я, ей-богу, выложил ему все начистоту.

— Так вы не съели бананы? Вот уж действительно! Что же ты ему написал?

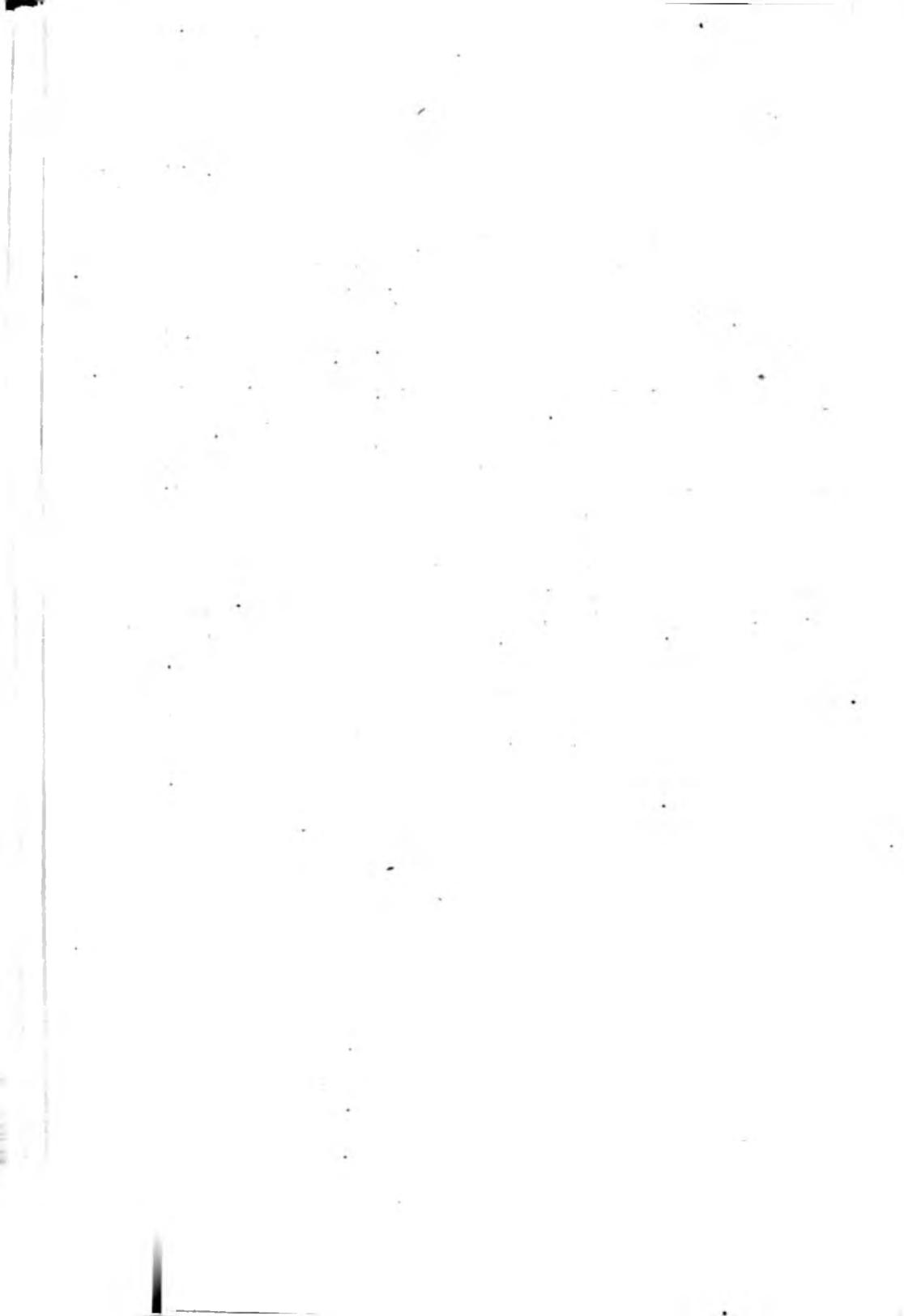
— Ну, ежели он полагает, что мы и впрямь все здесь правильно сделали, так пусть-ка сперва выметет там всю нечисть; так и сказал ему — пусть, мол, сначала, выметет там всю нечисть, чтобы всем было место и можно было бы вырваться из бараков. Это ведь тоже никуда не годится, ежели мы все здесь сойдемся и будем только ругать тех, кто остался там.

— Так ты и написал?

— Вот как говорю.

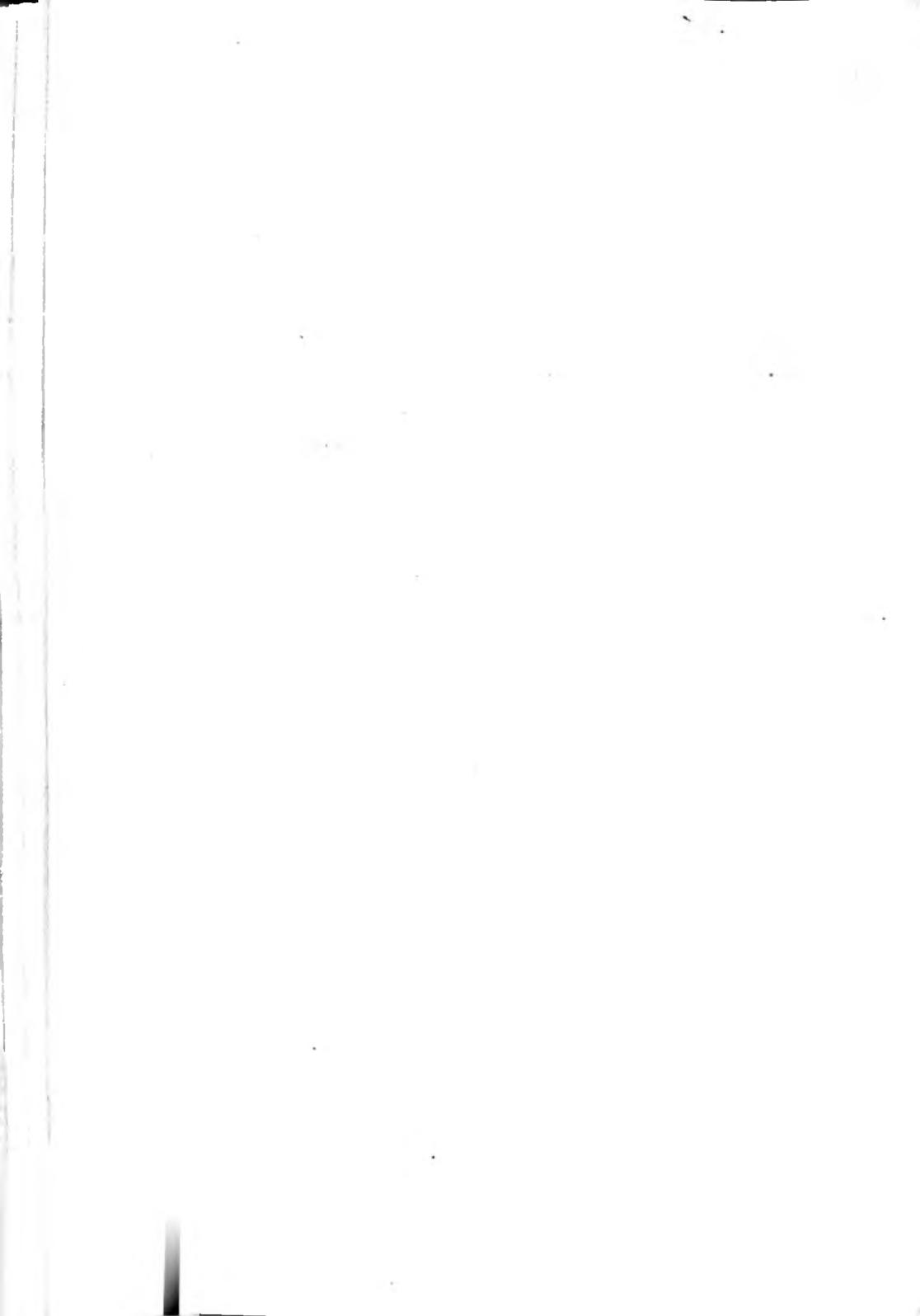
— Ну и правильно. И подумать только — ради чего же они все-таки тогда драпали туда? Ради пяти бананов?

— Да почти что так, — ответил человек на стремянке. Он надкусил переспелую грушу. Это была огромная, чуть ли не фунтовая груша. Сок потек по ступенькам лестницы. Он падал на траву и сверкал там каплями изобилия.



2





ИЮНЬСКАЯ НОЧЬ

Майские дни с прохладными ночами уже миновали. Расцветали июньские розы. Над ними покачивались зонты акаций, распространяя запах корицы. В пышной листве наливались соком желтые и красные черешни.

Маргрет и Роберт ходили теперь часто гулять; они никогда не скучали: им всегда нужно было что-то рассказать друг другу — о том, что случилось давным-давно, или только сейчас. Роберт думал, — а будущее? Если бы увидеть сквозь толщу лет, что тебя ждет!

Маргрет связывала свое будущее с Робертом. Этот высокий милый юноша, шагавший рядом с ней, был, пожалуй, мечтатель и сам еще хорошенько не знал, что из него выйдет, — но она верила в него, теперь ей это было ясно.

Она любила его крутой лоб, на котором в минуты раздумий уже обозначались морщины; любила эти резко очерченные скулы и твердую линию губ, умевших так упрямо смыкаться; она любила русые пряди его волос; небрежно откиннутые назад, они все-таки ложились так, что еще больше оттеняли смелые очертания его мальчишечьей головы. Ему шло, когда он одевался просто: рубашка и брюки, — коротковатые, плохо отглаженные брюки и неизменно расстегнутая у ворота рубашка с засученными рукавами; обнаженные до локтя загорелые руки вечно норовили спрятаться в карманы, словно он стыдился их, потому что они великоваты, набухают от приливающей к ним крови и резко прочерчены венами.

Любила Маргрет и всю его повадку; спокойную уверенную манеру вести себя, разговаривать, молчать.

— Ох, Роберт!

— Да, я знаю, — тебе было тяжело. Многим было тяжело; а те, кому легко было, — кто ничего не лишился, ни в чем не нуждался и ничего не перенес, — те просто живые мертвецы. Знаешь, я верю, что наша жизнь будет становиться все прекраснее. Нам предстоит еще много испытать, много продумать, прочувствовать, чтобы потом быть счастливыми.

В тот вечер Роберт вел Маргрет по узкой крутой тропинке вдоль межи. В небе косо повис лунный серп. Трещали кузнечики. В воздухе стоял крепкий сладковатый запах молодого жита и земли.

Роберт остановился перед столбом в человеческий рост, который приютился у дороги среди травы, напоминающей старый ненужный путевой указатель, с сорванными табличками. Роберт стал шарить по столбу рукой, словно отыскивая какое-то место. Найдя его, он взял Маргрет за руку и приложил ее пальцы к столбу.

— Чувствуешь?

— Что?

— Много круглых отверстий величиной с горошину, — одно возле другого.

Она прижала пальцы плотнее и нащупала углубления, о которых говорил Роберт.

— Что это?

— То, что я пережил во время войны. Ужас, который я только один раз испытал наравне с другими. До этого я знал обо всем лишь по слухам, доходившим издалека. Ночью я видел зарево пожаров над прирейнскими городами и слышал разрывы бомб. Из города приезжали люди, они рассказывали, что их дома разрушены, замок сгорел дотла и река видна теперь прямо с вокзала. Фронт подходил все ближе. Грохотала артиллерия. Однажды я видел, как зажженным факелом падал вниз самолет; за почерневший остов машины зацепился обугленный летчик. Все говорили, что войне скоро конец, но шли недели, а она продолжалась. В эти дни в нашем лесу прятались солдаты. Кто возвращался из лазарета, кто из отпуска; они решили, что нет уже смысла отправляться на передовую умирать. Прятался в лесу и Мартин, сын фрау Герман, которая батрачила на мельнице. Но Мартина кто-то выдал; два унтер-офицера танковых войск, охранявшие пози-

ции у ручья, устроили в лесу засаду и поймали его. Они гнали его в кандалах через деревню. Я стоял у окна и видел, когда его провели. Какие-то приезжие тоже подошли к окну. Один, — с кружкой пива в руке, — сказал: «Поймали не того, кого надо». А Мартин беспрерывно кричал. «Мама! — кричал он. — Спасите! Я не хочу умирать! Я ведь еще совсем молодой!» Он выкрикивал самые простые слова, как кричат ребяташки, когда играют в «Разбойников и жандармов». Его мать ничего не знала. Она работала на мельнице. Ей рассказали обо всем уже после войны. Унтер-офицеры привели Мартина сюда, привязали к столбу и расстреляли из автомата. То, что ты сейчас нащупала, — следы от пуль, которые прошли сквозь него или легли рядом.

Мгновение Маргрет стояла без слов, без чувств, без мыслей. Потом она судорожно вцепилась в Роберта.

— Мне страшно, Роберт, мне так страшно, — за тебя!

— Ведь это прошло, Маргрет, — его голос звучал хрипло, глухо, — сейчас мирное время, чудесная теплая июньская ночь, и мы здесь одни.

И Маргрет сделала то, что давно уже хотела. Страх придал ей решимости. Она обняла его, прижалась к нему, подняла лицо, — их губы почти слились. Она закрыла глаза.

Он наклонился и поцеловал ее.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Финк подошел к входу в один из приделов церкви. По обе стороны асфальтированной в выбоинах дорожки за черными чугунными решетками виднелись крошечные треугольники палисадников: кусочки закисшей темной земли и на них самшитовые кусты с сухой листвой, сухой и жесткой, как кожа. Финк толкнул плечом дверь, обитую коричневой клеенкой, и оказался в душном тамбуре перед второй, тоже обитой дверью. Эту дверь он толкнул кулаком и на ходу, прежде чем войти в церковь, прочитал объявление, приколотое к листу фанеры: «*Орден святого Франциска. Часы приема...*»

В церкви царил зеленоватый полумрак. На стене, выкрашенной масляной краской неопределенного цвета, Финку бросился в глаза кусок белого картона с нарисованной на нем черной рукой; рука указывала вниз. Над слишком длинным и слишком прямым указательным пальцем виднелась надпись: «*Звонки к священнослужителям*». Ниже на коричневых кружках — кнопки из потемневшей слоновой кости и рядом дощечки с именами. Он не стал вчитываться в неразборчиво написанные имена, а нажал, не глядя, на одну из кнопок и при этом почувствовал, что совершает нечто непоправимое и окончательное. Потом он прислушался, но ничего не услышал. Он опустил палец в сосуд со святой водой, который был сделан из розового гипса в форме раковины и казался в сумерках огромной искусственной челюстью с отбитыми углами.

Финк неторопливо перекрестился и прошел в середину церкви. Он увидел с обеих сторон алтаря по две темные исповедальни с задернутыми красноватыми занавесками и заметил, что между готическими пилястрами со сводов

обвалилась штукатурка, обнажив уродливую стену из желтого кирпича. Все это почему-то напоминало старое ванное заведение. Прежний вход в церковь был заложен красными кирпичами, в эту кладку грубо всадили старую оконную раму с облупившейся белой краской.

Финк опустился на колени и попробовал молиться, но, хотя руки его были сложены для молитвы, он то и дело поглядывал на все четыре исповедальни, всматриваясь в полутьму, чтобы не пропустить священника, который должен был откуда-то появиться. Вероятно, он войдет через ризницу, где рядом с неугасимой лампадой Финк в сумраке заметил медный колокол с бархатным шнуром.

В середине церкви было светлее, и Финк увидел, что весь центральный неф ремонтируется: полуобрушенные стены перекрыты временными очень низкими стропилами, к которым приколочены старые доски, темные, как грязные половицы; все святые около колонн без голов — беспомощная и жалкая двойная шеренга странных гипсовых фигур, у которых отбиты головы, а из рук вырваны священные символы. Казалось, что эти немые темные обрубки изувеченными руками зывают к нему о помощи.

Финк хотел почувствовать раскаяние и благоговение, но это ему не удалось. Он был слишком неспокоен, и вереница обрывочных просьб и молитв прерывалась в его душе воспоминаниями и желанием побыстрее управиться с этим делом и уехать, как можно скорее убраться из этого города.

Он чувствовал, что то, в чем он собирался покаяться, уже начинало превращаться в воспоминание, обретало ореол, постепенно поднималось над поверхностью томительных и грязных будней. Ему думалось, что наступит день — и он наступит скоро, — когда случившееся станет парить над ним в высоте как приключение, полное греховной красоты, хотя на самом деле — и это Финк тоже знал — он всего лишь из своеобразной вежливости подчинился правилам игры, которая пугала тягостной обыденностью и смертельно скучной серьезностью. Отращение охватило его еще раньше, но он продолжал игру, убеждая себя, что все это механический акт, простое требование природы.

В то же время он втайне знал, что стрела судьбы уже дрожит на натянутом луке, тетива будет спущена

и острее поразит его в самую душу, в то невидимое, что он не умел назвать иначе.

Он вздохнул, его охватило нетерпение; перед ним всплывали обе картины происшедшего — и та, которая постепенно приобретала золотистый ореол, и другая, действительная; они были рядом, они вытесняли друг друга, они сливались воедино, а его взор скользил в мучительном ожидании мимо фигур безголовых святых к бархатному шнуру и колоколу.

У него мелькнула мысль, что, быть может, звонок не прозвонил, или священник, на имя которого он не обратил внимания, куда-нибудь ушел. Финк не привык исповедоваться таким образом, раньше он и его знакомые посмеивались над подобного рода исповедами. Он хотел встать, чтобы снова подойти к звонкам, но увидел, как в застывшей пустоте церкви появилась темная фигура. Она вышла из ризницы, преклонила колени перед алтарем, а затем прошла к исповедальням на правой стороне. Финк с любопытством смотрел на монаха; тот был высокого роста, худой, с венчиком густых черных волос вокруг тонзуры.

Финк попытался вызвать в себе раскаяние и благоговение; он мысленно пробормотал молитву, которую уже двадцать лет знал наизусть, и встал. В проходе он споткнулся; вероятно, в красно-белой мозаике пола, изображавшей милии, была выбоина; он оперся коленями на молитвенную скамеечку и стал прислушиваться, как патер включает крошечную лампочку и отдергивает занавеску. Когда он опустился на колени в этом душном, темном и неудобном углу и увидел за решеткой белое ухо священника, он почувствовал, как сильно у него бьется сердце, и не смог от волнения вымолвить ни слова.

«Слава господу нашему Иисусу Христу», — сказал голос, прозвучавший очень равнодушно.

Он выдавил из себя: «Во веки веков. Аминь», — и замолчал. Пот выступил у него на спине: рубашка прилипла к телу так плотно, как будто ее намочили в воде; казалось, она сжимает как панцирь и мешает дышать. Священник откашлялся.

— Я прелюбодействовал, — пробормотал Финк, и он знал, что, сказав это, он сделал почти все, что мог.

— Вы состоите в браке?

— Нет.

— А женщина?

— Да.

— И часто вы грешили?

Этот вопрос сразу же отрезвил Финка. *Уж, что ра-* пывалось перед его глазами: большое белое ухо, которое казалось ему огромным, и решетка перед этим ухом, *вжжж* жим на пирожок, — все теперь стало ясным и четким, и он увидел на поднятой руке священника темные углубления между рукавом рясы и белесой кожей, *покрытой свет-* лыми волосками.

— Один раз, — сказал он, не сумев подавить *глубо-* кий вздох.

— Когда? — Вопрос прозвучал коротко, резко, *бес-* страстно — так спрашивает врач при освидетельствовании рекрутов.

— Сегодня, — ответил Финк.

На самом деле ему казалось, что это произошло *бес-* конечно давно, но произнесенное слово приблизило *случив-* шееся, как камера фотоаппарата, которая наводится на цель, чтобы закрепить ее на снимке. Она *принуждает* увидеть вблизи то, что не хочешь видеть так *близко.*

— Избегайте общения с этой женщиной.

Только теперь Финк подумал, что увидит ее *серва:* хорошенькую маленькую мешаночку с пухлой *шейкой* выглядывающей из красного утреннего халата; ее *глаза* одновременно скучающие и грустные; он так живо *пред-* ставил ее себе, что почти прослушал следующий *вопрос* священника.

— Вы ее любите?

Он не мог сказать «нет», но сказать «да» *казалось* ему еще более чудовищным. Он стал думать, *чувствуя,* что горячий и едкий пот жжет ему глаза.

— Нет, нет, — быстро сказал он и добавил: — Мне *будет* трудно избежать общения с ней.

Священник молчал. Его опущенные веки на *мгновение* поднялись, и Финк увидел спокойные серые глаза.

— Я представитель фирмы, торгующей *готовыми* домами, — сказал Финк, — и она... эта дама *заказала* у нас дом.

— Это ваш район?

— Да.

Он подумал, что ему придется вести с ней *переговоры,* показывать ей планы, обсуждать *калькуляцию,* *совесто-*

ваться о разных мелочах, бесчисленных мелочах, и что все это, если захотеть, можно растянуть на месяцы.

— Вы должны попросить о переводе.

Финк промолчал.

Голос стал более настойчивым.

— Вы должны сделать все, чтобы больше не видеть ее. Привычка сильна, очень сильна. Искренне ли ваше желание и намерение не видеть больше эту женщину?

— Да, — тотчас ответил Финк, и он знал, что он действительно в первый раз говорит правду.

— Попробуйте не видеть ее, сделайте для этого все. Помните, что говорит Писание: если левая рука соблазняет тебя, отруби ее. Пойдите на материальные жертвы, — он помолчал. — Я знаю, что это нелегко, но в аду нам тоже не будет легко.

Голос священника снова зазвучал безразлично, когда он спросил:

— Еще что-нибудь?

Финк вздрогнул. Он не имел привычки исповедоваться таким образом, но он почувствовал, что эта исповедь была делом серьезным, очень серьезным, куда серьезнее, чем те привычные духовные очищения, к которым он прибегал дома у своего капеллана каждые три месяца.

— Еще что-нибудь? — нетерпеливо повторил голос. — Когда вы исповедовались последний раз?

— Два месяца назад.

— А причащались?

— Месяц.

Патер начал монотонным голосом произносить заповеди, как произносил их перед своими духовными сыновьями, людьми, которые едва разбирались в символе веры и весь религиозный словарь которых состоял из «Отче наш» и молитвы богородице. Финк почувствовал неловкость, ему захотелось уйти.

«Нет», — тихо отвечал он при каждой заповеди вплоть до пятой. Через шестую заповедь патер перешагнул.

— Не укради, — равнодушно сказал он. — Не лги. Седьмая и восьмая заповеди.

Финк покраснел. Кровь прилила у него к ушам.

— Вы лгали?

Финк промолчал. Еще никогда и никто не спрашивал его, лгал ли он. Вообще ему начало казаться, что он

раньше никогда не исповедовался. Прямолинейные вопросы падали на него, как удары. Ему пришло в голову, что он не признавался в этом ни на одной исповеди, но он пробормотал:

— Конечно, наши дома не совсем такие, как в каталогах... Я хочу сказать, что люди часто разочаровываются, когда видят эти дома на самом деле...

— Вот как! — вырвалось у священника. Потом он проговорил: — Мы и в этих вопросах должны быть честны, хотя, — он поискал слово, — хотя это кажется невозможным. Но это тоже ложь — продавать что-нибудь, в ценности чего ты сам не уверен.

Он снова откашлялся, и Финк увидел, что поднятая рука исчезла, когда священник начал шептать:

— Мы объединим все грехи вместе и будем неотступно молить господа нашего Иисуса Христа испросить для нас прощение. Он принял смерть на кресте, дабы избавить нас от грехов. И каждый наш грех снова пригвождает его к кресту. Пробудите снова в душе своей раскаяние и благие намерения и во искупление греха соворите молитву...

Священник, усевшись удобнее в исповедальне, забормотал с закрытыми глазами молитву, потом опять повернулся к Финку, произнес более отчетливо «Absolvo» и перекрестил его.

— Слава господу нашему Иисусу Христу.

— Во веки веков. Аминь, — сказал Финк.

Он словно окаменел, и ему казалось, что прошли долгие часы. Он присел на скамейку, достал платок и, утирая пот, заметил, что патер снова исчез в ризнице.

Финк устал. Он попробовал молиться, но слова возвращались к нему обратно, как катящиеся с горы камни, и, борясь с дремотой, он увидел сквозь полузакрытые веки, что в темном углу, рядом с боковым входом, перед алтарем богородицы зажглись свечи. Пламя дешевых стеариновых свечей дрожало, они быстро таяли, и в их свете на стене храма колебался силуэт маленькой женщины; он был огромен, но очень точно очерчен; на стене черной четкой тенью отражались волосы, выбившиеся над лбом из прически, и детский нос, и усталая складка губ, которые молча шевелились: зыбкий памятник, заслонивший собою немые фигуры из гипса и, казалось, переросший самую крышу здания.

И БЫЛ ВЕЧЕР, И БЫЛО УТРО...

Только в середине дня он подумал, что может сдать рождественские подарки для Анны в камеру хранения на вокзале. Он обрадовался мысли, которая позволяла ему не сразу идти домой. С тех пор как Анна перестала с ним разговаривать, он боялся возвращения домой: едва он переступал порог, ее молчание наваливалось на него, как гробовая плита. Раньше он радовался возвращению, так было все два года после свадьбы; он любил ужинать вместе с Анной, разговаривать с ней, потом ложиться спать; но больше всего он любил то время, когда они уже легли, но еще не заснули. Анна засыпала раньше, чем он, потому что она теперь всегда уставала, а он лежал в темноте рядом с ней и прислушивался к ее дыханию; время от времени автомобильные фары бросали лучи света на потолок, свет скользил вниз, когда машины начинали спускаться по улице, полосы яркого желтого света на мгновение очерчивали на стене профиль его спящей жены, потом комната снова погружалась в темноту и оставались только нежные завитки на потолке: узор занавесей, отброшенный светом уличного фонаря.

Он любил этот час больше других часов, потому что чувствовал, как день постепенно отдаляется от него и он медленно погружается в сон, словно в теплую воду.

А сейчас он все еще нерешительно бродит около окошка камеры хранения и видит, что его пакет по-прежнему лежит между красным кожаным чемоданом и оплетенной бутылкой. Открытый грузовой лифт, спускающийся с перрона, пуст и покрыт белым снегом; он погружается в серый-серый бетонный колодец камеры хранения, как белый лист бумаги, а человек, обслуживающий этот лифт, шагнул вперед, говорит приемщику багажа:

— Вот теперь наступило настоящее рождество. Снег выпал, то-то ребятишкам раздолье...

Приемщик молча кивнул, наколот на гвоздь корешки квитанций, пересчитал деньги в выдвижном ящике и с подозрением взглянул на Бренига, который сначала достал из кармана багажную квитанцию, а потом снова сложил ее и спрятал. Брениг уже третий раз подходил сюда, доставал квитанцию и снова прятал ее. Его смутил недоверчивый взгляд приемщика, и он побрел к выходу, остановился там и стал смотреть на пустую площадь.

Брениг любил снег, любил холод; мальчиком он упоенно вдыхал чистый морозный воздух; вот и сейчас он бросил сигарету и подставил лицо ветру, который нес к вокзалу пушистые и легкие снежные хлопья.

Брениг не закрывал глаз, ему доставляли удовольствие снежинки, налипавшие на ресницы; одни налипали, а другие таяли и, растаяв, стекали по его щекам мелкими каплями.

Мимо него быстро прошла девушка, и, пока она перебежала площадь, он увидел, как ее зеленая шляпка покрылась снегом, и, только когда девушка была уже на трамвайной остановке, он заметил у нее в руках красный чемоданчик, который стоял в камере хранения рядом с его пакетом.

«Нет, не следует людям жениться. — подумал Брениг. — Сначала тебя поздравляют, дарят цветы, шлют дурацкие телеграммы, а потом бросают тебя одного. Они спрашивают, обо всем ли вы позаботились: проверяют кухонную утварь, начиная от солонки и кончая плитой, проверяют даже, стоит ли в кухонном шкафу бутылка с патентованной приправой для супа. Они подсчитывают, сможешь ли ты содержать семью, но, что это значит быть с семьей, тебе не объясняет никто. Они присылают цветы, по двадцать букетов, в квартире пахнет, как на похоронах, потом бьют на счастье посуду перед дверью, уходят и оставляют тебя одного».

Мимо Бренига прошел мужчина, он был пьян и распевал «Каждый год все снова будет». Брениг не повернул головы и только потом заметил, что пьяный несет в правой руке оплетенную бутылку. Теперь Брениг знал, что его пакет лежит на верхней полке камеры хранения в полном одиночестве.

В пакете — зонтик, две книги и большое пианино из шоколада: белые клавиши из марципана, черные — из грильяжа.

Шоколадное пианино было величиной с большой словарь, и продавщица сказала, что шоколад продержится полгода.

«Может быть, я был слишком молод для женитьбы, — подумал Брениг. — Может, нужно было подождать, пока я стану более серьезным, а Анна не такой серьезной». Но он знал, что и теперь достаточно серьезен, а уж серьезность Анны именно такая, как нужно. Поэтому он

и любил ее. Ради часа перед сном он отказывался от кино, от танцев, пропускал деловые свидания. Вечером, когда он лежал в постели, на него нисходил мир и покой, и он часто повторял фразу, которой уже не помнил в точности: «Бог сотворил землю и луну и дал им властвовать над днем и ночью, отделил свет от тьмы, и увидел бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро».

Он даже решил, что заглянет в библию Анны, чтобы проверить, как там это написано, но все забывал. То, что бог создал день и ночь, казалось Бренигу не менее значительным, чем создание цветов, зверей и человека. Больше всего он любил это время перед сном. Но с тех пор, как Анна перестала с ним разговаривать, ее молчание лежало на Брениге, как давящий груз. Если бы она сказала хотя бы «Похолодало» или «Будет дождь», он уже почувствовал бы облегчение. Даже если бы она просто промолвила «Нет! Нет!» или «Да! Да!», даже что-нибудь еще более пустяковое, он был бы счастлив и мысль о возвращении домой не пугала бы его.

Но ее лицо мгновенно становилось каменным, и однажды он вдруг увидел, какой она будет в старости; он испугался, он увидел и самого себя брошенным на тридцать лет вперед в будущее, как в каменную пустыню; он увидел себя старым, с таким лицом, какие наблюдал у пожилых мужчин: изрезанные морщинами горечи, сведенные судорогой подавляемой боли, слегка окрашенные желчью; не лица, а маски, разбросанные в пустыне будней, как черепа.

А иногда Брениг, хотя он знал Анну всего три года, мог представить ее себе девочкой; он видел ее десятилетней девочкой, замечтавшейся над книгой при свете лампы, серьезным подростком с темными глазами под светлыми ресницами; видел, как она с полуоткрытым ртом жмурится над страницей...

Часто, когда она сидела напротив него за столом, ее лицо вдруг изменялось, как изменяются от потряхивания узоры в калейдоскопе, и он знал, что, когда она была ребенком, она вот так же сидела за столом, осторожно разминая картошку вилкой, с которой медленно капал соус.

Снег совсем залепил ему ресницы, но он еще смог различить цифру «4» на вагоне трамвая, который тихо, как сани, скользил по снегу.

«Может быть, позвонить ей, — подумал Брениг, — попросить, чтобы Мендесы позвали ее к телефону, тогда ей придется поговорить со мной. Сразу же после «четверки» должна прийти «семерка» — последний трамвай в этот вечер». Ему стало холодно. Он медленно пошел по площади, увидел издали ярко освещенную синюю цифру «7» на номере, нерешительно остановился у будки телефона-автомата, заглянул в витрину, где декораторы заменяли Дедов Морозов и рождественских ангелов другими куклами: в витрине появлялись декольтированные дамы с голыми плечами, засыпанными конфетти, серпантин вился у них вокруг запястьев.

Декораторы проворно рассадили у стойки бара фигуры кавалеров с проседью в волнистых волосах, разбросали по полу пробки от шампанского, у одной из кукол сняли крылья и локоны, и Брениг подивился, как быстро можно превратить ангела в бармена. Достаточно надеть ему темный парик, приклеить усы, а на стену повесить рекламу: «Что за Новый год без шампанского?» Рождество еще не успело начаться, а здесь оно уже кончилось.

«А может быть, — подумал Брениг, — Анна тоже слишком молода, ей ведь только двадцать один год». Разглядывая свое отражение в витрине и заметив, что снег покрыл его голову, как маленькая корона — раньше он видел такие снежные короны на столбах заборов, — он подумал, как неправы старые люди, когда говорят о веселой поре юности: нет, в молодости все, что случается, очень серьезно и тяжело, и никто тебе не приходит на помощь. И он вдруг удивился, что не возненавидел Анну из-за ее молчания, не подумал, почему не женился на другой. Все фразы, приготовленные окружающими для подобных случаев: «Попроси прощения», «Разведитесь», «Попробуй все сначала», «Стерпится-слюбится», — все эти фразы ничем не могли ему помочь.

С этим нужно справиться самому, самому, потому что ты не такой, как все, и Анна не такая женщина, как жены других.

Декораторы быстро прибили к стенам карнавальные маски, подвесили гирлянды из хлопушек; уже давно ушла последняя «семерка», а его пакет с подарками для Анны все еще стоял в одиночестве на верхней полке.

«Мне двадцать пять лет, — подумал Брениг, — и за маленький обман — за пустяковый обман, который

миллионы мужчин совершают каждый месяц или каждый день, я должен расплачиваться таким тяжелым наказанием: я вижу пустыню своего будущего, я вижу Анну, превратившуюся в сфинкса на краю этой окаменелой пустыни, я вижу себя самого с окрашенным желтизной горечи лицом, превратившегося в старика».

Да, конечно, бутылка с патентованной приправой для супа будет стоять в шкафу, и солонка будет стоять на своем месте, и его самого сделают заведующим канцелярией, и у него будет возможность содержать свою семью как подобает, но семья его превратится в камень, и он уже никогда не будет, лежа в постели, перед тем как заснуть, благодарить бога за то, что он создал вечер, завершающий день трудов, и он, Брениг, будет посылать молодоженам такие же дурацкие телеграммы, какие посылали когда-то ему...

Других жен такой глупый обман с жалованьем просто насмешил бы; другие женщины знали, что все мужья обманывают своих жен: наверно, это что-то вроде необходимой самообороны, против которой жены изобретают свои собственные обманы; но лицо Анны окаменело. Есть книги о семейной жизни, и он разыскал в этих книгах, что нужно делать, если в браке не все идет так, как следует; но ни в одной из этих книг ничего не было написано о женщине, которая превращается в камень. В этих книгах было написано, что делать, чтобы рождались дети, и что делать, чтобы они не рождались, а кроме этого, в книгах было много прекрасных и торжественных слов, но не хватало самых простых.

Декораторы закончили работу. Серпантин укрепили на проволоке, концы которой тщательно скрыли. Брениг разглядел в глубине магазина декораторов; один уходил, держа под мышкой двух ангелов, другой высыпал еще один пакетик конфетти на голые плечи манекенов и слегка поправил плакат с надписью: «Что за Новый год без шампанского?»

Брениг стряхнул снег с волос, снова перешел через площадь к вокзалу и, в четвертый раз вынув багажную квитанцию и разгладив ее, вдруг пустился бежать, как будто не мог больше потерять ни одного мгновения. Но окошко выдачи багажа было закрыто, на решетке висело объявление: «Открывается за десять минут перед прибытием или отправлением поезда».

Брениг засмеялся, засмеялся первый раз за все то время, что прошло после полудня, и поглядел на свой пакет, который лежал на верхней полке за решеткой, словно в тюрьме. Расписание висело рядом с окошечком, и он увидел, что следующий поезд прибывает только через час.

«Так долго ждать я не могу,— подумал он,— и сейчас уже поздно, нигде не купишь даже цветов, даже плитки шоколада, какой-нибудь книжки, и последняя «семерка» тоже ушла». Впервые в жизни он решил взять такси; и, когда он перебежал через площадь к стоянке, ему вдруг показалось, что он совершает ужасно взрослый, хотя и немного глупый поступок.

Он сидел в машине сзади шофера и держал в руках деньги: 7 марок 10 пфеннигов, все, что у него осталось; он сохранил эти деньги, чтобы купить Анне еще какой-нибудь особенный подарок, но не нашел ничего интересного, и теперь он сидит в машине, держит деньги в руке и смотрит на счетчик, а счетчик выбивает через короткие, через очень короткие, как кажется Бренигу, промежутки времени все новые и новые цифры, и каждый раз, когда счетчик щелкает, Брениг ощущает это где-то в сердце, хотя счетчик показывает всего 2 марки 80 пфеннигов. Я приду домой голодный, усталый, как дурак — без цветов, без подарков; а ведь, наверное, в зале ожидания можно было купить по крайней мере плитку шоколада.

Улицы опустели, машина катилась по снегу почти бесшумно, и Брениг видел в домах за освещенными окнами огни на рождественских елках. Рождество, то, чем оно для него было в детстве, то, что он всегда ощущал в этот день, все это казалось ему теперь таким далеким; важное и значительное происходило независимо от календаря, и в ожидающей его каменной пустыне рождество будет таким же днем, как все остальные, и пасха ничем не будет отличаться от какого-нибудь промозглого дня в ноябре. Если сразу не принять мер, тогда всего-то и останется тридцать, сорок старых календарей, металлические подставки с бумажными корешками от сорванных листков, больше ничего.

Он вздрогнул, когда шофер сказал: «Приехали», а потом почувствовал облегчение, увидев, что счетчик остановился на цифре 3.40. Он нетерпеливо дождался сдачи со своей бумажки в 5 марок, и у него отлегло от сердца, когда

он увидел, что наверху в комнате, где рядом с его кроватью стояла кровать Анны, горит свет. Он обещал себе никогда не забывать этот миг облегчения и, доставая ключ от квартиры и вставляя его в замок, снова испытал то же странное чувство, которое охватило его, когда он сел в такси: он показался себе и очень взрослым и немного глупым.

На кухне на столе стояла рождественская елка, а рядом с ней лежали подарки, приготовленные для него: носки, сигареты, авторучка и красивый пестрый календарь, который он сможет повесить в учреждении над своим письменным столом. Молоко было налито в кастрюльку на плите, нужно было только зажечь под ним газ, а рядом на тарелке лежали приготовленные бутерброды. Но так было каждый вечер с тех пор, как Анна с ним не разговаривала, а убранная елка и приготовленные подарки — это было то же самое, что намазанные бутерброды — это был выполненный долг, а Анна всегда выполняет свой долг.

Ему не хотелось молока, и аппетитные бутерброды его не соблазняли. Он вышел в прихожую и сразу же увидел, что Анна погасила свет. Но дверь в спальню была открыта, и он тихо, без особенной надежды спросил, обращаясь в темную комнату: «Анна, ты спишь?»

Он стал ждать, ему показалось, что он ждет долго, что его вопрос упал куда-то в бесконечную глубину и что молчащая темнота в спальне предвещает все то, что ему придется испытать за тридцать или сорок предстоящих лет, и когда он услышал, что Анна сказала: «Нет», он подумал, что ослышался, что это ему показалось, и он заговорил быстро и громко:

— Я сделал ужасную глупость. Подарки для тебя я оставил в камере хранения на вокзале, а когда хотел их забрать, там было закрыто, и я не стал дожидаться. Ничего, что так получилось?

На этот раз он мог с уверенностью сказать, что действительно услышал ее «Нет», но он услышал, что это «Нет» доносится не из того угла комнаты, где стояли их кровати. Наверное, Анна отодвинула свою к окну.

— Там зонтик, две книги и маленькое пианино из шоколада. Оно размером с большой словарь, и клавиши сделаны из марципана и грильяжа.

Он замолчал, подождал ответа — темная комната молчала. Но когда он спросил: «Ты довольна?», ответ «Да» прозвучал гораздо быстрее, чем оба прежних «Нет».

Он погасил свет на кухне, разделся в темноте и лег в свою постель: сквозь занавески ему были видны рождественские елки в доме напротив, внизу пели. А он снова чувствовал, что наступил его любимый час, он услышал два раза «Нет» и один раз «Да», и фары автомобилей, поднимавшихся по улице, выхватывали для него из темноты профиль Анны.

ВДОЛЬ ПО ДЛИННОЙ. ДЛИННОЙ УЛИЦЕ

Левой, два, три, четыре; левой, два, три, четыре, левой, два, дальше, Фишер! три, четыре, левой, два, вперед, Фишер! живо, Фишер! три, четыре, вдох, Фишер! дальше, Фишер, дальше. Марш, два, три, четыре, шагом марш, пехота, марш, марш. Гей, да ты... смело шла пехота, пехота, пехота.

Я в пути. Уж два раза я ложился. Хочу дойти до трамвая. Должен дойти. Уж два раза я ложился. Голод грызет меня. Но я должен поспеть. Должен. Должен дойти до трамвая. Уж два раза я... три, четыре, левой, два, три, четыре, должен дойти, три, четыре, шагом, шагом, шагом, три, четыре. Гей, да ты, пехота, пехота... хотя... хотя...

57 похоронили под Воронежем. Эти 57 ни о чем не подозревали, ни до — ни о чем, ни после — ни о чем. До этого они еще пели: марш, марш, гей, да ты!.. А один написал домой... тогда мы купим себе граммофон. Но вот другие за четыре тысячи метров от них по приказу нажали кнопку. И загрохотало! Словно старый грузовик с пустыми бочками промчался по булыжной мостовой: пушечная симфония. Тогда и похоронили они 57 под Воронежем. До этого те еще пели, а после — умолкли навек. 9 автослесарей, 2 садовника, 5 служащих, 6 продавцов, 1 парикмахер, 17 крестьян, 2 учителя, 1 пастор, 6 рабочих, 1 музыкант, 7 школьников. 7 школьников. Всех их похоронили под Воронежем. И ни о чем-то они не подозревали, те 57.

А меня позабыли. Я был не совсем еще мертв. Гей, да... Я был чуть жив, но жив. А другие... тех похоронили под Воронежем. 57. 57. Подставь еще нуль. 570. Еще и еще нуль. 57 000. И еще и еще. И еще. 57 000 000. Всех их похоронили под Воронежем. И ни о чем-то те не подозре-

вали, ничего не хотели. Этого уж они во всяком случае не хотели. Перед этим они еще пели. Гей, да ты... А после — умолкли навек. А тот так и не купил себе граммофона. Его тоже похоронили под Воронежем как и остальных 56. 57 штук. Всех, кроме меня. Я один был еще не совсем мертв. Я должен дойти до трамвая. Улица серая. А трамвай — желтый, желтый-прежелтый. Я должен попасть в него. Но зачем улица такая серая? Серая, серая! Уж два раза я ложился... марш, марш вперед, Фишер! три, четыре, левой, два, левой, два, три, четыре, дальше, Фишер! Марш, марш! Гей, да ты... смелей, пехота, смелей, Фишер! дальше, Фишер! левой, два, три, четыре. Если бы только не голод, проклятый голод, все время страшный голод — левой, два, три, левой, два, левой, два, левой, два...

Только бы не было ночей! Только бы не было ночей! В каждом шорохе чудится зверь. В каждой тени — черный человек. Никогда не избавиться мне от страха перед черными людьми. На подушке всю ночь словно грохочут пушки: это пульс. Мама, ты ни за что не должна была бросать меня одного. Теперь мы уж никогда не увидимся. Никогда. Ни за что не должна была ты бросать меня. Ты ведь знала, что такое ночи. Ты ведь знала о ночах. Но ты с криком оторвала меня от себя, с криком вытолкнула меня из себя, вытолкнула в этот мир с его ночами. И с тех пор в каждом шорохе мне чудится притаившийся в ночи зверь. А в синем сумраке закоулков подстерегают меня черные люди. Мама, мама! Во всех углах стоят черные люди. И в каждом шорохе чудится зверь. В каждом шорохе — зверь. А подушка так горяча. Всю ночь на ней словно грохочут пушки. И ведь 57 похоронили под Воронежем. А часы шаркают, как старуха в шлепанцах: от-сюда, от-сюда, от-сюда. Она шаркает, шаркает, и никто, никто ее не удержит. А стены надвигаются. Потолок снижается, а пол, пол колеблется от космических волн. Мама, мама! Зачем ты покинула меня, зачем? Все колеблют волны, колеблет напор целого мира.

57. Кругом. А я хочу дойти до трамвая. Пушки отгремели. Почва колеблется. Кругом. 57. А я чуть жив, но жив еще. И я хочу дойти до трамвая. Трамвай желтый на серой улице. Ярко-желтый на серой. Но я в него не попаду. Уж два раза я ложился. Ведь меня мучает голод. И от этого земля колеблется. Колеблется такая изумительно желтая. Ее колеблют космические волны,

колеблет голодный мир. Земля колеблется, голодная, как мир, и желтая, как тот трамвай!

Только что кто-то сказал мне: «Добрый день, господин Фишер». Разве я г-н Фишер? Разве я могу быть г-ном Фишером, снова просто г-ном Фишером? Я ведь был лейтенантом Фишером. Разве я могу быть снова г-ном Фишером? Разве я г-н Фишер? Человек сказал: «Добрый день!» Он не знает, что я был лейтенантом Фишером. Доброго дня пожелал он мне — для лейтенанта Фишера нет больше добрых дней. Этого он не знает.

И г-н Фишер все идет вдоль по улице. По длинной, длинной улице. Улица серая. Он хочет попасть на трамвай. Трамвай желтый. Ярко-желтый. Лево́й, два, Фишер. Лево́й, два, три, четыре. Фишера мучает голод. Он больше не держит шаг. Он все еще хочет дойти, потому что трамвай такой ярко-желтый на сером фоне.

Уж два раза Фишер ложился. Но лейтенант Фишер командует: лево́й, два, три, четыре, вперед, Фишер! дальше Фишер! живо, Фишер, — так командует лейтенант Фишер. И г-н Фишер шагает вдоль по серой улице, по серой, серой, длинной улице. Вот и Аллея мусорных ведер. Проспект погребальных урн, Бульвар сточных канав, Разрушенные поля, исковерканный, заваленный рухлядью Бродвей — парад развалин¹.

А лейтенант Фишер командует. Лево́й, два, лево́й, два, лево́й, два. И Фишер, Фишер шагает, лево́й, два, лево́й, два, лево́й... мимо, дальше, прочь...

У маленькой девочки тонкие, как пальчики, ноги, как пальчики зимой: тонкие, красные, посиневшие, такие тонкие! Ноги двигаются: лево́й, два, три, четыре. Маленькая девочка беспрерывно говорит, а Фишер шагает рядом, и она все твердит и твердит: боженька, дай мне супу. Боженька, дай мне супу. Только ложечку, только ложечку. Только ложечку. У матери волосы мертвы. Давно мертвы. Мать говорит: бог не может дать тебе супу, никак не может. Почему бог не может дать мне супу? У него ведь нет ложки. Ее-то и нет. Маленькая девочка ступает рядом с матерью своими тонкими, как пальчики, посиневшими от холода ножками. Фишер идет позади. У матери волосы

¹ Намек на Аллею Победы в Берлине, Елисейские Поля в Париже и другие главные улицы городов мира.

мертвы. Они совсем как чужие на земле. А маленькая
девочка приплясывает вокруг матери и вокруг отца. И все
все вокруг и вокруг, и вокруг, и вокруг, и вокруг. И все
ведь нет ложки. У него нет ни одной ложки. И все
Так приплясывает маленькая девочка. А отец сидит
позади нее. Он поворачивается и поворачивается, когда по-
шатывается от ударов ветра. Но маленький отец говорит
дочери: левый, левый, вперед, вперед. Отец говорит, что в ма-
ленькая девочка приплясывает, и все же нет ложки, и все
же нет ложки. И все же отец говорит, что в комнате
ложился. У него ведь нет ложки. А все вокруг, вокруг, во-
круг, да где же ты, да где ты, да где ты, да где ты.

57 покосился на маленького сына. И маленький сын
Меня полюбила. И все же не было ложки. И все же
я ложился. Тогда же и ты, отец. И все же не было ложки.
А тех покосился на маленького сына. И маленький сын
бреду по дороге. И маленький покосился на маленького сына.
грызет меня. И все же не было ложки. И все же не было ложки. И все
25 раз по 57. Отец меня полюбил. И все же не было ложки. И все же
себя. Она с кровью в глазах и в слезах. И все же
одиночество! Повесть одиночества...

И вот я еду по железной дороге. Железная колеблется от
космических сил. И все же не было ложки. И все же не было ложки.
Все время кто-то играет на рояле.

Когда отец в первый раз увидел свою жену, кто-то играл
на рояле. В мое время рождения — кто-то играл на рояле.
В школе, в мое время рождения — кто-то играл на рояле.
Когда мы с вами должны были стать друзьями,
когда началась война, — кто-то играл на рояле. В шко-
тале вновь кто-то играл на рояле. Война кончилась,
а кто-то все играл на рояле. Все время кто-то играет. Все
время играет на рояле. Но все же железной дороге...

Паровоз гудит. Тим говорит, что он плачет. Уж ты
смотришь вверх, звезды падают. Ты гудит и гудит паровоз.
А Тим говорит, что он плачет. Ты плачешь. Ты
напролет. Всю дорогу ночь плачет. Он плачет, и плачет
начинает шептать, когда он так плачет, плачет Тим. Пла-
чет, как ребенок, плачет Тим. Мы с вами же плачем
с дровами. Дрова падают вниз. Плачут все крики.
Звезды, как взглянешь вверх, звонят и мажущие.

Вот опять гудит паровоз. Слышишь? — слышишь
Тим. Опять он заплакал. Ты же плачешь, с чьей плачущей
плакать? Но так плачет Тим. Плачет, как ребенок,

говорит он. Тим говорит, я не должен был сталкивать старика с поезда. Я не сталкивал старика. Ты не должен был это делать, говорит Тим. Но я и не делал. Паровоз плачет. слышишь, как он плачет, говорит Тим. Ты не должен был это делать. Я не сталкивал старика с поезда. Паровоз не плачет. Он гудит. Паровозы всегда гудят. Он плачет, говорит Тим. Старик сам свалился с поезда. Никто его не трогал. Он заснул, Тим, заснул, говорю я тебе. И свалился спросонья. Ты не должен был это делать. Он плачет уже целую ночь. Тим говорит, что не следует сталкивать старых людей с поезда. Да я этого и не делал. Он заснул. Ты не должен был это делать, говорит Тим. Тим рассказывает, что в России он дал пинка в зад старику. Уж очень старик был медлителен и брал за раз слишком мало. А они перетаскивали боеприпасы. Вот тут-то Тим и дал старику пинка. Но старик медленно, медленно повернул голову, рассказывает Тим, и печально взглянул ему в глаза. Больше ничего... И лицо у старика было, как у его родного отца. В точности как у отца, рассказывает Тим. Паровоз гудит. Иногда кажется, что он кричит. Тим даже думает, что он плачет. Может быть, Тим и прав. Но я не сталкивал старика с поезда. Он захрапел. И свалился сам... Ведь вагон порядком потряхивает на рельсах. Как посмотришь вверх, звезды дрожат. Платформа сотрясается от космических волн. Паровоз гудит. Нет, кричит, кричит так, что звезды дрожат.

А я все еще в пути. Два, три, четыре. Иду к трамваю. Уж два раза я ложился. Почва колеблется от космических волн. Все из-за голода. Но я все же иду. Я уж давно, давно иду. По длинной, длинной улице. По улице.

Маленький мальчик протягивает руки: я пришел за гвоздями. Кузнец отсчитывает гвозди. Трое? — спрашивает он. Папа сказал, для троих.

Гвозди падают прямо в руки. У кузнеца большие толстые пальцы, а у мальчика тонкие пальчики. Они вот-вот сломаются под тяжестью больших гвоздей.

— А тот, кто говорит, будто он сын божий, тоже среди этих троих?

Мальчик кивает.

— Он все еще говорит, что он сын божий?

Мальчик кивает.

Кузнец еще раз берет в руку гвозди. Потом опять бросает, и они падают мальчику в руки. Маленькие ручки

вот-вот сломаются под их тяжестью. Затем кузнец говорит: «Ну что ж!»

Мальчик уходит. Гвозди такие блестящие. Мальчик пускается бегом. От этого гвозди дребезжат. Кузнец берет молот. Ну что ж, говорит он. И вдруг мальчик слышит позади себя: «Бамм-бам! Бамм-бам!» Он опять кует, — думает мальчик. Кует гвозди, много блестящих гвоздей.

57 похоронили под Воронежем. Я уцелел, но меня мучает голод. Царство мое от мира сего, от мира сего. И кузнец напрасно делал гвозди, гей, да ты... напрасно, пехота, напрасно, красивые, блестящие гвозди. Ведь 57 похоронили под Воронежем. «Бамм-бам» — кует кузнец. «Бамм-бам» — кует он под Воронежем. 57 раз «бамм-бам». «Бамм-бам» — кует кузнец. «Бамм-бам» — шагает пехота. «Бамм-бам» — грохочут пушки. А рояль все играет и играет — «бамм-бам, бамм-бам, бамм-бам...»

57 каждую ночь приходят в Германию. 9 автослесарей, 2 садовника, 2 служащих, 6 продавцов, 1 парикмахер, 17 крестьян, 2 учителя, 1 пастор, 6 рабочих, 1 музыкант, 7 школьников. 57 каждую ночь приходят к моей постели и каждую ночь спрашивают: где твоя рота? Под Воронежем, отвечаю я. Похоронена, отвечаю. Похоронена под Воронежем. 57 спрашивают один за другим: за что? И 57 раз я отвечаю молчанием.

57 приходят ночью к отцу. 57 и лейтенант Фишер. Лейтенант Фишер — это я. 57 спрашивают ночью отца: отец, за что? И отец 57 раз отвечает молчанием. И он дрожит от холода в одной рубашке, но идет с ними.

57 приходят ночью к старосте. 57, и отец, и я. 57 спрашивают ночью старосту: староста, за что? И староста 57 раз отвечает молчанием. И он дрожит от холода в одной рубашке, но идет с ними.

57 приходят ночью к пастору. 57, и отец, и староста, и я. 57 спрашивают ночью пастора: пастор, за что? И пастор 57 раз отвечает молчанием. И он дрожит в одной рубашке, но идет с ними.

57 приходят ночью к школьному учителю. 57, и отец, и староста, и пастор, и я. 57 спрашивают ночью учителя: учитель, за что? И учитель 57 раз отвечает молчанием. И он дрожит в одной рубашке, но идет с ними.

57 приходят ночью к генералу. 57, и отец, и староста, и пастор, и учитель, и я. 57 спрашивают ночью генерала: генерал, за что? А генерал, тот и головы не поворачивает.

Тогда отец убивает его. А пастор? Пастор хранит молчание.

57 приходят ночью к министру. 57, и отец, и староста, и пастор, и учитель, и я. 57 спрашивают ночью у министра: министр, за что? Министр сначала очень испугался и за корзину с вином забрался. Потом, поклонившись с бокалом в руке, на север, на запад, восток и на юг, произнес: за Германию, друзья, за Германию! Вот за что! И 57 оглядываются вокруг. Молча. Долго в молчании смотрят вокруг, на север, на запад, восток и на юг. И шепчутся тихо: за Германию? за это? и 57 отворачиваются и больше не смотрят вокруг. Вновь ложатся они под Воронежем в могилу. У них усталые, несчастные лица. Как у женщин. Как у матерей. И до скончания веков повторяют они: за это? за это? за это?..

57 похоронили под Воронежем. Я уцелел. Я лейтенант Фишер. Мне 25 лет. Я еще хочу дойти до трамвая. Я хочу в него попасть. Я давно, давно иду. Голод мучает меня. Но я должен дойти. 57 спрашивают: за что? А я выжил. И я уже так давно иду по длинной, длинной улице.

В пути. Мужчина. Господин Фишер. Это я. Лейтенант стоит впереди и командует: левой, два, три, четыре, левой два, три, четыре. Марш, марш, гей, да ты... два, три, четыре, левой, два, три, четыре, пехота, пехота, бамм-бам, бамм-бам, три, четыре, бамм-бам, три, четыре, бамм-бам, бамм-бам, по длинной улице, бамм-бам, все вдаль, все вперед, за что, за что, за что, бамм-бам, бамм-бам, под Воронежем, за то, под Воронежем, за то, бамм-бам, по длинной, длинной улице, бамм.

Человек. 25. Я. Улица. Длинная, длинная. Я. Дом, дом, дом. Забор. Забор. Молочная ферма. Двор, запах скотины, Дверь.

ЗУБНОЙ ВРАЧ.

По субботам прием только по назначению

Забор, забор, забор. Гильда Бауер дура. Лейтенант Фишер ничто. 57 спрашивают, за что. Забор, забор, окно, стекло, стекло, стекло, лампа. Старуха с красными глазами. Запах жареной картошки. Дом, дом. Уроки игры на рояле, бамм-бам, по улице гвозди блестят — длинные пушки — бамм-бам, — стоят по всей улице в ряд. Малыш, малыш, собака, мяч, автомобиль, камень — булыжник, головы, как булыжники, бамм-бам, камень, камень, серо, серо от бен-

зина фиолетовое пятно. Серо, серо по всей длинной улице, камень, камень, серый, синий, вялый, вялый, серый, серый. Забор, забор, зеленая дощечка:

ЛЕЧИТЬ ГЛАЗА БОЛЬНЫЕ РАД
ОПТИК ВАЙНДОР АД.

2 этаж.

Забор, забор, забор. Камень. Пес. Пес поднимает лапу. Дерево, душа. Собачий сон. Автомобиль еще гудит, пес еще бежит, но вот — мостовая красна, а собака мертва. Забор, забор, забор вдоль всей длинной, длинной улицы. Окно, забор, окно, окно, окно, лампа. Люди, свет. Мужчины, все лишь мужчины. Физиономии лоснятся, блестят, как гвозди, чудо как блестят.

Сто лет назад играли они в скат. Уж сто лет назад играли, и сейчас, сейчас все играют. Через сто лет будут играть. Снова и снова в скат. Трое мужчин. С лоснящимися довольными лицами.

— Пас.

— Карл, набавь.

— Я тоже пас.

— Так, значит, вы пасуете, господа?

— Ты бы тоже мог сказать пас, вот и был бы у нас верный рамс.

— Ходи, ходи, что это там?

— Трефи козырь, кто ходит?

— Кто спрашивает, тот и ходит.

— Рискнуть, что ли... и опять козырь!

— Как, Карл, у тебя нет больше трэф?

— На этот раз нет.

— Ну, так мы, пожалуй, рискнем.

— У кого дамы нет...

— Козырь!

— Ну давай, Карл, выкладывай, что у тебя за душой. Двадцать восемь!

— И еще раз козырь!..

Сто лет назад играли они. Играли в скат. И через сто лет будут играть, играть в скат, с лоснящимися довольными лицами. А когда они стучат кулаком по столу, все грохочет. Как пушки. Как 57 пушек.

А в следующем окне сидит мать. Перед ней три фотографии. Трое мужчин в военной форме. Слева — ее муж, справа — сын, а в центре — генерал. Генерал, у которого

служили муж и сын. И когда вечером мать ложится спать, она ставит фотографии так, чтобы видеть их и лежа в постели: сына и мужа и в центре — генерала. А затем она читает письма, которые написал ей генерал. 1917. За Германию! — написано в одном. 1940. За Германию! — написано в другом. Дальше мать не читает. Глаза у нее красны, ужасно красны.

Но я уцелел. Гей, да... За Германию. Я еще в пути. К трамваю. Уж два раза я ложился. От голода. Гей, да ты... Но я должен попасть туда. Лейтенант командует. Я в пути. Уже давно, давно в пути. В темном углу стоит мужчина. Вечно в темных углах стоят мужчины. Вот стоит один и держит ящик и шляпу. «Пирамидон! — рявкает мужчина. — Пирамидон! Достаточно 20 таблеток». Мужчина улыбается: торговля идет бойко. Торговля идет очень бойко. Ведь 57 женщин с красными глазами покупают пирамидон. Подставь к этому нуль. 570. Еще и еще нуль. 57 000. Еще и еще. 57 000 000. Торговля идет хорошо. Мужчина рявкает: пирамидон! Он улыбается, ведь торговля процветает. 57 женщин, женщин с красными глазами покупают пирамидон. Ящик пустеет, а шляпа уже полна. Мужчина улыбается. Чего ему не улыбаться? У него ведь нет глаз. Он счастлив, потому что у него нет глаз. Он не видит женщин. Он не видит этих 57 женщин, 57 женщин с красными глазами.

Только я уцелел. И я уже в пути. А улица длинная, ужасно длинная. Но я хочу добраться до трамвая. Я уже в пути, давно, давно в пути.

В комнате сидит мужчина. Он пишет чернилами на белой бумаге. И говорит кому-то в комнате:

На коричневой борозде пашни
Колышется зеленая травка,
Синий цветочек
Влажен от утренней росы.

Он пишет это на белой бумаге. И читает вслух в пустой комнате. Зачеркивает, исправляет и говорит, обращаясь в глубь комнаты:

На коричневой борозде пашни
Колышется зеленая травка,
Синий цветочек
Утоляет всякую ненависть.

Мужчина записывает это. Он читает вслух в пустой комнате. Зачеркивает, исправляет. Затем говорит в глубь комнаты:

На коричневой борозде пашни
Кольшется зеленая травка,
Синий цветочек,
Синий цветочек,
Синий...

Мужчина встает. Он ходит вокруг стола. Все вокруг. Останавливается.

Синий...
Синий...
На коричневой борозде пашни...

Мужчина все ходит вокруг стола.

57 похоронили под Воронежем. Но земля была серая. И твердая, как камень. И там не колыхалась зеленая травка. Там был снег, плотный, как стекло. И без синих цветочков. Миллионы снежинок и никаких синих цветочков. Но мужчина в комнате не знает этого. Он никогда не узнает ничего подобного. Он все время видит лишь синий цветочек, повсюду синий цветочек. А ведь 57 похоронили под Воронежем. Под твердым, как стекло, снегом. В пепельно-сером песке. Без зеленого и без синего. Песок был, как лед, холодный и серый. А снег, как стекло, и он не утоляет ненависти.

Ведь 57 похоронили под Воронежем. 57 похоронили. Под Воронежем похоронили.

«Это еще ничего! Это еще ничего!» — говорит старший ефрейтор с костылем. Он кладет костыль на обрубок ноги и целится. Прищуривает один глаз и целится костылем, положив его повыше колена. «Это еще совсем ничего, — говорит он. — В одну ночь мы прикончили 86 Иванов. 86 Иванов. Из одного пулемета, голубчик, одного-единственного. На следующее утро мы их пересчитали. Они валялись в куче. 86 Иванов. У некоторых рот был еще открыт. У многих также и глаза. Да, у многих глаза были открыты. В одну ночь, голубчик». Старший ефрейтор целится своим костылем в старуху, которая сидит напротив него на скамейке. Он целится в одну старуху, а попадает сразу в 86. Но те живут в России. Об этом он ничего не знает. Хорошо, что он об этом знать не знает. Что бы он иначе делал, когда наступает вечер.

Об этом знаю лишь я. Я лейтенант Фишер. 57 похоронили под Воронежем. Но я был не совсем еще мертв. Я еще в пути. Уж два раза я ложился. От голода. Ведь у бога нет ложки. Но я во что бы то ни стало хочу дойти до трамвая. Если бы только улица не была так забита матерями. 57 похоронили под Воронежем. А старший ефрейтор на другое утро насчитал 86 Иванов. Своим костылем он убивает 86 матерей. Но, к счастью, он этого не знает. Как бы он иначе жил. Ведь у бога нет ложки. Хорошо, что в стихах поэтов цветут синие цветочки. Хорошо, что кто-то всегда играет на рояле... Хорошо, что те играют в скат. А иначе, что бы они все стали делать: старуха с тремя фотографиями у постели, старший ефрейтор с костылями и 86 убитыми Иванами, мать с маленькой девочкой, что мечтает о супе, и Тим, который ударил ногой старика? Что бы с ними со всеми иначе стало?

Но я должен идти вдоль по длинной, длинной улице. Все идти и идти. Забор, забор, дверь. Фонарь, забор, забор, окно. Забор, забор, забор и пестрая бумажка, пестрая бумажка с напечатанными на ней словами:

Вы уже застраховались?

Сделайте себе и семье подарок к рождеству.

Приобретите вступительный билет

В общество страхования жизни

«Урания».

57 не застраховали как надо свою жизнь. И 86 мертвых Иванов тоже. И семьям своим они не сделали рождественского подарка. Только красные глаза подарили они им. Больше ничего, только красные глаза. Зачем, зачем не вступили они в общество страхования жизни «Урания»? И вот я могу теперь сколько душе угодно отбиваться от красных глаз. Повсюду красные, заплаканные, распухшие от слез глаза. Глаза матерей, глаза жен. Повсюду красные, заплаканные глаза. Почему 57 не дали себя застраховать? Зачем 57 не дали себя застраховать? Да, своим семьям они не приготовили рождественского подарка. Красные глаза. Только красные глаза. А ведь на тысяче пестрых плакатов написано: «Общество страхования жизни «Урания», «Общество страхования жизни «Урания».

Эвелин стоит на солнце и поет. Солнце освещает Эвелин. Сквозь платье просвечивают ноги и все тело. А Эвелин поет, поет немного в нос и хриловато. Сегодня ночью она слишком долго стояла под дождем. А поет она так, что, едва я закрою глаза, меня бросает в жар. А как открою — вижу ноги и все тело. И Эвелин поет так, что у меня слезы на глаза навертываются. Она поет о сладкой гибели. Поет об обжигающей водке, полной стонув израненного мира.

Гибель воспевают Эвелин, гибель мира, блаженный конец меж тонких девичьих ног: святую, жаркую, божественную гибель. Ах, Эвелин поет, а песня ее — как трава после дождя, полная ароматов и сладострастия, и такая же зеленая. Такая сочно-зеленая, что меня бросает в жар, зеленая, как пустые бутылки из-под пива рядом со скамейками, на которых по вечерам из-под платья виднелись колени Эвелин, бледные, словно облитые лунным светом.

Пой, Эвелин, пой, пусть я умру под твои песни. Пой о сладкой гибели, об обжигающей водке, о зеленом, как трава, дурмане. И Эвелин сжимает мою холодную, как трава, руку меж бледных, как луна, колен так, что меня бросает в жар. А Эвелин поет: «Приди, веселый май, и одень...» — поет Эвелин и сжимает меж колен мою руку. «Приди, веселый май, и одень зеленью могилы». Так поет Эвелин. «Приди, веселый май, и покрой поля сражений зеленью, зеленой, как пивные бутылки, а мусор, огромную свалку мусора, сделай зеленой, как моя песня, как моя водочно-сладкая опьяняющая песнь, песнь гибели».

И Эвелин хрипло поет на скамейке вакхическую песнь, так что меня пронизывает холод. «Приди, веселый май, и верни блеск моим глазам», — поет Эвелин и сжимает мою руку между коленями.

Пой, Эвелин, пой, верни меня песней под покров зеленой, как пивная бутылка, травы, где я был песком, глиной, прахом. Пой, Эвелин, пой и унеси меня в песне от развалин и полей сражений, от братской могилы в твоё сладкое, жаркое, девически-таинственное лунное сияние. Пой, Эвелин, пой, когда тысячи отрядов шагают в ночи; пой, когда тысячи пушек вспахивают поля и обагрят их кровью. Пой, Эвелин, пой, когда со стен валяются часы и картины. Уведи меня тогда песней в опьяняющий зеленый дурман, в твою сладкую гибель. Пой, Эвелин, пой, замкни меня песней в твою девичью жизнь, в твои тайные ночные

девичьи грезы. Они так сладки, что меня вновь охватывает тепло, тепло жизни. Приди, веселый май, и пусть трава вновь станет зеленой-зеленой, как пивная бутылка, зеленой, как песня Эвелин. Пой, Эвелин!

Но девушка не поет. Она считает. Ведь у нее большой живот. Даже слишком большой. И вот она должна всю ночь стоять на платформе вокзала, потому что один из 57 не был застрахован. И всю ночь теперь считает она вагоны. У паровоза — 18 колес. У пассажирского вагона — 8, а у товарного — 4. Девушка с большим животом считает вагоны и колеса — колеса, колеса, колеса. 78, говорит она вдруг. Это уже хорошо. 62, говорит она затем. Этого, чего доброго, не хватит. 110, считает она. Достаточно. И бросается под поезд. В поезде — паровоз, 6 пассажирских и 5 товарных вагонов. Значит — 86 колес. Этого достаточно. Когда поезд со всеми своими 86 колесами прошел, девушки с большим животом уже не было. Ее просто не стало. Ни частички ее, ни кусочка от нее не осталось. У нее не было синего цветочка, никто не играл для нее на рояле, и никто не играл с нею в скат. А у бога не было для нее ложки. Зато у поезда было много красивых колес. Куда ей было еще деваться? Ведь у бога даже ложки не было. А теперь от нее ничего не осталось, ничего.

Лишь я. Я еще в пути. Все еще в пути. Уже давно, давно в пути. Улица длинная. Я никак не пройду улицу и не уйду от голода. Обоим нет конца.

То и дело они снова кричат. Слева — на футбольном поле. Справа — в большом доме. Иногда они орут там во всю мочь. А улица проходит между ними. По улице иду я. Я, лейтенант Фишер. Мне 25 лет. Меня терзает голод. Я иду от самого Воронежа. Я уж давно в пути. Слева — футбольное поле. Справа — большой дом. В нем-то они и собрались. 1000, 2000, 3000. И никто не говорит ни слова. Перед ними исполняют музыку. Кто-то поет. А эти 3000 не говорят ни слова. Они тщательно умыты. Волосы причесаны. Рубахи на них чистые. Так сидят они здесь в большом доме и разрешают, чтобы их волновали до глубины души, поучали или развлекали — кто их разберет... Они сидят, тщательно вымытые, и разрешают, чтобы их потрясали. Но они не знают, что меня мучает голод. Этого они не знают. Не знают, что я стою здесь у стены, — я человек из-под Воронежа, человек, идущий по длинной улице, которого без конца терзает

голод и который уж так давно в пути. Они не знают, что я стою здесь у стены потому, что от голода, от голода не могу сделать ни шагу дальше. Но ведь этого всего они не могут знать. Между нами стена, тупая толстая стена. И перед ней стою я, и у меня подкашиваются колени, а за ней — они, в чистом белье. Воскресенье за воскресеньем ждут они, чтобы их волновали. За десять марок они разрешают, чтобы их потрясли до глубины души, перевернули все у них внутри, притупили нервы. А ведь десять марок — это огромные деньги. Для моего желудка это огромные деньги. Но зато на билетах, которые они получают за десять марок, начертаны слова **Страсти, Страсти по Матфею**. Однако когда мощный хор восклицает **Варрава**¹ яростно, кровожадно кричит **Варрава**, они, эти тысячи в чистых рубахах, не падают со скамей. Нет, они не плачут и не молятся. В их душах, как и на их лицах, ничего не отражается, когда мощный хор поет: **Варрава**. На билетах написано: на десять марок **Страстей по Матфею**. И где бы они ни сидели, совсем впереди, где страсти переживают оглушительно громко, или немного дальше, где страдания звучат приглушенно, это не имеет никакого значения. На их лицах ничего не отражается, когда мощный хор гудит: **Варрава**. Все они во время **Страстей** сохраняют полное самообладание: ни одна прическа не растреплется от горя и муки. Нет, о горе и муках ведь только поют перед ними и играют на скрипках, воспроизводят их в музыке за 10 марок. Да и те, что кричат **Варрава**, только разыгрывают все это, ведь им платят за крик. И огромный хор кричит **Варрава!** — **Мама!** — кричит лейтенант Фишер на бесконечной улице. Лейтенант Фишер — это я. **Варрава!** — кричит огромный хор тщательно вымытых. **Голод!** — урчит в животе у лейтенанта Фишера. Лейтенант Фишер — это я. **Бей!** — кричат тысячи на футбольном поле. **Варрава!** — кричат с правой стороны улицы. **Бей!** — кричат с левой стороны улицы. **Воронеж!** — кричу я посередине. Но тысячи глоток заглушают меня. **Варрава!** — кричат с правой стороны. **Бей!** — кричат с левой. **Страсти** играют

¹ Речь идет о мессе композитора Баха «Страсти по Матфею». Варрава — разбойник, упоминаемый в Евангелии от Матфея, глава XXVII, стихи 15 и далее.

справа. В футбол играют слева. Я стою между ними. Я лейтенант Фишер. Моей юности 25 лет. И 57 миллионов лет моей старости. Это годы Воронежа. Годы матерей. 57 миллионов лет улицы. Годы Воронежа. С правой стороны кричат Варрава! С левой — Бей! — А между ними стою я, один-одинешенек, без матери. Один на колеблющейся космической волне. Без матери. Мне 25 лет. Мне знакомы те 57, что похоронены под Воронежем, те, 57, что ни о чем не подозревали, ничего не хотели. Я не забываю о них день и ночь. И я знаю 86 Иванов, что наутро лежали с открытыми глазами и ртами перед пулеметом. Я знаю маленькую девочку, у которой нет супа, и старшего ефрейтора с костылями. Справа за десять марок кричат прямо в уши тщательно вымытым: Варрава! Но я знаю старую женщину с тремя фотографиями у кровати и девушку с большим животом, что бросилась под поезд. Бей! — кричат слева, — тысячу раз бей! Но я знаю и Тима, который не может уснуть, потому что ударил старика, и 57 женщин с красными глазами, покупающих у слепого пирамидон. На маленькой коробочке написано: «на 2 марки пирамидона». Страсти — написано на входных билетах на правой стороне улицы, на 10 марок страстей. Игра на кубок — стоит на синих, как цветочки, билетах стоимостью в четыре марки, на левой стороне улицы. Варрава! — кричат с правой стороны. Бей! — кричат с левой. И все время рычит слепой: пирамидон! Между ними стою я, совсем один, без матери, один на колеблющихся космических волнах. И внутри у меня рычит голод! И я знаю тех 57 из-под Воронежа. Я лейтенант Фишер. Мне 25 лет. Все остальные хором кричат бей! и Варрава! Лишь я уцелел. Правда, мне очень плохо. Но так хорошо, что тщательно вымытые не знают 57 из-под Воронежа. Иначе как бы они выдержали во время исполнения Страстей и игры на кубок. Лишь я еще в пути. Иду от Воронежа. Долго, долго терплю голод. Лишь я уцелел. Остальных похоронили под Воронежем. 57. Лишь меня позабыли. Почему меня позабыли? Теперь у меня осталась только стена. Она мне опора. Вдоль нее должен я двигаться. Бей! — кричат мне вслед. Варрава! — кричат мне вслед. По всей длинной, длинной улице. И у меня давно уже нет сил. Давно уже нет больше сил. У меня осталась одна лишь стена. Ведь матери со мной

нет. Лишь 57 — те здесь. 57 миллионов матерей с красными глазами так жестоко преследуют меня! Вдоль по улице. Но лейтенант Фишер командует: левой, два, три, четыре, левой, три, четыре, марш, марш, Варрава, синий цветочек, весь мокрый от крови и слез, марш, марш, гей, да ты... похоронена пехота под футбольным полем, под футбольным полем.

Я давно уже совсем без сил, но старый шарманщик играет так бодро. «Радуйтесь жизни, — поет он вдоль по всей улице. — Радуйтесь и вы, что под Воронежем, гей, да.. радуйтесь же, пока еще цветет синий цветочек, радуйтесь жизни, пока играет шарманка...»

Старик поет замогильным голосом. Очень тихо. «Радуйтесь! — поет он, — пока...» Поет он так тихо, замогильно, совсем в духе Воронежа, в духе могильных червей. «Радуйтесь, пока еще тлеет искра обмана! Пока еще цветет вьюнок!»

— Я лейтенант Фишер! — кричу я. — Я уцелел. Я уже давно бреду по длинной улице. А 57 похоронили под Воронежем. Я знаю их.

— Радуйтесь, — поет шарманщик.

— Мне 25 лет, — кричу я.

— Радуйтесь, — поет шарманщик.

— Я голоден, — кричу я.

«Радуйтесь», — поет он, и пестрые марионетки на его шарманке раскачиваются. У шарманщика красивые пестрые марионетки. Много красивых марионеток. Есть у шарманщика боксер. Боксер размахивает большими глупыми кулаками и кричит: «Я боксирую!» И он двигается очень ловко. Есть у шарманщика и толстяк. С толстым глупым мешком, набитым деньгами. «Я правлю миром», — кричит толстяк и двигается очень ловко. Есть у шарманщика генерал. В толстом глупом мундире. «Я командую, — все время кричит он, — я командую». И он двигается очень ловко. И есть у шарманщика доктор Фауст в белоснежном халате и темных очках. Этот не кричит и не зовет. Но двигается он ужасно, ужасно быстро.

«Радуйтесь», — поет шарманщик, и его марионетки раскачиваются, раскачиваются ужасно быстро. — «У тебя красивые куколки, шарманщик», — говорю я. — «Радуйтесь», — поет шарманщик. — «Но что делает мужчина в очках, мужчина в очках и в белом халате? — спрашиваю я. — Он не кричит, не боксирует, не правит миром

и не командует. Что же делает человек в белом халате, ведь он все время двигается, ужасно быстро двигается?»

«Радуйтесь! — поет шарманщик, — он думает, — поет шарманщик, — он думает, исследует, изобретает». — «Что же изобретает человек в очках, ведь он так ужасно суетится?» — «Радуйтесь, — поет шарманщик. — Он изобретает порошок, зеленый порошок, порошок цвета надежды». — «Шарманщик, для чего служит этот порошок, не зря же ведь он так суетится?»

«Радуйтесь, — поет шарманщик, — одной ложечкой этого зеленого порошка, цвета надежды, можно убить целых 100 миллионов человек. Стоит только вдохнуть его, только вдохнуть с надеждой». А человек в очках все изобретает и изобретает. «Радуйтесь пока еще», — поет шарманщик. — «Он изобретает!» — кричу я. — «Радуйтесь пока еще, — поет шарманщик, — радуйтесь пока еще...»

Я лейтенант Фишер. Мне 25 лет. Я отобрал у шарманщика человечка в белом халате. Радуйтесь пока еще... Я оторвал этому человечку, человеку в очках и в белом халате, голову! Радуйтесь пока еще... Я вывернул руки белому человечку в халате и в очках, человечку с зеленым порошком. Радуйтесь пока еще. Я проткнул насквозь зеленого, цвета надежды, изобретателя. Я проткнул его насквозь, насквозь. Теперь он не может изготавливать порошок, не может больше изобретать порошок. Я проткнул его насквозь, насквозь.

«Почему сломал ты мою красивую марионетку? — кричит шарманщик. — Он был такой умный, мудрый, как Фауст, умный, мудрый и изобретательный. — Почему ты сломал человечка в очках, почему?» — спрашивает шарманщик.

«Мне 25 лет, — в ответ кричу я. — Я еще в пути, — кричу я. — Мне страшно, — кричу я. — Поэтому я и сломал человечка в халате. Мы живем в хижинах, построенных из дерева и надежды, но мы живем. И перед нашими хижинами еще растет репа и ремень. Перед нашими хижинами растут помидоры и табак. Нам страшно! — кричу я. — Мы хотим жить! — кричу я. — Жить в хижинах из дерева и надежды! Ведь помидоры и табак пока еще растут. Они все еще растут. — Мне 25 лет, — кричу я, — потому я и убил человечка в очках и белом халате. Потому я и убил изобретателя порошка. Потому, потому, потому».

«Радуйтесь, — начинает тут петь шарманщик. — Итак, радуйтесь же пока, пока, пока что радуйтесь, — поет шарманщик и вынимает из своего огромного ящика новую марионетку с очками, в белом халате и с ложечкой, да, ложечкой, полной зеленого порошка цвета надежды. — Радуйтесь, — поет шарманщик, — радуйтесь пока, ведь у меня еще много белых человечков, ужасно, ужасно много». — «Но они ведь так ужасно суетятся, — кричу я, — а мне 25 лет и мне страшно, и я живу в хижине из дерева и надежды. А помидоры и табак ведь еще растут».

— Радуйтесь пока еще, — поет шарманщик.

— Но он так ужасно быстро двигается, — кричу я.

— Да нет, он не двигается, это его двигают.

— А кто же, кто его двигает?

— Я, — отвечает тогда шарманщик угрожающе, — я!

— Я боюсь, — кричу я, сжимаю руку в кулак и ударяю шарманщика, страшного шарманщика, кулаком по лицу. Нет, я не ударил его, так как не мог дотянуться до его лица, его страшного лица. Голова его сидит так высоко на шее. Я не могу достать до нее кулаком. А шарманщик так страшно смеется. Но я не могу дотянуться до его лица, не могу, не могу до него дотянуться. Лицо его очень далеко и смеется, ужасно смеется. Оно так ужасно смеется!

По улице бежит человек. Ему страшно. Мать бросила его одного. Теперь ему так громко кричат вслед. «За что?» — кричат 57, те, что под Воронежем. «За что? За Германию!» — кричит министр. «Варрава!» — кричит хор. «Пирамидон!» — предлагает слепой. А остальные кричат: — «Бей!» 57 раз кричат: — «Бей». А человек в халате, белый человек в очках и в халате так ужасно быстро двигается. И изобретает, изобретает, изобретает. У маленькой девочки нет ложки, нет ложки. Зато у человека в белом и в очках есть ложка. Ее хватит как раз на 100 миллионов. «Радуйтесь», — поет шарманщик.

Человек бежит по улице. По длинной, длинной улице. Его терзает страх. Он мчится со своим страхом по всей земле. На колеблющейся волне мира. Этот человек — я. Мне 25 лет. И я в пути. Давно, и все еще в пути. Я хочу попасть в трамвай. Я должен попасть в трамвай, ведь за мной гонятся все, все так жестоко преследуют меня.

Человек бежит по улице. Его терзает страх. Этот человек — я. Этот человек убегает от крика, этот человек — я,

Человек верит в помидоры и табак. Этот человек — я. Человек вскакивает в трамвай, в желтый милый трамвай. Этот человек — я.

Я еду в трамвае, в милом желтом трамвае. Куда мы едем? — спрашиваю я остальных. На футбольное поле? На «Страсти по Матфею»? К хижинам из дерева и надежды, где растут помидоры и табак? Куда мы едем? — спрашиваю я. Никто не говорит ни слова. Но вот здесь сидит женщина с тремя фотографиями на коленях. А рядом — трое игроков в скат. А вон там человек с костылями, маленькая девочка без супа и девушка с большим животом. Кто-то сочиняет стихи. А кто-то играет на рояле. А 57 шагают по улице рядом с трамваем. Марш, марш, гей, да ты... смело, пехота, под Воронежем. Гей, да... Впереди шагает лейтенант Фишер. Лейтенант Фишер — это я. И моя мать идет за мной. 57 миллионов идут за мной. Куда же мы едем? — спрашиваю я кондуктора. Тогда он протягивает мне зеленый, цвета надежды, билет. «Матфей — Пирамидон» — написано на нем. «Все мы должны платить», — говорит он и протягивает мне руку. И я отдаю ему 57 человек. «Но куда же мы едем? — спрашиваю я других. — Должны же мы знать, куда?» Тогда говорит Тим: «Этого-то и мы не знаем. Этого не знает ни один черт». Все кивают головой и ворчат: «Ни один черт». Но мы едем.

«Дин-дон» — звенит трамвай, и никто не знает, куда мы едем. Но все едут вместе. И кондуктор делает непроницаемое лицо. Он очень старый, кондуктор, и у него тысячи морщин на лице. Трудно отгадать — добрый это кондуктор или злой. Однако все ему платят. И все едут вместе. И никто не знает, добрый он или злой. И никто не знает, куда. «Дин-дон» — звенит трамвай. И никто не знает: куда? И все едут, вместе. И никто не знает... никто не знает... никто не знает...

ДОЛГИ ПЛАТИТЬ — В МИРЕ ЖИТЬ

Контора оптовой торговли Витуса Бауэра «Бумага и канцелярские принадлежности» помещается на первом этаже. Стеклопанная дверь отделяет кабинет хозяина от магазина. «Долги платить — в мире жить». Это изречение висит в рамке над письменным столом повелителя, которому подвластны восемь служащих и три автофургона. Но это не единственный афоризм в просторном помещении конторы. Над каждым рабочим местом хозяин приказал повесить какое-нибудь наставление.

«Делай как надо, не бойся никого!» — взывают красные буквы над рабочим местом ученика. «Праздность — мать всех пороков» — можно прочесть около пишущей машинки молоденькой фрейлейн Беккер; и, наконец, своему бухгалтеру, старой фрау Крафт, которая частенько опаздывает, Витус Бауэр мягко, но недвусмысленно напоминает, что «Утренние часы — золотые часы».

Эти изречения — ходовой товар в магазине Витуса Бауэра. Они вывешены здесь не только ради того, чтобы пробуждать дух усердия в служащих, но и как рекламные образцы.

Однако Витусу Бауэру в делах его не дано насладиться желанным миром. Клиенты платят плохо. Должники у него удивительно неаккуратные. Они никак не могут, да и не хотят, поставить себя на место оптового торговца. В наиболее тяжелых случаях приходится прибегать к суду. Господин Витус долго не церемонится — он подает ко взысканию, требует взыскания, да так, чтобы как следует пронять своих толстокожих клиентов, и они платят. Плачут, но платят.

Тот, кому довелось иметь дело с Витусом, не забудет его. Он приветливый человек, блондин лет пятидесяти, представительный мужчина, как говорится. Для каждого

у него приготовлена покоряющая улыбка. Он не орет, а улыбается даже тогда, когда есть от чего взбеситься. «Юмор — это смех наперекор судьбе» — еще одно изречение из его коллекции. Или «Перемелется — мука будет». Во всяком случае, он убедил себя в этом.

Страсть Витуса — подсчеты. Он поглощает цифры, как хлеб насущный. Большую часть времени он проводит за письменным столом. Складывает и умножает. «Двадцать восемь, тридцать два» — он шевелит губами и бормочет цифру за цифрой. «Итого, три марки восемьдесят». Он все записывает и подводит итоги. И дальше. Следующий лист.

И пошла работа!

— Господи боже мой, фрейлейн Беккер! Окантовки для фотографий, — нетерпеливо кричит хозяин. — Выньте картотеку на окантовки, пожалуйста.

Собственно говоря, рабочее время уже кончилось. Ганна Беккер надела плащ. Она собралась уходить. Но, когда хозяин позвал, Ганна вскочила. «Делай как надо, не бойся никого!» Она давно уже собиралась высказать хозяину все начистоту. По какому праву он задерживает ее так долго? Она каждый день опаздывает на автобус! Однако Ганна ничего не говорит, кроме «пожалуйста», но делает при этом обиженное лицо.

«Двадцать четыре дюжины пачек окантовок». Таблицу умножения на двенадцать Витус Бауэр знает, как никто другой. Дюжина — любимое число в торговле бумажными товарами.

— Двадцать две марки восемьдесят. Фрейлейн Беккер, принесите мне, пожалуйста, папку с надписью «Фирма Остгеймер». — Витус Бауэр поднимает свои водянистые голубые глаза и рассеянно глядит на секретаршу. На самом деле он вовсе не видит ее. Задумавшись, он отсутствующим взглядом смотрит сквозь нее на стену.

Фрейлейн Беккер кажется, что хозяин наблюдает за ней. Она начинает торопливо искать, роется в бумагах и приносит папку с надписью «Фирма Остгеймер». Но хозяин уже командует дальше:

— Карандаши автоматические. Три марки помножить на четыре — двенадцать. Фрейлейн Беккер, картонные корбочки, пожалуйста.

И так далее, без перерыва. Секретарша и сейчас ничего не говорит. Все равно автобус уже ушел. Она снимает плащ и разыскивает для хозяина карточки в картотеке.

— Одна марка тридцать пять на семь — итого девять марок сорок пять, — слышит она бормотание хозяина.

«Цифры, цифры, бумага и пыль», — думает в отчаянии Ганна Беккер. А она красива и главное молода. Ганна смотрит в окно. Прекрасная летняя погода. «Пожалуй, завтра можно будет надеть открытую блузку и летнюю юбку», — размышляет она. В воскресенье они с Руди собираются погрести на байдарке. Продержится ли такая погода?

— Копирка в коричневых папках, да не спите же, фрейлейн Беккер, — бранит ее хозяин.

Фрейлейн Беккер заторопилась. «Раз рабочий день окончен, он не имеет права ругаться», — думает она.

— Карточек на копирку нет, — говорит она и еще раз быстро просматривает картотеку.

— Расхлябанность! — кричит хозяин, начиная сердиться, и ударяет рукой по столу. Однако сейчас же снова успокаивается. Нет, Витус не теряет спокойствия. Он находит в перечне новый неясный пункт и начинает заниматься им. Игра в футбол — «Ворота — удар — гол» — излюбленная настольная игра для юношества, как значится в прейскуранте, вызывает у него головную боль. Излюбленную игру никто не покупает. Витус Бауэр решает сильно снизить цену, чтобы, наконец, избавиться от нее.

Фрейлейн Беккер не может найти карточку на копировальную бумагу.

Витус Бауэр бросает взгляд в окно. «Прекрасная погода, — констатирует он. — Пожалуй, нелишне будет заказать на летний сезон побольше открыток с пейзажами для туристов, хотя, к сожалению, в этом году туристов меньше, чем в прошлом».

— Не забудьте мне напомнить завтра, — говорит хозяин фрейлейн Беккер, — что нужно заказать соломинки для прохладительных напитков и открытки.

Он разрешает Ганне прекратить поиски.

— Рабочий день давно кончился, — говорит он добродушно, — отложим до завтра, утро вечера мудренее.

Господин Витус Бауэр потягивается. Он встает из-за письменного стола и подходит к окну. С завистью наблюдает он толкучку возле будки с мороженым. «Выгодное же дело при такой жаре, — думает хозяин, — этот ловкач здорово зарабатывает. Летом мороженое, зимой горячие

сосиски. Такие люди играючи загребают деньги, пока я тут бьюсь из-за грошей».

— Скажите-ка, — спрашивает он секретаршу, — вы тоже частенько покупаете мороженое в этой будке?

Ганна знает своего хозяина. Он человек солидный.

— Глупо тратить свои трудовые денежки на лакомства, — отвечает она.

«Правильно», — дружелюбно кивает хозяин. Такой взгляд на вещи ему нравится. Будки с мороженым, по его мнению, наносят моральный ущерб городу. Ведь даже дети таскают из карманов родителей деньги на мороженое и кино. Витусу приятно, что его служащие — солидные люди. Кроме оптовой торговли, у Витуса есть еще фирменная лавка. Там, как можно прочесть на вывеске, продается бумага оптом и в розницу. В этой лавке его дочь наблюдает за продавщицами и сидит за кассой. Мать хозяйничает в квартире, а сын сбывает товар, объезжая окрестности с автофургоном. Таким образом, все при деле. Но душа всего дела — сам старик.

Господин Бауэр занимал в городе весьма прочное положение. Семья его принадлежала к числу старожилков. Он был городским советником и членом правления Христианского союза¹. Одним словом, Витус Бауэр, как он сам любил выражаться, служил общественности. Держась скромно и набожно, он посещал церковь почти столь же регулярно, как и политические собрания своего союза.

Оптовый магазин Бауэра был первым торговым домом на площади и самой почтенной в округе фирмой по торговле бумагой до тех пор, пока после войны не открылся пассаж. Вначале Витус не придавал особенного значения новой фирме, о подозрительных денежных источниках которой поговаривали в городе. Он был уверен, что уж его-то клиенты будут покупать бумагу в специализированном магазине, а специализированный магазин принадлежит ему.

Это было, конечно, верно. Специализированный магазин по торговле бумагой принадлежал Витусу, но в пассаже все было дешевле, куда дешевле, чем у него.

¹ Имеется в виду Христианско-социальный союз (ХСС) — ба-варская реакционная буржуазная партия в Западной Германии, выражающая интересы крупного монополистического капитала и помещиков.

Однажды он заметил, что дети, толпившиеся подле будки с мороженым напротив его магазина, держат в руках воздушные шары. Разноцветные шары с надписью: «Моя мама делает покупки в пассаже». Пассаж раздари-вал шары и таким образом завоевывал клиентов! Витус онемел от изумления. Они хотят обскакать Витуса при помощи таких штучек! Ну нет! Он подобными методами не работает. У него старинное дело на прочном фундаменте, основанное еще дедом. Чтобы Витус стал возиться с воздушными шарами?! Нет, это противоречит его принципам. Он работает честно и добросовестно. Он никого не обманывает. Он предлагает товар высокого качества. Но люди предпочитают воздушные шары!

Прибежищем в его горестях был капеллан церкви св. Агаты. Витус встречался с достопочтенным отцом не только во время богослужений, а иногда и в летнем саду, где тот, обычно по четвергам, выпивал кружку пива.

Витус Бауэр считал себя человеком простодушным. При всей своей хитрости он был набожен. «Все в руке божьей». Это было одним из тех изречений, которые хранились в его обширном складе. Но деловая практика заставляла Витуса сомневаться. Для недоверчивого Витуса рука божья была незримой. Зримым был капеллан Иозеф. Он носил очки и был стар и сморщен, как чернослив. С ним Витус водил дружбу, изменяя изречение на «Все в руке церкви».

Удрученный тяжкими испытаниями, Витус отправился в церковь св. Агаты. С благоговением вступил он в прохладный храм. Неуверенными, тяжелыми шагами подвигался он к ризнице и, вдыхая хорошо знакомый запах погасших свечей, вспоминал, как мальчиком-служкой позволял себе в церкви кощунственные шутки. Витус никогда не был тихим терпеливым смиренником. Он был всегда чересчур шумен и весел.

Но разве не изрек святой Игнатий, что святой, который вызывает жалость, это не более чем жалкий святой?

Священник возился в ризнице, как хлопотливая хозяйка. Он ежедневно начинал церковную утварь, чтобы к воскресению все блестело и сверкало. Духовный пастырь церковного прихода св. Агаты гордился своими скромными, но тем заботливее оберегаемыми сокровищами. Особенно потому, что хранил единственную среди окрестных

общин чудодейственную реликвию — оправленную в золото кость из черепа св. Агаты. Он хранил ее в стеклянном ларчике. Кость, наделенная целительной силой, пользовалась большим спросом у прихожан.

— Здравствуйте, ваше преподобие! — приветствовал Витус того, кто был поверенным господа бога на земле. При этом торговец бумагой неуклюже поклонился.

— Что у вас стряслось? — благосклонно осведомился патер, удаляя суконкой последние следы пыли с черепа святой.

— Заботы у меня, — Витус с места в карьер выложил все, что у него наболело. — Мои конкуренты — сушие мошенники, я терплю страшные убытки.

Витус с интересом разглядывал начищенную до блеска реликвию.

Но и священник смыслил кое-что в делах.

— Вам надо позаботиться о рекламе, — сказал он коротко. — Давайте побольше объявлений в газетах.

— Не в том дело, — вздохнул Витус. — Для таких, как мы, — при этом он ударил рукой в свою благочестивую грудь, — для честных деловых людей нет больше места.

Он не знал, как выразить свою мысль.

— Не те времена наступили. Дела становятся несолидными. И это, ваше преподобие, совершеннейшая правда. Мелочные лавчонки делают на нечестивой рухляди лучшие дела, чем я на изображениях святых.

Священник раздумывал. Отставив реликвию, он взял чашу для святых даров и, подышав на серебро, стал суконкой начищать металл до блеска. Долгое время он молчал, казалось, забыв про гостя. Обычно у него были про запас утешения для каждой овцы из вверенной ему паствы. «Кого бог любит, того и наказывает», или что-нибудь в этом роде. Нередко хватало одной только ссылки на Иова, которого господь так тяжело испытывал, а потом столь высоко вознес.

На этот раз в виде исключения он не стал утешать. Витус был умным торговцем и стремился заключать сделки не только с людьми, но и с богом. На прошлой неделе в летнем саду священник услышал о Витусе нечто, обеспокоившее его.

— Должна ли божья благодать коснуться недостойного? — проговорил патер наконец.

— Недостойного? — Витус, растерянно моргая, смотрел на священника непонимающими глазами. Не ослышался ли он?

— Я не знаю за собой никакой вины, — стал уверять он. — Я регулярно посещаю церковные службы и жертвую церкви значительную часть своих доходов, во всяком случае, больше, чем текстильная лавка с нашей улицы.

Капеллан Иозеф недовольно покачал головой.

— Я имел в виду не тебя, — сказал он тем тоном, каким говорил во время исповеди. — В доме своем ты не сешь ответственность и за своих домочадцев. Проверил ли ты, кто жених твоей дочери? Он свободомыслящий! Он молится новым богам, он называет себя социалистом! Это человек, который сидит за одним столом с безбожниками и произносит перед ними речи, он неоднократно и публично поносил бога. — Лицо священника приняло строгое выражение. Витус озадаченно наблюдал за этой переменной.

— Рюдигер — толковый человек, — попытался он извинить своего будущего зятя. — И в своей профессии ему удалось кое-чего добиться. Моя дочь... — он запнулся, — девочка любит его. И мне Рюдигер по сердцу. Простите меня, ваше преподобие, но я знаю его уже давно. Он пришел ко мне бедным студентом. Я дал ему денег, чтобы он мог закончить Высшую техническую школу. Простите, но он стал дельным инженером.

Капеллан Иозеф выслушал все с невозмутимым видом. Затем начал чистить золотой ковчежец, в котором на алтаре лежали святые дары — тело Христово, превращенное в облатки.

— Я знаю его, — сказал он наконец. — Может быть, он и дельный человек, но неверующий. Он хочет быть умнее творца, создавшего небо и землю. Безбожие — источник всех бед. У безбожников в груди вместо души — мотор. Они думают, что можно найти лучшие законы жизни, чем те, которые дал нам господь. В миру они дельные и хорошие люди, возможно, они даже преуспевают. Но перед богом они — зло, которое он когда-нибудь вырвет, как сорную траву.

Отец Иозеф смотрел на торговца бумагой пронизывающим взглядом, как архангел на страшном суде. Его карие глаза, которые обычно маслянисто блестели из-под черных

сниц, пылали теперь, как раскаленные угли. Жесткой и непримиримой стала его речь.

— Ты удивляешься, что дела твои не процветают. Я говорю тебе: доколе держишь ты безбожника в доме моем, не будет на тебе господней благодати.

После этих торжественных слов капеллан отвернулся. Оскуток в его руках вновь пришел в движение.

— Удовлетворись тем, — сказал он, насмешливо глядя на своего гостя, — что ему, безбожнику, везет.

Витус Бауэр принял выговор, как наказанный школьник. Подавленный, стоял он в божьем доме и благогоуейно смотрел на священную утварь. Он мучительно затонал, чувствуя, что никогда ему не стать по-настоящему богобоязненным.

— У меня есть только одна просьба, — сказал он униженно, извиваясь, подобно раздавленному червю в уличном прахе, чтобы духовный пастырь ему, грешнику, не отказал в просьбе. — Помогите мне, и я пожертвую в часовню для бедных распятие столь ценное, что его нечего будет стыдиться. Не дешевенький деревянный крест, какой пожертвовал Вебер, сигарный фабрикант, нет, чугуновый крест ручной работы.

Священник на мгновение прервал свою уборку.

— Какая же у вас просьба? — спросил он. Теперь, когда он отчитал Витуса, ему очень хотелось услышать, чем тот озабочен.

— Как я узнал, — начал Витус без стеснения, — вы дружны с господином П. Он — главный бухгалтер на целлюлозной фабрике и ведает закупками. Если я заключу фабрикой договор на поставки сроком, скажем, всего на пять лет... — Витус прикинул про себя: «Акционерное общество целлюлозы — самое большое предприятие здесь городе. Если заключить договор с ним, маленькие фабрики тоже примкнут к нам»... — Выступите посредником в этом деле, и я пожертвую крест.

Да не подумает кто-нибудь, что священник пришел в негодование и к предыдущим поучениям своим присоединил громкую брань. Нет, священник только улыбнулся нетской вере своего духовного сына. Но благо церкви заботило его прежде всего. После некоторого колебания — он не скрыл своих сомнений от Витуса, сказав, что церковь не место, где совершаются сделки, — он все же согла-

сился. Затем призвал Витуса еще раз основательно поразмыслить насчет будущего своего зятя.

Витус обещал. Ему хотелось обдумать все это спокойно. К тому же дело было совсем не так просто. Витус познакомился с Рюдигером во время войны, когда тот был бедным солдатом. Совесть подсказала Витусу, что следует помочь незнакомцу. У него самого был сын на фронте. Витус верил в высшую справедливость. Быть может, его отпрыску это принесет пользу. Но надежды Витуса не очень-то оправдались. Его сын долго пробыл в плену, да и в остальном ему не слишком везло. После войны Витус предоставил Рюдигеру возможность учиться. Он взял его в дом как приемного сына.

Как ни толкуй, а он перед господом богом совершил истинно благое дело, пожалуй, самое доброе и самое бескорыстное из всего, что он делал в своей жизни. Должен ли он теперь, из-за того, что священник настроен против Рюдигера, легкомысленно рисковать своим авторитетом на небесах?

Конечно, у Рюдигера странные взгляды на бога и на мир, и Витус с ними не может согласиться. Но в планы торговца бумагой это еще не причина. Чтобы отвести от дома свежеепеченному инженеру.

Серьезные сомнения обуревали Витуса Бауэра.

«Что скажет жена, — думал он. — а разве не она она-то от него ни за что не откажется». Витус боялся, что если даже он примет такое решение, ему дома придется не сладко.

Когда Витус пришел домой, обед уже давно только что кончила есть. Жена молча подошла к нему и стала разогревать картофель. К его удивлению она по-выкла. Фрау Бауэр терпеливо переносила невзгоды. Тридцать лет что они женаты — а для нее это были легкие годы — она всегда кротко молчала, когда ей что-нибудь не нравилось, и отплачивала Витуса старанием и заботой. Она умела сделать так, чтобы муж не чувствовал себя виноватым. Витус никогда не признавал провинности, когда не был нежен с ней. Непослушание и непослушание обычно разряжалось скандалом. Но скандал должен был протиться слезы.

Так было и сегодня. Она не сказала ни слова, а только поставила перед ним разогретый картофель. А он и молчал, так же как и жена. Про себя он смеялся над ней.

за то, что она взяла на себя роль бессловесной мученицы и только ждала, когда же он закричит. Разбираться в ее запутанных мыслях у него не было времени. Пока она возилась у плиты, Витус, прищурясь, глядел на нее. Муж заметил, что жена за последний год потолстела. «Не так уж ей плохо живется», — подумал он. Его раздражало только, что она любила сильно душиться по утрам. Сладкий запах одеколона противно лез ему в нос. Все ее вещи пахли так. Ее платье, ее молитвенник. Это было отвратительно.

Заботливая фрау Бауэр поставила перед мужем пузырек с лекарством, про которое он забыл. Согласно рецепту, Витус должен был принимать по десять капель перед едой. У него от постоянных волнений был не в порядке желчный пузырь. Когда стареешь... «Первые пятьдесят лет, — шутил он частенько, — самые лучшие». Слабое утешение.

Ему решительно не нравилась молчаливая заботливость жены.

— Не надо мне лекарства, — рявкнул он и отодвинул пузырек. — Кроме того, почему ты об этом заботишься? Я не хочу, чтобы вы все обо мне заботились.

Жена со страдальческой миной начала мыть тарелки. В кухне собиралась гроза. Фрау Бауэр замкнулась в себе. Она смотрела на мужа, не спуская глаз, готовая разреветься при первом же его крике.

Ничто не могло так рассердить Витуса, как немой упрек жены. Конечно, он знал, что неправ.

— Лекарства, лекарства! — кипятился он. — Вы не успокойтесь, пока не вгоните меня в гроб. — Он отодвинул картофель и лекарство. Иногда он вел себя совсем как ребенок.

— Я не хочу больше есть! Appetit вы мне уже испортили, — кричал он на бедную женщину.

Привлеченная его криком, на сцене появилась дочь.

— Не кричи так на мать, разве ты не видишь, как она мучается? У нас есть служащие и машина, наше дело процветает, а она должна все делать сама. Постыдился бы, скряга.

Это было уж слишком. Витус любил свою взрослую дочь. Он многое спускал ей. Она и понятия не имела, сколько работы требовало дело. Дать бы ей волю, она целый бы день раскатывала на машине.

— С этим будет покончено! — заорал он. — Раз и навсегда! Мне в деле не нужны прихлебатели, мне нужны люди, умеющие работать. Вы пользуетесь моей добротой. (Он вспомнил упреки священника.) И с Рюдигером тоже покончено. Я его выгоню из дому. Я расторгаю помолвку. Все. — Он сделал решительный жест и вышел из кухни.

И хотя женщины не придавали особого значения его крику — он только и знал, что кричал в свободное время, — одного он достиг: от ужаса они онемели. Дочь, рыдая, упала в объятия матери.

Мрачный пришел Витус в свою контору. Он предчувствовал, что мать и дочь, совершенно не подготовленные к его заявлению, будут сопротивляться. И он был прав. Это показало решительное поведение дочери. Она объявила забастовку. Она просто не пришла в лавку, потому что «плохо себя почувствовала», как сообщила ему через ученика. Ничего другого не оставалось делать, как самому пойти туда и наблюдать там за порядком. Не закрывать же лавку! Мать тоже придумала отговорку. Она ушла из дома якобы в гости, к людям, которые давно ее приглашали, прозрачно намекнув, что об еде он должен позаботиться сам. Вот до чего дошло!

Теперь в конторе стояла вся работа, а он должен был находиться в лавке. Сын разъезжал с автофургоном. Витус не долго думая закрыл на сегодня лавку и отправился в кафе, где вопреки своим привычкам заказал мороженое.

— Сливочное? — спросил его официант. Витус кивнул.

Ладно, пусть будет сливочное. Маркой больше или меньше — сегодня его это не волнует.

Затем он пошел к телефону и позвонил Рюдигеру на завод. Не смогут ли они встретиться после работы? Его приемный сын удивился, но обещал быть вовремя.

— В летнем саду, — объяснил Витус. — Мамы нет дома, мы там поужинаем.

А дома грустила дочь, строя самые мрачные предположения. Она-то знала, как щепетилен ее Рюдигер. Подобно всем, кому приходилось пользоваться плодами добрых дел, он был особенно чувствителен к упрекам и намекам. Конечно, он тотчас же покинет дом. Он хорошо зарабатывает на заводе, но достаточно ли у него денег, чтобы жениться? Нет. Дочь торговца Витуса не так уж стремилась к деньгам.

Для нее главное был человек. Она уйдет с ним, даже если первое время у него будет мало денег. Пусть бесчеловечный отец посмотрит, каково ему придется в лавке без нее.

В летнем саду Витус появился на целый час раньше срока. Он заказал себе бутылочку сухого вина и принялся пить медленно и безостановочно. Он молча одобрял вино, смаковал его. Здесь торговец бумагой чувствовал себя прежде всего человеком. Он ни в коем случае не хотел быть мелочным по отношению к приемному сыну. Он подарит ему на прощание значительную денежную сумму, в качестве компенсации. Пусть Рюдигер сохранит о нем добрую память. Витус гордился им. Парень кое-что понимал. Витус находил, что у Рюдигера далеко не заурядные способности; жаль, жаль, а все этот проклятый священник. Ах ты, господи! Тут он вспомнил про крест, обещанный в дар церкви, если состоится соглашение с целлюлозной фабрикой. Художественное литье будет стоить десять, а то и двадцать тысконок. Никак не меньше. Нет, при таких финансовых трудностях приличный подарок Рюдигеру сейчас ему совсем не по карману. Будем здоровы! Он налил себе последний бокал и заказал новую бутылку.

Рюдигер был современный молодой человек. Он носил светлые брюки и длинный синий пиджак. Темные выющиеся волосы он подстригал по последней моде.

Когда его приемный сын вошел в кафе, Витус поднялся и не очень твердо пошел ему навстречу.

— Наконец-то, сын мой, ты пришел, — сказал он так, будто с плеч его свалился тяжелый груз, — я жду тебя с нетерпением.

Рюдигер, который видел своего приемного отца всегда только трезвым, удивился. Витус кивнул оберу и заказал еду. Пока еще не подали супа, он дал понять Рюдигеру, что того ждет важное сообщение. За едой он сначала все шутил.

Витус очень любил компот. Причмокивая, он выхлебал чашечку консервированных вишен.

— Что тебе сказать? — начал он зловещим басом. — Моя семья очень меня разочаровала. — Он буквально прошипел последнюю фразу, продолжая, впрочем, поигрывать ложечкой для компота. — Я в них окончательно разочаровался. Дома полный развал. Дочь отказывается работать, мать не хочет готовить. Я решил спросить тебя, не мо-

жешь ли ты взять на себя заботы о деле. Ведь вы все пользуетесь прибылями.

Впервые Витус сделал своему приемному сыну подобное предложение. Рюдигер пообещал отцу, что дочери он, во всяком случае, вправит мозги.

— Она будет опять работать. Можешь быть уверен. Но что касается моей помощи... Мне предстоит в ближайшее время ряд поездок по поручению фирмы, я боюсь...

Витус кивнул с облегчением.

— Хорошо уже то, что ты образумишь девчонку. — Он снова налил вино в бокалы. — Твое здоровье!

— Ты мне хотел сказать что-то важное? — допытывался Рюдигер, чувствуя, что сказано еще не все. — Что за серьезный разговор ты имел в виду?

Витус подумал о двадцати тысячах за крест. Он подумал о своей семье, о сопротивлении, которое ему окажут мать и дочь. Интересы дела прежде всего.

— Ничего, ничего, — сказал он и посмотрел насколько мог прямо в глаза Рюдигеру. — Право же, ничего больше. Раз у тебя нет времени для дела, мы можем поговорить об этом позже, в другой раз.

— Мне очень жаль, отец, — сказал виновато Рюдигер, — но командировка... Ты меня понимаешь, ведь в первый раз фирма дает мне самостоятельное поручение. Я не могу уклониться.

Витус отчески похлопал его по плечу.

— Уклоняться ты не должен ни в коем случае, — сказал он, улыбаясь. — Этого настоящий мужчина никогда не делает, — Витус поднял свой стакан. — Даже если его ждет что-нибудь неприятное. Мужчина не смеет быть трусом. Твое здоровье.

Они покидали летний сад навеселе. Рюдигер поддерживал спотыкающегося отца. Громко разговаривая, они добрались до дома. Мать и дочь украдкой выглядывали из окна. Их изумил вид пришедших. Ни малейшего следа гнева или размолвки. Еще больше удивились они, когда Рюдигер, едва войдя в дом, начал ругать их. Зачем они портят жизнь отцу, бедному отцу, у него и так довольно забот. Заметив, что отец отказался от своего решения выгнать Рюдигера, женщины благоразумно промолчали. Преисполненные раскаяния, они пообещали исправиться. Дочь подлетела к отцу и от всего сердца поцеловала его в знак примирения. Больше об этом не говорили.

На следующей неделе Витусу позвонили и сообщили, что он может прийти на фабрику целлюлозы для переговоров. Капеллан Иозеф сдержал свое слово.

Через несколько дней его навестил мастер и предложил свои услуги, дабы Витус не откладывал пожертвование креста в долгий ящик и не забыл о нем совсем.

У Витуса все пошло как по писаному. Но другому писчебумажному магазину, который прежде обслуживал целлюлозную фабрику, ничего не оставалось, как закрыться. Бедные люди вынуждены были продать свою лавку. Как добрый христианин, Витус приобрел ее вместе с полным складом товара на льготных началах. Он мог быть доволен. Одного слова священника оказалось достаточно, чтобы сбылись его самые смелые надежды. Витус ликовал. Обещанный крест был не слишком дорогой ценой за это.

Витус Бауэр разграничивал в себе делового человека и человека просто. Витусу-человеку не было чуждо сострадание. В городе были люди, говорившие, что у господина Бауэра мягкая душа. Он очень хорошо понимает, каково отказываться от собственности, которую ты, может быть, наживал всю жизнь. Витус сам владелец дела и должен принимать в расчет — да не допустит этого св. Агата, — что и с ним может случиться нечто подобное.

Член президиума Христианско-социального союза, Витус не был глух к общественному благу. Кроме того, он был советником магистрата, притом весьма рачительным; ну и, наконец, для чего состоять в партии, если нельзя рассчитывать на ее помощь.

Побуждаемый укором совести, Витус Бауэр нанес визит председателю президиума местного отделения Христианско-социального союза.

— Нельзя ли что-нибудь сделать для бедного, безвинно попавшего в беду человека? — спросил он.

Ответ председателя, как Витус и предвидел заранее, был таков:

— А он член Христианско-социального союза?

Витус покачал головой. К великому сожалению, нет.

— Да разве это необходимо, — возмутился он. — Не обязательно же человек должен быть в нашей партии; если можно ему помочь, мы должны сделать это и так. — Витус нашел, что здесь уместен пример с милосердным самаритянином, и привел его.

— Если он не член союза, ну так что ж, он может стать им впоследствии, — заключил Витус.

— Конечно, конечно, — сказал председатель и кивнул. Витус посмотрел на него с восхищением. Председатель был еще не стар, но бремя ответственности согнуло его спину и раньше времени посеребрило голову.

— Коль скоро вы, дорогой мой друг и сотоварищ, говорите мне это, я верю вам, — и он доверчиво поглядел Витусу в глаза. — Но не будем рассуждать абстрактно. Мы хотим помочь и вместе с тем разрешить поставленные перед нами задачи. Как вы сказали, он был торговцем? — председатель вопросительно взглянул на Витуса. Друг и сотоварищ подтвердил это.

— Следовательно, он, как я полагаю, должен уметь считать, — продолжал председатель. — Что, если мы его используем как руководителя предвыборной кампании в нашем округе или, даже лучше, поручим ему учет денег, ассигнованных на выборы?

В этот вечер они не смогли окончательно договориться. Но, во всяком случае, Витус расстался со своим руководителем по партии, чувствуя, что он сделал то, что должен был сделать для человека, попавшего из-за него в беду.

Так заглушил господин Бауэр свою внутреннюю тревогу, так он успокоил сомнения в добропорядочности своих деяний и многочисленные укоры совести.

В тот же вечер ему вздумалось завести с Рюдигером долгий разговор об идеях социальной справедливости.

— Справедливым в социальном плане можно только быть, сделаться им нельзя, — с уверенностью утверждал он. — Если родиться с добрым сердцем... — Витус готов был доказывать, что он прирожденный социалист; он только прямо не сказал этого.

Его приемный сын терпеливо слушал.

— С социализмом это не имеет ничего общего, — сказал он, когда отец кончил. — Если человек делает добро, чтобы облегчить свою совесть, он еще далеко не социалист.

Папаша Бауэр не обиделся. Напротив. Улыбаясь с чувством превосходства, он смотрел на своего приемного сына.

— Ты еще так молод, — сказал он, устремив благожелательный взор на Рюдигера. — Прежде, когда я был молод, у меня тоже были такие мысли. Но постепенно они исчезли; когда, как я, чуть не полвека занимаешься делами,

становишься черствым и холодным. Вы, молодые люди, не знаете границ: либо стремитесь все отдать, когда ничего не имеете, либо лихорадочно работаете без конца, с утра до вечера, только во имя приобретения. И то и другое неправильно. Приобретать и сохранять. Брать и давать. В этом есть какое-то величие.

Рюдигер молчал.

— Я понимаю тебя, — сказал он после непродолжительного раздумья. — Конечно, и у дельца тоже есть своя мораль, но она хороша только для него. Решающим является самое существо коммерции: выгода, прибыль. Вы стремитесь заработать как можно больше денег, получить как можно больше прибыли.

— Точно так говорят коммунисты... — прервал Витус его рассуждения. Дьявола он представлял себе так же плохо, как господа бога. «Эта банда!» — добавлял он обыкновенно.

— Ты прав, — спокойно возразил ему Рюдигер. — Наряду с другими это утверждают и коммунисты.

— То есть как это «наряду с другими»?

Рюдигер улыбнулся приемному отцу. Он встал и взял с полки книгу.

— Например, это утверждает святой Фома Аквинский: «Первый обмен — благо, ибо он помогает удовлетворить естественную необходимость. А второй обмен да будет предан осуждению, ибо он служит страсти наживы, которая не знает границ и не имеет пределов».

Рюдигер торжествующе добавил:

— Фома Аквинский, как тебе известно, не был коммунистом.

— Где это написано? — взволнованно спросил Витус и схватил книгу обеими руками. На первой же странице он наткнулся на место, которое навело его на размышления.

«Нельзя служить и богу и маммоне» — было там напечатано жирным шрифтом. Со вздохом Витус опустил книгу на колени. Он попал в безнадежный тупик.

— Но ведь жить-то надо, — пробормотал он, — а как жить, если не зарабатывать?

Рюдигеру стало жаль старика. Он похлопал его ободряюще по плечу.

— Не обращай на это внимания, — сказал он, — я хотел тебе только доказать: политика не так проста, как ты ее себе представляешь.

Хорошо он работал — и вечно вечно вечно
внимания. Но сам же этот человек...
Как и предположили другие, он...
лози пошли...
рнки...
продукты...
одеждой...
много не...
Тем временем...

Тем временем...
св. Адам...
украшениями...
Настоящее...
ства...
ства господина...
способности.

Мастер хотел...
гочестивом...
выразительное...
ным столом...
подним Бауэр...
«Платить самому — значит...» — сказала он.

Он выписал...
ток в следующем...
лим.

Витус был...
именно теперь...
пришлось...
мошников. Как...
большое огорчение...
в угле все...
брошенными на...
украшенная...
мой Бауэр...
о ниспослания...
носил хвалу...
благословение...

В первом...
товары оптом...
Ежедневно...
готовить от...
за столом...
марки шестьдесят...
деньги, платит сам...
Но желанного...

НЕВИДИМЫЙ СОСЕД

Дежуривший ночью портье провел воспаленными кончиками пальцев с обкусанными ногтями по ведомости, в которую заносили вновь прибывших, сочувственно повел плечами и снова повернулся влево так, что форменная куртка сморщилась под мышкой.

— Больше мы вам ничего предложить не можем, — сказал он. — В такой поздний час вы нигде не получите отдельного номера. Конечно, дело ваше, можете справиться в других гостиницах. Но предупреждаю вас: если вы ни с чем вернетесь к нам, мы уже ничего не сможем для вас сделать. Свободную кровать в номере на двоих, которая вас почему-то не устраивает, к тому времени займет какой-нибудь другой, тоже очень уставший человек.

— Хорошо, я согласен, — ответил господин Швамм. — Но вас, конечно, не удивит, что мне хотелось бы знать, с кем я буду в комнате. Не из боязни, разумеется, мне бояться нечего, но все же... А что мой партнер — ведь человека, с которым вместе проводишь ночь, можно назвать партнером, — уже дома?

— Да, он в номере. Спит.

— Спит, — повторил в раздумье Швамм, потом взял регистрационный листок, как положено, тщательно заполнил его и вернул портье.

Когда Швамм поднимался к себе в номер, им овладело странное чувство, будто он собирался спрыгнуть в старый заброшенный колодезь: дна не видно, но во мраке могут подстергать всякие неожиданности. Подходя к номеру, он невольно замедлил шаг и затаил дыхание — не донесутся ли из комнаты какие-нибудь звуки. Нагнулся и заглянул в замочную скважину. В комнате было темно. «А могло быть и так, — подумал Швамм, — что человек,

находящийся там, заткнул замочную скважину, чтобы снаружи не было видно, как он читает, раздевается или что еще он там делает».

Тут Швамм услышал на лестнице шаги. Надо было на что-то решиться. Можно бы, конечно, пройти дальше и сделать вид, что заблудился в коридорах, с другой стороны — это было его право, — он мог войти в комнату, где на второй кровати уже спал человек.

Подсмеиваясь над собой, Швамм нажал ручку двери и вошел. В комнате действительно было темно. Он затворил дверь и с бьющимся сердцем стал нащупывать выключатель. Вдруг он замер. Рядом с ним — Швамм сразу решил, что здесь-то и стоят кровати, — кто-то произнес тягучим низким голосом, но энергично:

— Стойте! Пожалуйста, не зажигайте свет. Этим вы окажете мне большую услугу, пусть в комнате будет темно.

— Вы меня ждали? — испуганно спросил Швамм.

Его вопрос остался без ответа. Вместо этого незнакомец сказал:

— Не споткнитесь о мои костыли и идите осторожней, там мой чемодан — он стоит посреди комнаты. Я вам подробно объясню, как добраться до вашей кровати. Сделайте три шага вдоль стены, потом поверните налево. Еще три шага, и вы коснетесь спинки своей кровати.

Так Швамм и добрался до своего ложа, разделся и скользнул под одеяло. Он слышал дыхание соседа и чувствовал, что первым не сможет заснуть.

— Кстати, — сказал Швамм, немного помедлив, — моя фамилия Швамм.

— Швамм? — отозвался сосед.

— Да.

— Вы приехали на конгресс?

— Нет, а вы?

— Нет.

— По делам?

— Я бы не сказал.

— Я приехал, должно быть, по самой невероятной причине, по какой человек может приехать в город, — сказал Швамм.

Неподалеку был вокзал; прошел поезд, земля задрожала, и кровати тоже задрожали.

— Вы что же, хотите покончить тут самоубийством? — спросил сосед.

— Нет, — ответил Швамм, — разве у меня такой вид?

— Я не знаю, какой у вас вид, — ответил сосед, — темно.

Швам пояснил с вымученной веселостью:

— Избави боже, нет! У меня есть сынок, господин... (но тот не назвал своего имени), этаким маленьким сорванцем, вот из-за него-то я и приехал.

— Он что, в больнице?

— Как вы сказали? Нет, он здоров, правда, бледноват немного, это да, а в остальном — здоров, хорошо учится. Но я хотел объяснить вам, почему я здесь, здесь с вами, в этой комнате. Я уже говорил, это связано с моим мальчиком. Он необычайно чувствителен, прямо мимоза какая-то... достаточно на него ветру подуть.

— Значит, он все-таки в больнице?

— Да нет! — воскликнул Швамм. — Я ведь сказал вам: он здоров, вполне здоров, во всяком случае, был до сих пор. Но он под угрозой, у мальчугана слишком хрупкая, прямо хрустальная душа, вот почему он в опасности.

— А отчего он не покончит с собой? — спросил сосед.

— Но послушайте, это же ребенок! У него такое нежное тельце! Как можно говорить такие вещи! Нет, вот в чем причина опасности: каждое утро, когда он идет в школу, — ходит он всегда в школу один, — так вот, каждое утро он вынужден задерживаться у шлагбаума и ждать, пока не пройдет утренний поезд. И вот он стоит, мой малыш, и машет рукой, машет изо всех сил, сначала радостно, а потом уже с отчаянием.

— И что же?

— Он идет в школу, а вернувшись домой, бывает грустным и подавленным, иногда даже плачет. Он не в состоянии делать домашние уроки, ему не хочется ни играть, ни разговаривать. И это продолжается уже несколько месяцев, каждый божий день. Мальчик мой гибнет, он буквально тает на глазах.

— В чем же дело?

— Видите ли, — сказал Швамм, — это так странно: мальчик машет рукой, и его до смерти огорчает, что никто из пассажиров не машет ему в ответ. И он так близко принимает это к сердцу, что мы с женой ужасно встревожены. Он машет, и никто не отвечает. Конечно, пассажиров ведь не заставишь махать... и было бы нелепо издать такое распоряжение, но...

— И вы, господин Швамм, хотите утешить вашего мальчика — сесть завтра в утренний поезд и помахать малышу из окна?

— Вот именно, господин...

— Меня дети не интересуют, — сказал незнакомец. — Я их даже ненавижу и избегаю, потому что из-за них, если говорить по правде, я и жену потерял. Она умерла от первых родов.

— Вот ужас, — сказал Швамм и, приподнявшись на кровати, оперся на локоть. Приятная теплота разлилась по телу, он почувствовал, что теперь непременно заснет.

Сосед спросил:

— Вы едете в сторону Курцбаха, верно?

— Да.

— И у вас никаких сомнений не возникает? Говоря откровенно: вам не стыдно обманывать своего мальчика? Ведь то, что вы намереваетесь сделать — вы должны это признать, — чистейший обман и надувательство.

Швамм возмутился:

— Позвольте, это уж слишком! Да как вы смеете говорить такие вещи!

Он откинулся на подушку, натянул на голову одеяло. Сосед молчал, и Швамм быстро уснул.

Наутро, проснувшись, он увидел, что соседа уже нет. Швамм посмотрел на часы и ужаснулся: до отхода утреннего поезда оставалось всего пять минут, нечего было и думать поспеть на него.

Под вечер Швамм — он не мог себе позволить провести еще одну ночь в городе — подавленный и расстроенный вернулся домой.

Ему открыл сын. Глаза мальчика сияли счастьем. Он весело распахнул дверь, бросился навстречу отцу, забарабанил кулачками по его коленке и крикнул:

— А один помахал, папа, один махал — долго и здорово!

— Палкой? — спросил Швамм.

— Да, а потом привязал к ней носовой платок, высунил палку в окно и махал до тех пор, пока он мне был виден.

СУБЧИК

ПЛАН

Солнце закатилось внезапно, словно погасло. Промозглый сырой туман окутал все кругом — его уродливая грязная пелена свешивалась с неба еще с полудня. Осклизлый асфальт шоссе чем-то напоминал болото. Над насыпью железной дороги брезжила серая полумгла — все, что осталось от дневного света, утонувшего в тумане задолго до захода солнца. С юго-востока подул порывистый ветер, холодный и злой.

На вершине крутого остроконечного холма, приткнувшегося к насыпи, затрепыхались какие-то лохмотья: маленький жадкий комок. Холм под ним — куча всякого хлама. Мусор и битый камень развалин, консервные банки и полусгнившие тряпки, мешки из-под цемента, зола, ржавая проволока, распоротые матрацы с вывалившимися наружу пружинами — словно лошадиные трупы на дорогах войны, трухлявые поленья, пожелтевший собачий скелет, пара истлевших дамских сумочек, заскорузлые кровавые тампоны ваты. Все это слиплось, срослось, и у насыпи вздымался маленький горный хребет с долинами и ущельями, причудливо утыканный голыми прутьями.

Комок лохмотьев — малорослый, на метр с четвертью, мальчонка. Он напряженно всматривался вдаль, глубоко засунув в карманы штанов обветренные, покрытые ссадинами руки. В правой был зажат измятый и грязный носовой платок. Усеянное прыщами лицо посинело от холода. Время от времени он вытаскивал руки из карманов, поднимал их ко рту и дул в кулаки, согревая их дыханием.

Как назло, стал моросить мелкий противный дождь. Ничего не попишешь. В такую погоду никто не придет — он знал это по опыту. Хоть бы один появился! Он снова подул на руки. Чертовски холодно! Впрочем, на дождь

ему наплевать. Ведь в таком месиве тебя никто и в двух шагах не увидит. Это чего-нибудь да стоит!

В полпятого должен пройти поезд. Надо бы, собственно, дожждаться его. Глупо, конечно, ждать поезда под дождем, коченея от холода, другое дело — если бы вскочить в него на ходу. Прямо руки чешутся. По этой ветке он вообще идет медленно, а здесь, у поворота, просто ползет. Только вот проводник, который вечно торчит в дверях багажного вагона... Всегда один и тот же. Ну и морда у него — совсем как толстый зад фрау Росман.

Росманша... Ха-ха! Вспомнилась уборная в поселке. Покатый пол с отверстиями через каждые полметра, а посередине высокая дощатая стена — по одну сторону мужчины, по другую — женщины. Иногда, когда было мало народу, он просиживал здесь часами, поджидая, пока за стеной не появится кто-нибудь из женщин. И вот как-то раз они: он и Руди... А зеркало, помнится, они стащили тогда в бараке, разыскав его в куче тряпья, оставшейся на осиротевшем месте Беккера, там, где стояла его кровать... Да, было на что посмотреть!

Черт с ним, с поездом, не стоит время терять! На «Алабамский экспресс» из последней картины он ни капли не похож. Негр-то там — какая сволочь! Джон Милльс — вот это да! Ка-ак вытащит кольт, ка-ак подбросит его в воздух — раз, другой, третий! Потом подхватил его — а в обойме уже ни одного патрона, все успел расстрелять! Сила! Руди тогда здорово досталось после картины. Шишка у него на голове была величиной с кулак... Поезд, видно, вовсе не придет... Это случается иногда... Быть может, из-за погоды.

— Субчик!..

Руди, что ли? Нет, почудилось. Вообще-то у него было настоящее имя — его звали Герберт Веланд. Но он привык к своей кличке. И прекрасно разбирался, когда его хотят задеть, когда — нет. Субчик подул еще раз на руки и отвернулся от насыпи. Надоело! Руди, видно, так и не придет.

Всматриваясь в серую мглу, он пытался разглядеть бараки. Ну и туман! Субчик вприпрыжку сбежал с холма. Он совсем закоченел. Споткнувшись о ржавую, продавленную банку из-под горчицы, он чуть не упал. Не забыть бы Руди сказать. Тут, верно, их много валяется, таких банок. Собрать бы побольше и загнать. Беккер

всегда скупал всякую дрянь. Раза два им удалось здорово его облапошить. Продали ему какое-то барахло, которое только что сперли у него же. И деньги на бочку! Но недавно старик сказал матери: «Игра не стоит свеч — утиль никто больше не покупает. Надрывать за гроши? Нет, с меня довольно!» Мамка ревела потом. Что-то между ними было такое!

Субчик увидел в тумане лишь угол сарая, стоявшего на самом краю поселка, недалеко от насыпи. Остальные бараки словно корова языком слизнула. Он медленно пошел прочь.

— Субчик!.. Субчик!

Крик донесся сзади, со стороны насыпи. Назад! Быстро! Как Джон Милльс! Кольт из кобуры! Бац, бац, бац! Руди все-таки пришел.

Но найти его было не так просто: туман еще больше сгустился. Оглянувшись, Субчик не увидел и сарая.

— ...С-у-у-б-чик!..

Голос у Руди был блеющий, плаксивый. Субчик разозлился и крикнул наугад в клубящийся туман:

— З-а-ткнись!

Потом он побежал назад к насыпи. Руди чуть было не проскочил у него под носом. Но Субчик ловко присел на корточки и отставил в сторону левую ногу. Руди споткнулся и упал, как колода. Субчик зашипел от удовольствия, но тут же, потеряв равновесие, сам плюхнулся в лужу. Быстро вскочил на ноги и пнул Руди ногой в спину. Толчок был довольно сильный — Субчик не церемонился с приятелем. Согнув указательный палец, словно на спусковом крючке, он протянул руку к тонкой костлявой шее Руди.

— Лапы вверх, Дженевер-Джим! Твоя песенка спета!

Руди захныкал — он был заляпан грязью с головы до ног, но сопротивляться все же не решился.

— Пусти ты, чучело! Я весь измызгался, как свинья!

Субчик помог ему встать. Видно, Руди что-то пронюхал! И быть может, дело стоящее! Он вновь засунул руки в карманы вельветовых штанов, широкой кишкой свисавших вдоль его тощих ног. Он согрелся, и лицо его уже не было синим.

Руди пытался соскрести грязь с одежды. Бессмысленное занятие! Время от времени он тихонько присвистывал сквозь зубы в знак неудовольствия. Субчик не обра-

шал на это ни малейшего внимания. Он сам промок до нитки, но по-прежнему спокойно всматривался в пелену тумана. Надо что-то предпринять в конце концов. И так уже поздно, а скоро и вовсе стемнеет.

— Поезд уже прошел? — спросил он.

Руди убедился, что грязь ему все равно не отчистить, и запустил руку в свои густые курчавые волосы.

— Холодно, — произнес он безнадежным тоном. Он не спускал глаз с ушей своего друга.

Уши у Субчика были большие, оттопыренные. Сейчас он стоял с широко открытым ртом, как случалось с ним всегда в минуту задумчивости.

— Это у тебя от полипов, — изрек Руди.

— Вытри-ка лучше нос, — хладнокровно отпарировал Субчик.

Порывшись в карманах и, разумеется, не обнаружив платка, Руди шумно отхаркнулся и смачно сплюнул в ближайшую лужу. Потом он вытер нос тыльной стороной ладони и глубоко вздохнул.

— У Кручинского во дворе полно проволоки.

Субчик и глазом не моргнул. Теперь самое главное — сделать вид, будто тебя это совершенно не интересует!

Так! Стало быть, во дворе у Кручинского проволока. Его двор по ту сторону насыпи, там же, где живет Руди, только чуть подальше. Хорошо, что подальше! А то матери Руди лучше на глаза не попадаться! Мамка по сравнению с ней чистое золото. Вдобавок у Руди было восемь братьев и сестер. Субчик подумал о своей сестре Женни. Ведь их было у матери только двое, и то они вечно объедали друг друга. Тайком, так, что ничего не докажешь. Да, Субчик часто бывал у Руди и отлично знал, что его мать, фрау Плетц, терпеть его не может. Она только и знает, что в церковь бегаёт! Курица несчастная. Совсем как цесарка, вроде тех, что бродят по двору у Кручинского. Мамка, положим, тоже ходит на чтения библии. Но это другое дело. На третий раз там выдают шерсть, кусок мыла, почтовую бумагу или еще что-нибудь в этом роде. А мать Руди принимает все всерьез — подумает тошно. Цесарка! Как-то Субчик стащил во дворе у Кручинского несколько яиц. Крохотные! «Брось», — сказал тогда отец, и он был прав. Яичница из четырех таких яиц оказалась меньше, чем из одного куриного. Отец съел ее в один присест.

— Так как же нам заполучить ее?

— Заполучить? Что? — Руди удивленно уставился на Субчика.

— Проволоку, идиот! Ведь у Кручинского во дворе проволока, так я тебя понял?

— Да, — успокоился Руди, — тачку можно взять у Нольде напрокат.

— Это за восемьдесят пфеннигов в час, — Субчик постучал пальцем по лбу. — Да ты совсем рехнулся!

— Но ведь после пяти Нольде обычно не бывает дома.

— Тачка есть и у Кручинского — зачем далеко ходить?

— Тачка-то есть, да ворота на улице закрыты на замок. С тачкой через забор не полезешь!

— Постой, ведь можно перелезть во двор через крышу сарая? Выйдем через сад — там есть другая калитка.

— Да, но там кругом болото — вдоль него только узкая тропинка. Вдобавок Кручинский держит во дворе собаку.

— Ну, ты, не увиливай! Смотри у меня!

Руди приходилось постоянно «укреплять свой авторитет».

— Аста на меня лаять не будет! Она меня знает! Я уведу ее на другой конец двора и подожду там.

— А проволоку увезу я один, так, что ли? — Прищурив один глаз, Субчик смерил Руди презрительным взглядом.

Потом, бросив короткое «пошли», он двинулся к насыпи. Руди поплелся за ним.

На ходу Субчик последний раз оглянулся, но так и не увидел ни баракон, ни сарая. Это успокоило его. Принимая решения, он обычно не думал о последствиях и исходил лишь из обстановки на месте. Так было легче. «Если отец сегодня напьется, будет совсем здорово», — промелькнуло у него в голове.

— Уроки сделал? — спросил он у Руди.

Испугавшись, что после утвердительного ответа Субчик повернется и уйдет домой, Руди промышчал что-то неопределенное. Звучало это, впрочем, тоже как вопрос.

Он вновь подумал о Кручинском и его проволоке. Да, с этой проволокой всегда столько хлопот. Придется везти ее подальше, в город. Можно, конечно, сбить ее и здесь

в поселке. Скажем, Гаманну — он-то купит. Все зависело от Субчика. Иногда, чтобы долго не возиться, он шел на такой риск.

Друзья еще раз взобрались на кучу мусора. Но насыпи уже не было видно и отсюда. Лишь справа мерцал в тумане одинокий зеленый огонек семафора. Сбегая вниз, Субчик поскользнулся и упал. Услышав его брань, Руди засмеялся блеющим смехом. Субчик стукнул его по шее согнутой в локте рукой. Руди всхлипнул.

— Баба, — презрительно сплюнул Субчик, — хоть бы сдачи дал!

Когда они карабкались на насыпь, Субчик, приюхиваясь, как голодный кролик, и озираясь по сторонам, вдруг произнес: «Уголь». Но задерживаться не стоило.

Наконец они выбрались наверх, на рельсы. Зеленый огонек справа был виден теперь гораздо ясней.

— Вот бы поезд сейчас прошел!

Субчику было теперь море по колено. Испуская воинственные крики, он носился по путям. «Бах, бах!» — со всем как в «Алабаме».

Потом они быстро сбежали по противоположному склону. С той стороны вдоль насыпи тянулся кювет, полный воды, — они это знали. Субчик довольно ловко перескочил его с разбега. Руди чуть было не упал в воду, но в последний момент удержался. За насыпью начиналось болото. Друзья осторожно пробирались от кочки к кочке, то и дело ступая в лужи. Они уклонились влево. Идти стало трудней, земля чавкала под ногами.

— Правей держи, — робко посоветовал Руди.

Субчик посмотрел вправо. Дощатые заборы чередовались там с проволочными загородками. Некоторые участки вовсе не были огорожены, но он угадывал их границы и без забора. Он все-таки промочил ноги и тихо ругался.

Вспомнились уроки, мать, отец, сестра. Женни бранила его еще чаще, чем мать. Надо будет как-то объяснить свой поздний приход, иначе начнется скандал. Мать и Женни поднимут крик. Но в конце концов все зависит от отца. Выложишь ему деньги на стол — он успокоится. Выгорит дело с проволокой — будут деньги. Немного, конечно, ну, да ничего...

Прыгая по кочкам, Субчик вновь согрелся. Дорога была не из легких. Иногда он оглядывался — Руди плелся

за ним, как усталый пес. Ему было явно не по себе. По мере приближения к цели его энергия и решимость быстро таяли. А ведь он сам предложил! Субчик задумался.

Выбора не было. Дело должно выгореть! Во что бы то ни стало! Иначе отец перевернет вверх дном весь дом. Да еще непременно вспомнит фрау Франк. Ту самую из ведомства по надзору за несовершеннолетними. Она в общем тетка неплохая, но только приходит каждый раз, когда он прогуляет уроки в школе. Плевать ему на школу! Иногда она как-то чудно на него смотрит — наверняка что-то замышляет. Против Калли Демеера тоже. Тот уже побывал раз в исправительной колонии в Хейнсдорфе. Но Калли ничуть не исправился! Меня не запугаешь, сказал он, только теперь смотреть надо в оба! Мать Калли была «уличная». Это всем известно. Субчик, правда, не совсем ясно представлял себе, о чем идет речь. Отец твердил: «Вот корова, ну кто за нее будет деньги выкладывать!», хотя самого, между прочим, вытащили как-то из ее комнаты, а вот мамка ее не выносит.

Вдруг Субчик стукнулся обо что-то головой. Оказывается, он уткнулся в измызанную дощатую стену. Это была слегка покосившаяся задняя стена сарая. Куда же запропастился Руди? Он ведь здешний и лучше ориентируется в темноте. Ждать пришлось довольно долго — Руди изрядно отстал. Но вот он наконец подошел. Вода стекала с него струями, словно с мокрого котенка.

— Сарай Кручинского, — сказал Руди, — за ним, с той стороны, калитка в сад.

Он указал направо, в густой туман.

— Ты говорил, что у него есть собака, — сказал Субчик.

Руди хорошо знал эти места. Он сам жил неподалеку, в полусгнившем бараке скрышей из гофрированной жести. Крыша протекала. Мать Руди выбивалась из сил — отца у них не было. Однажды утром Грудель, старшая сестра Руди, обнаружила отца в сарае; он висел на широком кожаном ремне. Это случилось года два назад, вскоре после того, как семья съехала с прежней квартиры, которую Руди почти не помнил. Старый винтовочный ремень остался у Руди. Он всегда подпоясывает им штаны.

— Да, собака у него есть. Но она меня знает.

Субчик подумал немного.

— Ты полезешь первый. Подмани собаку и отведи ее

куда-нибудь. А лучше всего приведи ее сюда. Это самое верное дело!

— Через сад я не пойду, — Руди замотал головой, — там надо сначала мимо дома пройти. А если кто взглянет?!

Субчик обозлился. У Руди уже душа в пятки ушла!

Дождь моросил не переставая. Туман понемногу рассеивался, зато почти совсем стемнело.

— По вечерам Кручинский сидит обычно в пивной у Фогеля, не знаешь, что ли?

У Руди не было пути назад. Если он откажется — дружбе конец. И не только Субчик, все ребята от него отвернутся. Субчика в классе побаивались. Да он и не отстанет сейчас. А если поймают? Дьякон Бреннейз, как обычно, первый пронюхает и пожалуется матери на очередном чтении библии. Та будет плакать днем и ночью и вспоминать прошлое, четырехкомнатную квартиру и приходящую прислугу. Она всегда вспоминала об этом в подобных случаях: и когда Герхарт принес плохие отметки за год, и когда Эльза оказалась беременной, и даже когда старший брат Вернер, уже работавший учеником у механика, купил за 10 марок подержанный велосипед.

— Ты полезешь через крышу сарая во двор! Ясно? — приказал Субчик.

Он понял, что на Руди надо как следует прикрикнуть. Иначе все провалится. Черт подери, он не может прийти домой с пустыми руками. Надо задобрить отца. Перед отцом все они ходят на задних лапках.

Руди в полном отчаянии смотрел на своего друга. Все это совсем не так просто. Проволока — еще полдела. Нужна тачка. Руди не знал точно, оставляет ли Кручинский свою тачку на ночь во дворе. В довершение всего у Кручинского была дочь Гиза. Девчонка славная. Всем она нравилась, даже Субчику. Гиза была их ровесницей, и учились они в одной школе.

— Ты же сам все это затеял, — Субчик чувствовал себя не совсем уверенно и поэтому злился еще больше. — Кто это затеял, я тебя спрашиваю?

— Я, — тихо ответил Руди.

У Субчика от холода зуб на зуб не попадал.

— Хватит вилять, или получишь в морду! Понял?

Руди вобрал голову в плечи и сжался в комок. Бросив взгляд наверх, на ржавую крышу сарая, нависшую над

ним, он внезапно повернулся лицом к стене. Но, подняв руки, немного не дотянулся до крыши.

Субчик присел на корточки, обхватил ноги Руди и приподнял его вверх.

Тому сначала не удавалось уцепиться за скользкий карниз.

Вторая попытка была удачней, и Субчик затолкнул Руди на крышу, как мешок.

Руди исчез из виду. Слышен был только шорох: он полз вверх по скату к противоположному краю крыши.

Прислонившись к стене, Субчик ждал. Слева доносились тяжелое пыхтение и глухой лягз: проходил поезд. Потом он услышал свисток невидимого во тьме паровоза. Вновь мелькнула мысль: надо, чтобы дело с проволокой выгорело! Он ждал.

ИНТЕРМЕДИЯ. ДВА СТУЛА

Как глупо все в жизни получается. Девять, нет, уже десять лет они безвыездно жили в лагере для беженцев. Началось это еще в сорок пятом. Семья из четырех человек на шестнадцать квадратных метрах! Вся мебель чужая. У них и трех стульев своих не было.

Только два стула принадлежали им. Два стула, обитых зеленым плюшем. И те — из пожертвованных в пользу беженцев. Квартиры им никто не даст: слишком много они задолжали за комнату в лагере. Обер-инспектор Клингхаммер написал как-то на их прошении: «Семья не в состоянии своевременно вносить небольшую плату за комнату в лагере. О предоставлении хорошей дорогостоящей квартиры не может быть и речи». Точка! Впрочем, так было даже удобней. Администрация лагеря предоставляла жильцам кровати, шкафы и столы. Все это входило в квартплату.

По-настоящему хотела выбраться отсюда одна только Женни. Она была старше Герберта и работала на рыбоконсервном заводе. Сорок пять марок в неделю. Она была со странностями.

— Не хнычь, — повторял отец, — и здесь неплохо. А квартплаты они от меня не дождутся.

Он был огромного роста — метр девяносто три — и весил двести десять фунтов. Его единственной страстью

были деньги. Кончались деньги, он становился безразличен ко всему. В такие дни он вообще не вставал с кровати, курил и размышлял вслух.

Мать с утра до ночи не разгибала спины. Она то и дело переставляла вещи, хотя переставлять особенно было нечего. При этом она сморкалась в передник. В конце концов все упиралось в отца.

— В один прекрасный день нас вышвырнут на улицу, — твердила мать.

— Не имеют права, — бодро откликнулся с кровати отец.

— Нет, вышвырнут, — возражала мать.

Она вообще любила спорить. Но в голосе ее звучала неуверенность.

— Нет, — упорствовал отец.

— А почему?

— Мы живем в свободном демократическом государстве! У нас каждый должен иметь крышу над головой. Это наше право. Раньше мы считались неполноправными членами общества. Теперь дело другое!

Когда отец уходил, мать говорила Женни:

— Ну что с ним поделаешь.

Женни тоже принималась спорить. Она была со странностями. Ее возлюбленным был парикмахер, он танцевал только буги-вуги. Жил он у своих родителей, неподалеку от лагеря. Родители его имели зуб против Женни: они вообще недолюбливали лагерный сброд. Однако они молча терпели эту связь. Отец молодого парикмахера работал мастером на заводе и слыл человеком независимым. Он был на хорошем счету у дирекции и голосовал за христианских демократов.

Мать недоумевающе смотрела на Женни. У той была привычка бродить нагишом по комнате. Лишь намазав губы и ресницы у зеркала, она начинала одеваться.

— Ты что? — спросила мать.

Женни что-то невнятно прошепелявила, не отнимая помады от губ.

Безнадежное дело! Мать махнула рукой.

В этот вечер, как обычно, Женни не могла найти себе места. Брата до сих пор не было дома. Это злило ее. Ему давно уже пора вернуться, да и вообще надо быть аккуратней!

— Где Герберт? — спросила она.

Мать пожала плечами. Но отсутствие сына ее тоже раздражало.

— Уроки-то он сделал? — вновь спросила Женни с крайне заинтересованным видом.

— Наверяд ли, — сказала мать.

Отец лежал на кровати, курил и размышлял.

В дверь постучали. Женни в этот момент натягивала чулок, поставив ногу на стул. Отец попытался представить себе, каким образом она его пристегнет — Женни была совершенно голая. Стук повторился, и мать машинально произнесла: «Войдите».

Женни попыталась взвизгнуть. Это получилось у нее не очень убедительно: втайне она надеялась, что войдет ее парикмахер.

Но это оказалась фрау Франк из ведомства по надзору за несовершеннолетними. Она заходила иногда поговорить о Герберте.

ДЕЛО

Субчик ждал. Мерный стук капель, падавших с крыши, раздражал его. Ждать надоело. Голод уже давал себя знать. Он подумал вновь о матери, об отце. Мать права: все зависит от отца. Ничего не поделаешь. И матери и Женни приходится считаться с отцом. А ему и подавно!

За сараем раздался тихий свист. Поди разбери, чего он свистит! Они ведь не уславливались свистеть. Экий идиот этот Руди. Свистит ночью на чужом дворе как ни в чем не бывало! И свистит-то как скверно. Далеко ему до Бальбуа, вождя команчей. «Красная месь» — так назывался этот фильм. Руди и свистеть не умеет; что он только умеет!

Свист повторился.

Субчик подпрыгнул и, словно кошка, вцепившись в карниз, повис на руках. Он подтянулся, стараясь одновременно упереться ногами в скользкую стену сарая. После нескольких попыток ему это удалось. Очутившись наверху, Субчик осторожно пополз по крыше. По пути он расцарапал руку о погнувшийся гвоздь. Почувствовав теплую струйку крови на руке, он пососал царапину. Это слегка заглушило острый голод.

Потом он лег на спину и долго смотрел в тусклое вечернее небо. Это там, что ли, бог живет? «Грузовик», их классный наставник, говорил: «Бог видит все, он видит даже в темноте». Отец тоже частенько несет всякий вздор. Разумным он становится, как только у него завелись деньги. И особенно если ему не приходится самому их добывать.

— Субчик!

Это Руди. Субчику стало стыдно. Нашел, о чем думать! На это и в школе хватает времени. А здесь — держи ухо востро! Нет, уж он-то не чета Руди и не будет прыгать с крыши так неуклюже. В кино он не раз видел, как это делается. Эх, была не была! Субчик, не поднимаясь на ноги, перекатился через край и полетел вниз. Упал он удачно и остался весьма доволен собой. На авось не прыгнешь так, это уметь надо! Он быстро вскочил и побежал в ту сторону, откуда доносился голос.

— Не сюда, правей, еще правей, — испуганно прошипел Руди. Чувствовалось, что он трясется от страха.

Субчик услышал металлический лязг и жалобное повизгивание. Руди все еще возился с собакой. Когда же он наконец оттянет подальше проклятого пса?

Субчик метнулся вправо и наткнулся на что-то в темноте. Тачка! Все идет как по маслу! Он нащупал целую гору тонкой ржавой проволоки, наваленной на тачку. Здорово, даже грузить не придется. Он осмотрелся: кругом ни огонька. Только со стороны улицы через щель в заборе брезжил слабый свет. В той стороне жил Руди. Только бы он сейчас не бросил туда взгляд! Ведь стоит Руди отойти метра на три от порога, как его охватывает тоска по дому. Субчик наклонился над тачкой, нащупал ручки и подтолкнул ее вперед. Тачка скрипела и шла туго — она была нагружена доверху.

Проволоку надо поскорей сбыть с рук — вот задача.

Прежде всего Субчик подумал о Гаманне, который жил здесь же неподалеку. Но Гаманн еще, чего доброго, узнает тачку соседа! Не пойдет! Можно к Пальциге завести. Этот живет на другом конце поселка, у шоссе, ведущего в город. Но по дороге придется пересекать улицу. Еще попадешься кому-нибудь на глаза! Значит, и с Пальцигой ничего не выйдет. Просто с ума сойти! Судя по лязгу цепи, Руди до сих пор не удавалось оттянуть собаку подальше. Но он не видел его в темноте. Кругом

было по-прежнему тихо. Вдруг Субчика осенило: выкатить тачку со двора через сад и потом по краю болота до насыпи. Конечно, через кювет им с тачкой не перебраться, а через насыпь и подавно. И не надо! Проволоку можно перетащить через насыпь и спрятать до утра в какой-нибудь яме. Потом ему пришла в голову еще одна мысль, сначала обрадовавшая его. Но тут же ему стало как-то не по себе. Выгода нового плана заключалась в том, что отец продаст проволоку завтра утром и Руди останется с носом: делить выручку на три части уже не придется.

Субчик покатил тачку, обходя стороной то место, где, по его расчету, стоял Руди с собакой. Тачка безбожно скрипела, пес начал скулить. Заснул он там, что ли, — зажал бы псу пасть! Да, делиться с ним вовсе не обязательно. Придется наврать ему что-нибудь. Бояться нечего — Руди не выдаст, в конце концов он сам затеял все это дело.

— Зажми ему пасть, — прошипел Субчик.

Вновь стало тихо. Но, когда Субчик подкатил тачку к садовой изгороди и стал открывать калитку, пес бешено залаял. Лай был какой-то до омерзения протяжный.

Субчик пришел в ярость. Он отскочил от калитки и побежал назад в темноту. Вскоре он натолкнулся на Руди. Увидев грязное, искаженное страхом лицо приятеля, он понял, что тот ничего не может поделать с собакой. А собака-то доброго слова не стоит; паршивая дворняжка, черная с белыми подпалинами.

Руди чуть не взвыл от страха:

— Не подходи. Она кусается.

— Заткнись, раззява!

Хорошенького понемножку! Субчик с размаху упал на собаку. Дворняжка успела еще цапнуть его за рукав и содрала ему зубами кожу повыше локтя. Ничего страшного, так, царапина. Сначала собака выскальзывала у него из рук. Но потом он подмял ее под себя и животом что было силы прижал ее голову к земле. Дворняжка не могла больше лаять и только тихо скулила. Нашупав одной рукой собачью морду, Субчик другой рукой сдавил ее горло. Собака отчаянно пыталась вырваться. Она уже не скулила больше, а только хрипела. Неожиданно Субчик почувствовал острую боль: рука его попала прямо в собачью пасть. Это окончательно вывело его из себя.

Ему удалось в конце концов крепко сжать собаке челюсти. Дворняга задергалась, но не издала больше ни звука. Правой рукой Субчик продолжал сдавливать шею собаки, а левой стал сворачивать ей голову на сторону. Это оказалось не так просто. Пот лил с него градом. Потом хрустнули кости, и собака сразу обмякла в его руках.

Только тут Субчик заметил, что Руди тихо хнычет. Поднявшись на ноги, он сумрачно посмотрел на комья грязи вокруг и на собачий труп. Глаза дворняжки закатились. Казалось, она удивленно уставилась куда-то вверх, в грязное серое небо. Пасть ее была приоткрыта: нижняя челюсть с длинными тонкими зубами отвисла. Субчику вспомнилась печальная музыка из какого-то фильма, название которого он забыл. Эта картина ему не понравилась. Есть о чем грустить! Подняв голову, он увидел, что Руди неподвижно стоит на том же месте. Он напоминал большую куклу, а челюсть его отвисла, точь-в-точь как у мертвой дворняжки.

«Дерьмо», — хотел сказать Субчик, но не смог, в горле у него пересохло. Он лишь глубоко вздохнул. Как бы там ни было, отца надо задобрить; тогда и сегодняшний поздний приход домой сойдет с рук. Завтра, если удастся продать проволоку, отец получит половину выручки.

Субчик бросил взгляд на пустую, словно вымершую улицу поселка. Небо местами прояснилось, посинело. Появилось несколько звезд.

Руди перестал плакать.

— Собаку — на тачку! — приказал Субчик.

Руди опять разревелся: он не хотел, не мог прикоснуться к собачьему трупу.

В конце концов Субчику пришлось сделать это самому. Пока он пробирался к тачке с мертвой собакой на руках, его чуть не стошнило. Он яростно сплюнул.

Руди плелся следом.

Субчик отпер садовую калитку. С той стороны сада была еще одна калитка, выходящая прямо на болото. Но сначала надо провезти тачку мимо барака Кручинского и потом еще метров двадцать через сад. В окнах барака, впрочем, по-прежнему не было света. Но в саду тачка сразу же завязла. Видимо, они въехали в грядку. Туман продолжал рассеиваться. Стало заметно светлей —

до ночи было еще далеко. Поднялся холодный ветер. Ветви деревьев в саду слегка зашевелились.

— Я пойду, — сказал Руди.

Он дрожал от холода, и до дома было недалеко — через забор, на улицу, а там рукой подать.

Но Субчик даже не оглянулся.

— Только попробуй!

И Руди, прикрыв калитку, побрел за ним.

Им удалось вытянуть тачку. Потом Руди послушно пошел вперед открыть вторую калитку. В свое время Кручинский резал торф для продажи — через эту калитку он попадал прямо на болото. Напротив калитки была боковая стена барака. Подталкивая тачку, Субчик вдруг попал в полосу яркого режущего света. На мгновение ему почудилось, что кто-то крадется за ним по пятам. Руди вскрикнул. Субчик бросил тачку и быстро повернулся, как будто хотел броситься на невидимого врага.

Свет шел из бокового окна. В окне они увидели девочку с большими, словно остекленевшими глазами. Рот ее беззвучно шевелился. В руках она что-то держала; наверное, булку. Девочка то и дело откусывала от нее и, не переставая, жевала, равномерно, как теленок, двигая челюстями. Самого Кручинского в комнате не было. Не было его и во второй комнате, которую Субчик видел через открытую дверь за спиной девочки.

Что-то еще привлекло его внимание. Он смотрел поверх девочки со стеклянными глазами на старые настенные часы. Их маятник мерно качался из стороны в сторону. Половина седьмого. Он опять подумал о матери. И об отце. И о Женни. Вспомнил и об уроках.

Руди тем временем спрятался за тонким стволом яблони и звал его:

— Субчик, сюда!

Узнала ли она их — эта жующая девочка с глазами-стекляшками? Или ей только показалось, что кто-то ходит по саду? Да, Гиза испугалась! Субчик увидел, как она выронила булку, так и не донеся ее до широко открытого рта. Ее глаза расширились и округлились еще больше.

Руди думал только о том, как бы удрать поскорей.

— Субчик, Субчик, иди же, скорей.

Но вот Гиза заплакала. Он ясно видел слезы на ее лице, прижатом к стеклу. Да, она редела там, за окном.

Пусть ревет! Руди открыл калитку, Субчик взялся за ручку и выкатил тачку из сада.

Только теперь до них донесся крик Гизы.

Субчик опять вспотел. Когда он разворачивал тачку в сторону насыпи, собачий труп шлепнулся в мокрую траву.

ВТОРАЯ ИНТЕРМЕДИЯ. В СМЯТЕНИИ

Фрау Франк уже вышла за пределы лагеря, но все еще продолжала раздумывать о Герберте Веланде. Он был для нее неразрешимой загадкой.

По одну сторону улицы тянулся ветхий дощатый забор лагерного поселка, другая сторона была освещена назойливо яркими огнями витрин. Их пестрая лента не прерывалась до самого конца узкой улицы. Мятущиеся людские тени сливались в сплошную зыбкую стену. Неожиданно сверкнули фары проезжавшей машины — ослепительный луч рассек улицу пополам.

Фрау Франк невольно зажмурилась, а когда вновь открыла глаза, узнала сидевшего за рулем мужчину. Это был Клингхаммер, брат ее начальника. Удачливый делец. Фрау Франк хорошо знала обоих братьев. Близнецы, но внешне очень несхожие, они недолюбливали друг друга. Тот, что проехал на машине, — преуспелал. Постоянная удача сделала его убежденным сторонником «свободной экономики». Другой — ее начальник — был социал-демократом. Неудачи надломили его, поколебали его убеждения, но он все же не отказался еще от планов оздоровления общества, хотя бы в пределах своего участка.

Герберт и братья Клингхаммер. Казалось, она видит их рядом, в холодном зареве рекламы. Смутное чувство тревоги охватило ее.

«Мертвые краски, — подумала она, — желтый цвет — серый, синий — купороса, а красный напоминает сомнительные ликеры первых послевоенных лет».

Внезапно разноцветный шар, давно уже привлекавший ее внимание, приблизился к ней, разросся, сплюснулся; пестрый круг вращался прямо перед глазами. Нестерпимо яркий свет, казалось, проникал в мозг. Отблески бешено крутящейся радуги исказили знакомые черты близнецов. Серые тени легли на неподвижное лицо мальчика

с закрытыми глазами. Круг вращался все быстрее, но лицо Герберта не исчезало. Вот он заговорил — бескровные, посиневшие губы двигались мерно и неторопливо. Она слушала его глухой голос, и все в ней восставало против беспощадно ясных слов. Но возразить помешала острая, хватающая за сердце боль.

Не в силах идти, она прислонилась к стене одного из домов. Бесстыдная и вызывающая откровенность того, что она слышала, потрясла ее. Словно бездонная пропасть разверзлась у ее ног. Лишь гнев, непонятный для нее, удержал ее от последнего рокового шага. Но каждое его слово запечатлевалось в ее сознании, и каждое движение его губ причиняло ей невыносимые страдания.

«Ты меня искала? Безуспешно, не правда ли? Но вот я здесь, перед тобой. Сегодня жребий пал на меня. Что же, давно пора! Уже не первый день шагаю я сквозь пламя холодного пожара, зажженного ими. И я сделал выбор. Согласен, это грязное дело. Но мне теперь все равно. Я говорю с тобой лишь для того, чтобы ты рассказала об этом другим. Не жалуйтесь, когда до вас дойдет черед. Завтра, послезавтра, в любой день. Тогда не помогут никакие мольбы. Передай им привет от меня: братьям Клингхаммер, матери, отцу, Жени; да и не только им — всем Клингхаммерам, родителям и сестрам. Все они по-волчьи живут в этом мире. Скажи им, что я их достойный ученик и им не придется краснеть за меня.

Сначала они научили меня ненависти. «Свободная экономика...» Я живу на самом дне ее. Голод и холод стояли у моего изголовья, когда я засыпал. Но шумная возня этих людей не давала мне уснуть. Я заставлял себя открыть глаза. Ведь когда лежишь без сна, закрыв глаза, заглядываешь слишком глубоко в свою душу. Это ни к чему. И я вновь смотрел на них. Что мне было делать? Отвернуться, терпеть, не обращать на них внимания или учиться у них? Я учился!

Почти весело было смотреть, как они бодры и самодовольны, эти удачливые дельцы. Но тысячи других на моих глазах опускались на дно. Многое из того, чему я научился, я пока еще не могу применить на практике. Но я уже знаю, как они ведут себя во всех случаях жизни. Идут на темные махинации при уплате налогов, изворотливость выдают за ум. Почаще пускать в ход локти, быть глухим к голосу совести — вот их неписанный, но желез-

ный закон. Интриги, связи, протекция — без этого не обойтись «порядочному человеку».

Да, конечно, они работают не покладая рук. Днем и ночью. Это вам, мол, не восьмичасовой рабочий день! Да разве это работа? Алчность беспрестанно понукает их, бессмысленно изматывает. А что до «сверхурочной работы», то эти люди вознаграждают себя сторицей: их разнузданные оргии затягиваются иногда на долгие месяцы. Но настоящей работы им не выдержать! Пусть попробуют! Крестьянин, дорожный рабочий, любой труженик, с которым им довелось бы работать рядом, обнаружил бы вскоре их трупы в придорожной канаве. Пришлось бы их зарывать — лишние хлопоты. Все это ты и скажи Клигхаммеру-дельцу, тому, что проехал в машине.

Впрочем, ты ведь идешь сейчас к его брату — оберинспектору. Ему ты скажи вот что: пусть он и впредь втискивает нас в свои системы. Он собирается серьезно поговорить с тобой обо мне. Скажи ему, что уже поздно! Он начнет жаловаться: ты, дескать, слишком агрессивна, ставишь его в безвыходное положение, не даешь ему ни минуты покоя. У него даже бессоница из-за тебя. Но ты ведь знаешь: сколько бы ты ни писала, ни объясняла и ни уговаривала, ты все равно ничего не добьешься! Это, между прочим, тоже мне на руку.

А инспектор непременно сошлется на закон — сам закон собственной персоной сидит здесь же за соседней дверью. А декреты, правительственные распоряжения — из этих джунглей не выберешься! Потом он скажет, что в конце концов он человек семейный и это, естественно, ставит границы его самопожертвованию. А когда он в заключение упомянет о дисциплине и ограничениях, ею налагаемых, его трусость передастся и тебе. Дисциплина! Разве может она предотвратить надвигающийся хаос? Все это напоминает человека, хлопчущего о собственных похоронах.

Но для социал-демократа эта аргументация убедительна. Предел его мечтаний — взобраться на верхушку бюрократической лестницы и оттуда вещать ожидающему внизу народу: ступеньки непрочны, но потерпите немного, и мы разработаем систему, при которой вы будете счастливы и там, внизу. Мы ведь тоже революционеры. Да здравствует «р-р-революция»!

Смотри, они подмигивают друг другу, эти несхожие близнецы. Что же ты увиливаешь? Боишься вынести им приговор? Впрочем, произнести его у тебя еще хватит храбрости, а вот исполнить его тебе не под силу! Запомни: тому, кто безропотно влачит жизнь между мельничными жерновами, надеяться не на что. Слишком поздно заметит такой человек, что он лишь поддерживает противозастенный порядок вещей.

Но успокойся! Исполнять приговор придется мне. Жребий пал на меня. Согласен, это грязное дело. Но мне теперь все равно. Задача нелегкая, да и опасная. Один из братьев скажет, что убийцей я стал случайно, другой — увидит во мне палача. Какая разница! Результат один и тот же. Я, видишь ли, считаю, что от их «р-р-революции» толку мало.

Прохладно стало, не правда ли? Доброй ночи!»

СОРВАЛОСЬ!

Они с остервенением толкали проклятую тачку. Толкал, собственно, один Субчик. Руди совсем потерял голову от страха и только мешал: время от времени он брался за ручки или за края тачки. При этом он постоянно оглядывался, словно волки гнались за ним по пятам.

Гиза надрывалась у них за спиной. «Субчик... Руди...», — несся ее истошный крик.

Узнала все-таки!

Но осознал это один Субчик. Он понял, что Гиза убежала из сада и стоит уже на тропинке, по которой они катят тачку. Он взял вправо, и колесо немедленно завязло в кочке, поросшей густой травой. Стиснув зубы, Субчик подумал, что, если все сорвется, домашнего скандала не избежать; время было уже позднее.

— Субчик! Ру-у-ди!..

В голосе Гизы слышались теперь мольба и отчаяние. Но ответа не было. Кругом по-прежнему тьма, равнодушная, беспощадная.

Когда Субчик принимал решение, разжалобить его было невозможно. Слыша крики Гизы, Руди совсем пал духом, но Субчик, напротив, пришел в ярость и распался все больше и больше.

— Укусить бы ее в руку или в ногу, повыше колена, а еще лучше в шею!

— Она гонится за нами, — сказал Руди, — гонится, слышишь?

— Нет, — бросил Субчик.

Он лгал, чтобы успокоить Руди: одному ему не справиться с тачкой.

Небо совсем прояснилось. Оно было уже усеяно звездами. В довершение всего из-за туч выкатилась луна.

Субчик остановился. Усевшись на тачку верхом, он вытащил из кармана скомканный носовой платок и вытер вспотевшее лицо.

— Она нас узнала, — пролепетал Руди упавшим голосом.

— Плевать! — сказал Субчик.

Все пути назад были отрезаны. И все же, когда он вновь взялся за ручки, вид у него был слегка растерянный.

— Ты платок уронил, — сказал Руди.

Субчик даже не оглянулся. Не до платка теперь!

— Повернем тачку и будем тянуть. Давай!

Для пущей убедительности он дал Руди пинка. Тот вновь заплакал. Но Субчик, не обращая внимания на слезы, впряг его в тачку. Тачка скрипела, колеса то и дело застревали в вязкой грязи. Тянуть ее становилось трудней с каждым шагом.

А сзади не переставая кричала Гиза.

— Слушай, давай сбросим часть проволоки, — предложил Руди.

Но Субчик не согласился. Нет, он не такой трус и размазня, как Руди.

Напрягая последние силы, они протащились еще немного. Вдруг Руди остановился:

— Постой, а через насыпь как же?

Субчик вздрогнул. Конечно, через залитую водой канаву тачку им не перетащить, не говоря уже о насыпи. До сих пор он старался не думать об этом.

— С-у-у-б-чик!..

Гиза была уже где-то близко. К счастью, от болота шел пар, как от кастрюли с бельем. В клубящемся тумане ничего не было видно и в двух шагах.

— А-ст! С-юда! А-а-ст!

Ага, значит, Гиза не заметила собачий труп у калитки.

Субчик всем своим существом чувствовал грозящую опасность. Внезапно его осенило! Ведь избавиться от нее так просто. Надо только быть начеку. А не хныкать, как Руди.

Тогда выкрутишься из любого положения! Субчик ощутил прилив решимости. Все стало на свои места. Приятный холодок пробежал у него по спине. Туман над болотом скрывал их от Гизы. А пока она не натолкнулась на них с тачкой, можно запереться в глухую.

— Слушай, ты, — повернулся он к Руди. (Теперь самое главное накачать Руди как следует.) — Дотянешь тачку до канавы, бросишь ее там, а проволоку перетащишь через насыпь и спрячешь ее в яме под холмом. Тяжеловато будет, но зато можешь не торопиться!

— А ты?

— Заткнись, твое дело маленькое! Я возьму на себя Гизу.

Руди издал жалобный стон, но тут же покорно кивнул.

Он потащил тачку дальше. Субчик остался на месте. Руди несколько раз оглянулся: в последний раз он увидел друга уже вдалеке. Окутанный болотным туманом, он стоял, словно привидение. Когда Руди решил передохнуть и опустил тачку, вновь раздались крики Гизы, но на тропинке никого уже не было.

Субчик шмыгнул с тропинки прямо в болото, волоча за собою длинную жердь, подхваченную на бегу. Время от времени он шлепал ею по грязи, чтобы отвлечь внимание Гизы от тачки. Ловко, словно ласка, перепрыгивал он с кочки на кочку...

Вскоре Руди вновь опустил тачку на землю. Пройдя пару шагов вперед, он очутился у канавы. За ней вздымалась насыпь. Одиноким зеленым огонек мерцал теперь по левую руку.

Руди соскользнул к воде, прикинул на глаз ширину канавы. Окончательно обессилев, он сел на землю и прислушался.

— ...С-у-у-б-чик!.. Р-у-у-ди!.. А-а-ста, сюда!

Крик доносился теперь откуда-то издали. А Гиза, видно, порядочная балда! Чего ее туда понесло? Живет ведь здесь... могла бы, кажется, знать дорогу! Крики

стали глуше — Гиза все дальше уходила в болото. Субчика вообще не было слышно...

Руди дотащил тачку до края канавы и стал выбрасывать на землю проволоку, моток за мотком. Пустая тачка перевернулась; у канавы торчал лишь неприметный деревянный бугорок. Перекинув через плечо пару мотков, Руди вновь спустился к воде.

Позади, где-то совсем далеко слышалось по-прежнему: «С-у-у-уб-чик... Ру-у-у-ди!»

Расхрабрившись, Руди прыгнул с проволокой через канаву, но неудачно; он вымочил ноги до колен. С трудом вскарабкавшись на насыпь, он совсем выбился из сил. От его промокнутой одежды разлило болотным смрадом. По-заячьи перескочив через рельсы, Руди кубарем скатился по противоположному склону. Яма под холмом выглядела и впрямь надежно. Он спрятал проволоку и пошел обратно.

На этот раз он не стал прыгать через канаву и медленно брел по грязной стоячей воде. Спешить было некуда. Он устал. Вновь нагрузившись проволокой, он зашлепал по воде назад. Вода доходила ему до пояса. Леденящий холод обжег его с головы до ног. Проволока разматывалась и путалась в ногах. Руди еле шел. На середине насыпи он упал ничком и долго пролежал так, уткнувшись лицом в мокрую траву и тяжело дыша.

Когда, собравшись с силами, он выбрался наконец на рельсы, до слуха его донесся протяжный пронзительный визг. Сперва ему почудилось, что где-то рядом с полного хода затормозил поезд. Но визг донесся откуда-то из болота. Быть может, какой-нибудь зверек? Руди обернулся и долго всматривался во мглу. Странный холодок пробежал у него по спине. Лихорадило его, что ли? Ему казалось, что он обливается потом. Мелкая дрожь била его. И вновь раздался протяжный вопль. Еще несколько раз он услышал его. Крики становились все тише, потом оборвались. Руди собрался было идти, но в это мгновение из тьмы донесся душераздирающий вой.

Он дрожал всем телом. Один моток соскользнул у него с плеча, проволока, словно змея, распустила свои кольца по рельсам. Руди сломя голову сбежал вниз и прыгнул в яму под холмом. Но крик раздался вновь — полузадушенный, жалобный. Казалось, он, как живое существо, из последних сил карабкается на насыпь. Руди спрятал

лицо в куче мусора на дне ямы, а когда крик снова перешел в истошный вой, он заткнул пальцами уши и тихо заскулил. Он почувствовал, как страшная усталость разливается по всему телу...

Полчаса спустя появился Субчик. По ту сторону насыпи он наткнулся на перевернутую тачку, перекинул через плечо оставшуюся проволоку и перемахнул через канаву. Обнаружил он и проволоку на рельсах. Руди смотался, значит! Ну, хорошо же! Но подойдя к яме, он увидел в ней кучу проволоки, а под ней спящего Руди. Спит! Простудится, как пить дать! Субчик наскоро сбросил в яму свою ношу, подумав при этом, что Руди, наверное, проснется от толчка. Но Руди даже не пошевелился. Субчик еще раз оглянулся на насыпь и хотел было пойти подобрать проволоку, лежавшую на рельсах. Но потом махнул рукой и зашлепал по грязи к поселку. Ничего, обойдется как-нибудь...

Странное дело: когда он пришел домой, отец не сказал ни слова. Мать — тоже. Женни, как обычно голая, слонялась по комнате из угла в угол; мазалась и натягивала чулки. «Уже девятый час, Герберт», — только и сказала она, остановившись у зеркала.

Никто не сказал ему, что заходила фрау Франк. Пусть-ка она лучше на других посмотрит. Все Герберт и Герберт! Есть и похуже его! Так они думали, во всяком случае.

Отец валялся на кровати — видно, наелся до отвала. Мать пододвинула Субчику тарелку. Он глотал, обжигаясь и спеша. Никто не вспомнил об уроках, только он сам подумал о них.

Но сейчас он слишком устал. Ему всегда приходится рассчитывать все наперед. Это утомительно! Никто так не делает; ни отец, ни мать, ни Женни. Они все живут сегодняшним днем. Рассчитывает наперед лишь он один. Вот и сейчас он думал над тем, что ему сказать завтра в школе при проверке домашних заданий.

Женни тем временем глупо хихикала у зеркала: она видела в зеркале, что отец не сводит с нее глаз. Его взгляд скользил по ее обнаженному телу. Он словно ощупывал ее ноги, зад, спину. Не переставая хихикать, Женни отвела в сторону согнутую в локте левую руку, чтобы отец увидел и грудь. Отец — мужчина хоть куда! Его надо понимать.

— Завтра пойду к врачу, — сказал отец, — я, кажется, заболел.

Субчику тут же пришло в голову, что на это можно сослаться в школе. Отец вдруг заболел — пришлось бегать до позднего вечера то к врачу, то в аптеку, то в больницу кассу за деньгами...

Женни отошла от зеркала и принялась искать свои чулки в куче одежды, наваленной на стульях — тех самых «собственных» стульях, обитых плюшем.

— Мы все время живем не по средствам, — сказала мать.

— Что ты, мама, — отозвалась Женни, — мы просто стараемся не обращать на них внимания.

— Так и будем жить, пока не подохнем.

— Ах ты господи, разве другие живут иначе, — сказала Женни, натягивая чулок, — назови хоть одного. Я таких не знаю.

Да, одному Субчику приходилось рассчитывать все наперед.

КОНЕЦ

Под утро на поселок вновь опустился легкий туман. Но чувствовалось, что долго он не продержится. А там, глядишь, и солнце покажется.

Школа была в десяти минутах ходьбы, и все же Субчик пришел туда со звонком. Он не любил тратить время попусту. Никто не спрашивал его, кем он хочет стать после школы. Работать, все равно где, лишь бы работать. Были бы деньги! Деньги — это все!

Школа помещалась в нескольких легких одноэтажных постройках. Большие окна, светлые просторные классы. А в темноте подчас куда спокойней. Вот и дома у них окна не такие широкие.

Субчик прокрался по коридору к дверям своего класса, мимо блестящей никелем вешалки, на которой висело несколько шапок и пальто. У него самого не было этого лишнего груза. Он открыл дверь. Воцарившаяся тишина сразу заставила его насторожиться.

Впрочем, кое-кто встретил его обычным приветствием «А, Субчик! Как дела?»

Субчик обычно за словом в карман не лазил. Его ответные приветствия сразу располагали большинство ребят

в его пользу. Но сегодня он лишь молча озирался. «Грузовик», классный наставник, встал со стула и пошел к нему навстречу, уставившись на него из-под толстых стекол очков каким-то отсутствующим взглядом. Субчику стало не по себе.

Грузовик шел медленно. На лице его было такое выражение, словно он вдруг разгадал, наконец, трудную загадку, называвшуюся «Субчик».

— Подойди-ка сюда, Веланд, — тихо, но очень внятно произнес он, остановившись недалеко от двери, которая так и осталась открытой. Туман за окном понемногу рассеивался.

Субчик подошел к учителю. Ему казалось, что кто-то затягивает на его шею петлю.

— Так как же, Герберт?

Субчик не понимал еще, куда он клонит.

— Что произошло вчера?

Субчик молчал, делая вид, что напряженно вспоминает. Он упорно глядел куда-то вбок, мимо руки учителя.

— Знаешь ли ты, что Руди заболел?

Петля затягивалась все туже. Боже мой, что же делать? А как же мать, отец, Женни? И остальные?

Он отрицательно покачал головой.

— У Руди крупозное воспаление легких. Врачи сомневаются, выживет ли он.

Все это из-за Руди. Всегда-то он подгадит! Дерьмо!

— Сегодня утром его нашли в яме у насыпи.

Субчик молчал. Он даже прищурил глаза, чтобы не отвлекаться. Главное — соображать быстрее!

— Так ты знаешь об этом, Герберт?

Субчик вновь покачал головой.

— Разве вы не были вместе вчера?

— Да, мы прогулялись немного, но потом он ушел.

— Ах, вот как! — учитель изобразил на своем лице крайнее удивление, но, по-видимому, торопился поскорей кончить. Он глубоко перевел дух.

— А не знаешь ли ты, кто отсутствует сегодня в соседнем классе?

В соседнем классе училась Гиза. Петля затянулась.

Субчик стоял спиной к двери. Ему вдруг показалось, что его окружают со всех сторон. Почему Грузовик не закрыл дверь? Только бы не окружили! Лицом к лицу можно драться против сотни, лишь бы не окружили! Джон

Милльс никогда не давал себя окружить! Субчик попытался оглянуться, но Грузовик рявкнул:

— Гизу убили!

Субчик молчал. Ком подкатил ему к горлу.

— А может, ты знаешь, где ее убили?

Субчик молчал. Он даже не замотал головой. Пусть попробуют доказать! Следов наверняка не осталось — слишком сыро! Выдать его может только Руди, но Руди сейчас тяжело болен.

— Слушай, Герберт. Гизу и Руди искали всю ночь. Под утро нашли труп Гизы, мертвую собаку, тачку господина Кручинского и кучу проволоки. Проволока валялась даже на рельсах. Слава богу, машинист вовремя заметил и остановил поезд, а то...

«Окружают!» Эта мысль больше не покидала его.

— Отвечай, Герберт, — пронзительно залаял Грузовик. Субчик пожал плечами, но в тот же момент заметил, как сзади, одна за другой, на него надвинулись две тени.

— Так как же, Субчик? — раздался голос у него за спиной.

Субчик как затравленный оглянулся и увидел две мужские фигуры.

Одного из пришедших Субчик сразу узнал. Того самого, что заходил иногда к отцу. Разговор шел в таких случаях о кое-каких темных делишках в порту, причем гость всегда показывал отцу круглый жетон. Он и сейчас полез в карман, но вместо жетона вынул оттуда кусок грязной и скомканной материи. Когда-то он был, видимо, белого цвета.

— Узнаешь, Субчик? — спросил пришедший.

Субчик вновь пожал плечами.

Тогда его знакомый развернул грязный комок. Это был батистовый женский носовой платок с каймой и вышитыми наискосок красными буквами.

— Читай-ка.

У Субчика перехватило горло. С трудом разлепив пересохшие губы, он медленно и тихо прочел: «Женни Веланд».

— Вот видишь! У сестренки стащил? Да?

Субчик кивнул.

Пришедший взял его за руку и сказал:

— За всем сразу не углядишь, мой милый! Так-то. Пойдем.

Они вывели его в просторный залитый светом коридор, и его знакомый спросил еще:

— Зачем ты это сделал, Герберт? Ну, зачем?

Субчик всхлипнул. Умереть бы тут же, не сходя с места! Руди, размазня несчастная, — вот кому сейчас хорошо. Но лучше всех теперь Гизе.

— Я не хотел убивать, не хотел...

Он бешено затряс головой. Но он знал, что это ложь, и слова его прозвучали не очень убедительно.

Мужчина бросил на ходу:

— Гиза погналась за вами, и ты хотел только отвлечь ее в сторону? Так?

Субчик весь вспотел. Он думал только об одном: «Запомнить и твердить не переставая. «Это не ложь, это чистая правда, не ложь, не ложь!»

Когда они вышли из дверей школы, на дорожку, ведущую к воротам, легла широкая тень: к воротам подъехала черная машина с маленьким красно-золотым гербом на дверце.

ВЁЛЬФХЕН ШВАХУЛА

Обычно думают, что иметь богатого отца — радость для ребенка. Таково мнение богатых родителей, таково мнение детей бедных родителей. Одни только дети богатых знают, что это не так.

У Вёльфхена Швахулы никогда не было товарищей для игр. В унынии лазил он по мешкам с мукой на мельнице своего отца, прицеплял на хвост кошке завязку от мешка с висевшей на ней биркой и катался на повозке, на которой господин Дюркопп перевозил мешки. Потом всегда говорил: «Спасибо, господин Дюркопп!» — так как отец раз навсегда внушил ему, что с работниками надо быть вежливым — они такие же люди, как и все остальные.

Если бы даже он забыл снять шапку перед своим учителем, это было бы простительнее, чем оставить ее на голове при встрече с господином Дюркоппом или другим членом крестьянской общины.

К немалому удивлению Вёльфхена Швахулы, работники, казалось, дивились его вежливости — они всегда так чудно улыбались, и чем вежливее был Вёльфхен, тем чуднее улыбались они. И каждый раз, когда Вёльфхен встречал кого-нибудь из работников и надо было вежливо с ним поздороваться, он краснел. Однажды он заявил отцу, что работникам, видно, совсем не нравится его вежливость — они всегда так чудно улыбаются. «Ну, ничего не поделаешь, — ответил отец, — бояться тут нечего, а отступать от этого правила ни в коем случае не следует». Вёльфхен и не боялся. Но, завидев кого-нибудь из работников, предпочитал свернуть в сторону.

Только господина Дюркоппа он любил. Господин Дюркопп был, собственно говоря, столяром. Черт его знает,

почему он возил в амбар мешки. Если в доме что-нибудь ломалось, например стульчак в уборной, или если нужно было снять наросты со стволов яблонь, на виллу Швахулы приходил господин Дюркопп, вооруженный молотком, клещами, пилой и гвоздями, и приводил все в порядок. Отец говорил, что господин Дюркопп — честный и преданный работник. Господин Дюркопп никогда не улыбался, когда Вёльфхен с ним вежливо здоровался. Он даже сам снимал шапку, и нужно было всегда быть начеку, чтобы успеть снять свою первым.

У Вёльфхена Швахулы пропала охота возиться в амбаре, и катание на повозке господина Дюркоппа тоже перестало доставлять ему удовольствие. Уныло сидел он на мешке с мукой и болтал ногами.

— Ну, как дела? — спросил как-то господин Дюркопп, проезжая мимо.

— Играть не во что, — ответил Вёльфхен.

Господин Дюркопп рассмеялся.

— Вот уж чего мой Хотте никогда не скажет! — ответил он. Хотте был младшим сыном господина Дюркоппа. Его настоящее имя было Хорст.

— А он всегда знает, чем заняться? — спросил Вёльфхен.

— Еще бы! — ответил господин Дюркопп.

— Может, он как-нибудь зашел бы ко мне? — попросил Вёльфхен.

— На этой неделе ему придется помогать в саду, — ответил господин Дюркопп, и повозка двинулась дальше.

— Папа! — клянчил Вёльфхен за столом. — Ну, прошу, прошу тебя, скажи господину Дюркоппу, пусть его мальчик придет ко мне в гости, он всегда знает, чем заняться.

Папа сказал господину Дюркоппу, и Хотте на этой неделе освободили от работы в саду. После обеда Вёльфхен стоял у окна и с нетерпением ждал. Он собрал свою электрическую железную дорогу. В три часа должен был прийти Хотте Дюркопп. В четыре он пришел. Вёльфхен сиял. Хотте был смущен. На нем был праздничный костюм.

Вёльфхен спросил:

— Ты ведь рад, что тебе не надо работать в саду, а?

— Теперь матери придется одной таскать тяжелые корзины, — отвечал Хотте.

— Какие корзины?

— Мы же копаем сейчас картошку, — сказал Хотте.

— У вас в саду посажена картошка?

— Ну ясно, а что же еще?

— Но ведь цветы у вас тоже есть?

— Цветы? Нет.

Они начали играть с электрической железной дорогой. Хотте ни капельки в ней не разбирался и все ломал. Вёльфхен был счастлив. Под конец каждый взял себе по три вагона. Они катили рукой вагоны по рельсам и изображали поезда. Чей вагон разбивался первым, тот и проигрывал.

Хотте умел делать пращу, лук, сооружать из кирпичей ловушку для мышей и, кроме того, он умел издавать боевой клич индейцев «У-а, у-а!», что поразило Вёльфхена больше всего. А самое главное, он принадлежал к мальчишкам с «Живодерки», это была банда, состоявшая из ребят, живущих в «живодерной» слободке. Они вели войну против ребят «из поселка», забрасывали врагов камнями, а иногда связывали одного из них и подвергали пыткам. Вёльфхену тоже хотелось принять в этом участие, но Хотте сказал, что ничего не выйдет, будут только одни неприятности.

Когда мальчишки с «Живодерки» воевали, Хотте не приходил. Для Вёльфхена это были ужасные дни. Часами ждал он у окна: а вдруг Хотте все-таки придет. Но он ждал напрасно.

Бывало, Хотте не показывался целую неделю, и, только когда Вёльфхен говорил об этом своему отцу и неотвязно умолял его передать Хотте приглашение через господина Дюркоппа, Хотте являлся. Если Вёльфхен спрашивал, почему он так долго не приходил, Хотте неизменно говорил: «Были другие дела». А на вопрос, какие же, просто не отвечал.

Когда Вёльфхен однажды проснулся среди ночи, у него мелькнула ужасная мысль: «А может быть, Хотте вовсе и не хочется приходить ко мне?»

Подозрение, от которого у Вёльфхена кровь леденела в жилах, подтвердилось самым ужасным образом.

Вёльфхен был целую неделю болен и не посещал школу. На второй день после того, как он встал с постели, он опять в унынии принялся лазить по мешкам с мукой на отцовской мельнице. Вчера за столом он попросил отца сказать господину Дюркоппу, чтобы Хотте сегодня пришел.

Был час обеда. Жены работников принесли горшки с едой. Господину Дюркоппу еду принес Хотте.

Господин Дюркопп сидел на мешке и ел. Хотте сидел рядом и смотрел на отца. Когда господину Дюркоппу попался кусок мяса, он совал его в рот сыну.

Вёльфхен, притаившись, лежал наверху на мешках. Ему было стыдно, но он все же подслушивал.

— Тебя сегодня опять туда зовут, — сказал господин Дюркопп.

— Вот черт! — отозвался Хотте.

Господин Дюркопп сказал:

— Очень важно, чтобы Швахула был по-прежнему хорошего мнения обо мне.

— Из-за печатного станка в погребе? — спросил Хотте.

— А рот тебе не заткнуть? — сказал господин Дюркопп и сунул Хотте в рот кусок мяса.

Хотте засмеялся.

— На прошлой неделе я сломал его духовое ружье, — сообщил он.

Господин Дюркопп тоже рассмеялся.

— Сегодня примусь за пугач.

— Ну, ты все-таки будь осторожнее, — сказал господин Дюркопп.

Когда Хотте после обеда явился к Вёльфхену, он предложил играть в индейцев и следопытов.

— Только, чур, я буду индейцем! — крикнул Вёльфхен.

— Тогда пистолет ты должен отдать мне, — сказал Хотте.

Когда они наигрались, Вёльфхен спросил:

— А куда ты девал пистолет?

Хотте смотрел себе под ноги.

— Он упал в канаву у мельницы.

— Ну, ничего, неважно, — сказал Вёльфхен. Он сделал вид, что ни о чем не подозревает. И хотя он знал, что

его друг Хотте ему вовсе не настоящий друг, — правда, он не мог понять, почему именно, — но боялся, что в один прекрасный день тот совсем не придет. Тогда опять придумывай, чем бы заняться.

О разговоре, подслушанном на мельнице, он никому не сказал ни слова, даже матери, хотя ему очень хотелось спросить, что за штука печатный станок и почему он стоит в погребе. Вёльфхен всячески старался забыть услышанное. Иногда это удавалось, но потом постоянно что-нибудь да напоминало ему об этом разговоре. То рабочие, которые с легкой иронией величали его «младший хозяин» и улыбались, когда он был с ними особенно вежлив, то господин Дюркопп, всегда снимавший шапку раньше него; и это было гораздо хуже, чем улыбки остальных, особенно когда знаешь, что он думает на самом деле; то разговоры за столом, а раз или два это была листовка, которую господин Швахула показывал жене; он находил их на мельнице. Да, было много вещей, напоминавших Вёльфхену о подслушанном, удивительно много.

Однажды в воскресенье Вёльфхен сам пошел в гости к Хотте. Фрау Дюркопп пригласила его выпить с ними кофе.

— Вообще-то мне не разрешают кушать у чужих, — заявил Вёльфхен. Но фрау Дюркопп усадила его на стул, а господин Дюркопп сказал:

— Ведь твой отец нас хорошо знает! Он, конечно, ничего не будет иметь против.

Подали сайки с патокой. Вёльфхен удивился, что у Дюркоппов в воскресенье не пекут сладких пирожков. Но было все же очень вкусно. Дома патоки никогда не подавали.

Господин Дюркопп пил кофе с блюдечка, а фрау Дюркопп чавкала во время еды. Хотте стал слизывать патоку с ножа, не заедая ее сайкой, и получил затрещину. Если Вёльфхен делал дома что-нибудь в этом роде, мама говорила: «Кушай, раз тебе нравится».

Вёльфхен сидел за столом вместе с Дюркоппами, но ему все-таки казалось, что он сидит отдельно; ему казалось, будто он сидит в стеклянном доме. И действительно, между ним и Дюркоппами и даже Хотте стояла стена, невидимая, но ее нельзя было разрушить.

Вёльфхену очень хотелось вырваться из этого стеклянного дома, но что бы он ни делал, что бы ни говорил, стена становилась все крепче и неодолимее, а воздух вокруг него словно стыл и редел. Вёльфхен положил на тарелку недоеденную сайку и сказал: «Можно встать?»

Дюркоппы уставились на него. Для них было обычным делом вставать из-за стола, когда наешься, и уж совсем необычным — оставлять на тарелке надкусанную сайку.

— Пожалуй, мне пора домой, — сказал Вёльфхен.

Ночью ему приснилось, будто он лежит в стеклянном гробу. Воздуха становилось все меньше, и он делался все холоднее. Вёльфхен закричал.

— Что с тобой? — спросила мать.

— Мне страшно, — ответил Вёльфхен.

Подморозило. От церкви святого Николая к ручью спускался покатый склон высотой метров в пятнадцать. Накануне вечером мальчишки с «Живодерки» вылили на этот склон несколько ведер воды. На следующее утро получилась ледяная горка, гладкая, как зеркало.

Когда Вёльфхен возвращался из школы, он увидел, что мальчишки катаются. Среди них был и Хотте. Все ребята были в деревянных башмаках. Вёльфхен положил ранец на снег и тоже хотел прокатиться.

— А у тебя есть деревянные башмаки? — спросили его. — В кожаных кататься не дадим — всю дорожку испортишь.

Дома за обедом Вёльфхен заявил:

— Папа, мне нужны деревянные башмаки.

— Деревянные башмаки? У тебя же есть кожаные!

— А у других есть деревянные...

Однако вечером отец пошел с ним покупать деревянные башмаки.

Следующий день был воскресенье. Вёльфхен явился уже к завтраку в своих сабо. Едва проглотив яйцо, он начал ерзать на стуле.

— Мама, можно?

— Потрудишься подождать, пока все кончат.

— Ох!.. Папа, можно я пойду?

— Беги, мой мальчик!

Вёльфхен побежал. Едва сделав два шага, он споткнулся, на третьем потерял один башмак.

Путь до горки занял вдвое больше времени, чем обычно. При виде Вёльфхена в сабо мальчишки с «Живодерки» ухмыльнулись. Все видели, что сабо новые.

Вёльфхен пустился с горки. Но его сабо оказались внизу намного раньше его, а Вёльфхен съехал вслед за ними на мягком месте.

Мальчишки наверху хохотали.

Вёльфхен забросил свои сабо и стал кататься в одних чулках.

— Эй, ты, порвешь носки, — кричали ему ребята.

— Подумаешь, — сказал Вёльфхен. — Большое дело!

— Ну, мне за это надавали бы по заднице, — сказал Хотте.

— Меня никогда не бьют, — ответил Вёльфхен и прокатился еще разок.

— Задавака! — решили мальчишки с «Живодерки».

Вёльфхен катался до тех пор, пока не остался совсем босой. Это был самый чудесный день в его жизни. А на следующий день его отвезли в больницу с двусторонним воспалением легких.

Когда фрау Швахула немного пришла в себя, она отправилась к родителям Хотте, чтобы пожаловаться на их сына. Она решилась на это без ведома мужа, который ни за что не позволил бы ей выразить свое возмущение подобным образом, тем более в отношении члена общины.

— Не мог ваш Хотте присмотреть за Вёльфхеном?! — накинулась она на них. — А еще ходит к нам играть. Вёльфхен болен очень серьезно! Ведь мальчик пришел домой босиком!

Фрау Дюркопп сочла уместным поднести к глазам передник и всхлипнуть: «Вот горе-то!»

Прикрывшись передником, она сделала господину Дюркоппу знак, который тот, против ожидания, сразу понял: необходимо выдрать Хотте на глазах у фрау Швахула, чтобы показать, как близко они принимают к сердцу ее несчастье.

Хотте чуть ли не сам вызвался на порку. Он понял намерение отца и громко вопил, хотя отец и бил его ладонью,

так что удары были звонкими, но почти не причиняли боли. Ведь должна же быть в семье солидарность!

Хотя фрау Швахула и видела собственными глазами, как близко принимают Дюркоппы к сердцу ее горе, она не чувствовала себя удовлетворенной. Неизвестно почему, у нее вдруг возникли сомнения, действительно ли господин Дюркопп такой уж преданный работник, каким его всегда считал ее супруг.

ПОРТРЕТ

Подвал, в котором они поселились в начале мая, после падения Берлина и окончания войны, находился в американском секторе.

Наружные стены дома, еще сохранившиеся до уровня пятого этажа, почти не пропускали солнечных лучей, и в глубоком подвале даже летом было прохладно. Его обитатели сколотили из разбитых дверей стол, стулья и четыре койки с маленькими навесами; дерева не хватало, поэтому навесы сделали в точности по длине и ширине нар. В земляном полу вырыли сток, по которому вода попадала в ближайшую воронку от снаряда, еще более глубокую, чем подвал.

Подвал был сухим, прохладным и удобным жильем, а крышей служил небесный купол.

Лишь в одном углу подвала возвышалась гигантская груда щебня и мусора вышиной более десяти метров; каждую ночь, а иной раз и днем, оттуда выбегала крыса, всегда одна и та же огромная жирная крыса, которой по непонятной причине этот подвал полюбился больше всех соседних.

Вилли, бывший слесарь завода «Сименс и Гальске», уже несколько минут стоял в раздумье перед грудой щебня, на которой кое-где в сырых местах уже проросла трава.

Господин Отто, семидесятитрехлетний доктор философии, улыбаясь, спросил Вилли, о чем он задумался; тот после безуспешных попыток вспомнить ответил: «Не знаю». Иногда у него вдруг наступали провалы в памяти, словно кровь отливала от головы. В районную подпольную группу, к которой принадлежал Вилли, входило семьдесят шесть человек; из них семнадцать сложили головы под топором

палача, а двадцать семь погибло в концентрационных лагерях.

После падения Берлина Вилли, окрыленный надеждами, сразу же явился в американскую военную администрацию, но его помощь отвергли так же, как и помощь других противников нацизма. Самым тяжелым ударом для Вилли было то, что на высоких постах оставались нацисты, против которых он, ежедневно рискуя жизнью, боролся тринадцать лет. На этот раз Вилли даже не ожесточился. Он как-то надломился внутренне. Отныне он с полным безразличием смотрел на все, что происходило в Германии.

Лицо Вилли, маленького коренастого блондина, избороздили глубокие морщины. А было ему только тридцать два года.

Вилли поднял голову и сказал доктору философии:

— Ага, вспомнил! Я подумал, что хорошо бы засыпать этот щебень двумя-тремя возами земли, тогда можно было бы здесь развести огород. Помидоры! Морковь! Есть-то что-нибудь нужно!

Доктор Отто, лежа на своей койке, читал засаленный том Шопенгауэра «Мир как воля и представление». Не подымая глаз от книги, он ответил Вилли:

— Нет.

— Как так нет?

— По-видимому, есть не нужно.

И он продолжал читать.

Этот философ перечитал и переварил все заслуживающие внимания книги, но сам он не написал ни одного философского труда. Он провел всю свою жизнь в кафе берлинской богемы, в парижском «Кафе де Дом», где ночи напролет с железной логикой разил своих противников; результаты этих диспутов время от времени, порой через несколько лет, обнародовались в философских журналах за подписью оппонентов доктора Отто. Утонченное честолюбие философа вполне удовлетворялось тем, что его идеи в такой форме становились общим достоянием. У доктора Отто не было никаких потребностей, поэтому ему не стоило никакого труда жить согласно нравственному закону, заложенному в человеке.

Рядом с ним на нарах, всецело погруженный в свою работу, сидел художник Г. Вольштейн. Он рисовал доктора Отто. Вольштейн рисовал с утра до поздней ночи. Он был

своего рода рисовальной машиной; пущенная в ход много лет назад, она рисовала все.

Во время войны в иностранной печати появилась статья о группе политически неблагонадежных немецких художников, которым запрещалось выставлять свои картины. Вольштейн принадлежал к их числу. Огненно-рыжие волосы ниспадали ему на лоб. Лица у него, собственно, уже не было — только нос и зеленовато-голубые глаза, светившиеся фанатическим блеском. Он был неподатлив, как стальная проволока.

В наступившей тишине по полу скользнула продолговатая серая тень и скрылась в отдаленном углу под нарами, на которых лежала Софи.

— Вот дерьмо, будь оно проклято!.. — Софи сказала это без всякой злобы, с глубочайшим равнодушием и даже не пошевелилась. Как-то с месяц назад, ненастной ночью, Софи вбежала в подвал, промокшая до костей, и улеглась на полу. С тех пор она тоже ютилась здесь.

Крыса высунула голову из-под нар, метнулась взад и вперед, словно запертая в клетке, затем вдруг ринулась через весь подвал обратно к груде щебня и, петляя, медленно вскарабкалась на самый верх.

Вольштейн несколькими штрихами зарисовал рядом с философом и крысу.

Софи вперевалку не спеша прошла из одного угла подвала в другой. Сначала она что-то вылила на мусорную кучу, затем преспокойно, словно так и надо, подняла платье чуть ли не до подбородка и расправила отрепье, служившее поясом для подвязок. Рубашки Софи не носила. У нее не было рубашки.

Философ, который за свои семьдесят три года не знал женщины, отвернулся, смущенно улыбаясь.

А Софи, держа подол в зубах, потуже затянула пояс; затем она опустила юбку.

Запечатлев это зрелище рядом с философом и крысой, Вольштейн серьезно сказал, обращаясь к самому себе: «Эта страница альбома становится все интереснее», — и продолжал трудиться над портретом философа.

Двадцатидвухлетняя Софи здоровьем и гибкостью поспорила бы с леопардом, зубы сверкали, как если бы их было не тридцать два, а шестьдесят четыре. Черты ее одичалого лица словно были выточены тонким резцом.

Ее забавляли «светские дамы», которые теперь отбивали хлеб у проституток.

Софи ни у кого не отбивала хлеб. Она не была гулящей девкой. Она вообще ничем не была. Она оставалась совершенно безразличной, если ее желал мужчина, и столь же безразличной, если ее никто не желал. Не все ли равно... Вилли иногда спал с ней. Она соглашалась — почему бы нет, раз уж Вилли этого хочется... Не все ли равно... Время от времени, возвращаясь с улицы, она приносила что-нибудь съестное или две-три марки и безмолвно клала на стол свой взнос в общую кассу.

Крыса беспокойно шныряла по гряде щебня, попискивая и возбужденно принюхиваясь, словно что-то искала. Стемнело. Освещения не было. К девяти часам все заснуло. Теперь крыса снова беспрепятственно хозяйничала в подвале.

В ту ночь над городом разразилась буря, которую потом долго вспоминали бездомные берлинцы. Во многих районах обрушились неукрепленные стены зданий, завалив подвалы и похоронив спящих жителей под обломками.

Гроза налетела с севера. Четверо бездомных скоро промокли, — навесы над койками не защищали от проливного дождя; тогда они поставили койки под углом к стене, как стремянки, и укрылись за ними. В оглушительных раскатах грома тонули все звуки. Последняя наружная стена пятиэтажного дома рухнула совсем беззвучно, рассыпалась мягко, как пенистый морской вал. Стена обрушилась в южную сторону и не завалила подвала.

На следующий день жаркое июльское солнце впервые несколько часов подряд пригревало мусорную кучу в углу подвала. Но только после двух знойных дней от нее пошел подозрительный запах.

По словам Вилли, ему уже не раз приходило в голову, что, по нынешнему времени, где завелась крыса, там и труп. Вооружившись киркой и лопатой, Вилли принялся разгребать груды мусора. Сначала он наткнулся на несгораемый шкаф весом в несколько центнеров, затем отрыл спинку кресла, а через минуту показалась голова.

Находка была настолько любопытной, что и другие обитатели подвала встали со своих коек. Не без интереса они наблюдали за тем, как Вилли откапывает труп.

Она сидела в высоком кресле эпохи Ренессанс, придвинутом вплотную к несгораемому шкафу. Это была

старая седая женщина, довольно грузная и, видимо, тучная. Она крепко вцепилась обеими руками в подлокотники кресла, как сидят у зубного врача. Темя у нее было продавлено. Глаза вытекли. На мертвой старухе еще сохранилась одежда: длинное черное шелковое платье, черные шелковые туфли и белые лайковые перчатки.

Вольштейн сказал, снова про себя: «Настоящее и очень красивое кресло ренессанс».

Стараясь не смотреть на труп, они долго обсуждали, возможно ли, что покойница загодя, до налета, укрылась в подвале, здесь ей размозжило голову, а потом засыпало обломками, или при попадании бомбы она находилась у себя дома и вместе с креслом, вместе с комнатой и несгораемым шкафом, вместе со всеми междуэтажными перекрытиями провалилась в подвал.

На этот раз и Вольштейн принял участие в разговоре:

— Дорогое старинное кресло в подвал не поставят. Да какая женщина, собираясь в убежище, наденет шелковое платье и белые лайковые перчатки?

Сначала философ слушал, улыбаясь растерянно и недоуменно, как человек, не решающийся вступить в разговор на такую тему, в которой его собеседники разбираются лучше. Наконец, он преодолел робость и сказал, протянув руку вперед, как бы готовясь защищать свою точку зрения:

— Хорошо. Допустим, что она сидела у себя в комнате. Но могла ли она, пролетев вместе с креслом сквозь все этажи, остаться как ни в чем не бывало в кресле, да еще в той самой позе, что и наверху?

Так им и не удалось решить эту задачу.

Софи, как всегда безучастная, не вмешивалась в разговор. Она только поглядывала на черные шелковые туфли старухи.

— Во всяком случае, надо заявить куда следует, — сказал Вилли, в котором вдруг неожиданно для него самого властно заговорило подсознательное чувство порядка.

Вольштейн задумчиво глядел вдаль. В этот миг нового творческого прозрения его ввалившееся лицо побледнело до синевы. Он остановил Вилли движением руки:

— Труп останется здесь.

Через несколько минут уже был установлен подрамник с натянутым на нем двухметровым холстом — единственным еще сохранившимся у художника. Вольштейн работал до тех пор, пока совсем не стемнело.

Ночью, поставив свою койку рядом с мертвой старухой, художник то и дело одним и тем же движением сбрасывал железной кочергой крысу, которая упорно пыталась добраться по креслу до ничем не прикрытой головы покойницы. В конце концов Вольштейн уселся на своей койке и бодрствовал всю ночь, держа кочергу в руке; нельзя было допустить, чтобы крыса повредила его натуру. Особенно важно было сохранить страшное выражение, застывшее на лице покойницы.

В пять часов утра он снова сел за мольберт. Все еще спали. Художник оставался с глазу на глаз со своей моделью, терпеливой, как сама смерть. Только к полудню крыса появилась снова. Мертвая старуха в черном покрытом пылью шелковом платье продолжала сидеть на самом солнцепеке.

Надо было торопиться. Вольштейн писал не отрываясь весь день. К вечеру в полном изнеможении он забылся глубоким сном. Через час он снова стоял перед мольбертом. Еще было светло. Художник сразу заметил, что исчезли черные шелковые туфли старухи; он озирался по сторонам и снова уставился в недоумении на босые ноги покойницы; скрюченные, они теперь напоминали пригвожденные ноги распятого Иисуса на запрестольном образе Маттиаса Грюнвальда.

Подошла Софи и показала пальцем на свои ноги в черных шелковых туфлях.

— В точности мой размер, а ей они уже ни к чему!

Софи спокойно сняла с гвоздя свою сумочку и пошла прочь из подвала в черных шелковых туфлях. Вернулась она только утром.

В три дня художник закончил картину. Фоном для нее служил Берлин: сотни тысяч домов, без крыш, с пустыми глазницами — развалины огромного города, а над ними и над миллионами мертвецов восседал труп на троне. Это уже не был портрет мертвой старухи. То было видение художника — образ второй мировой войны.

Вилли уже сообщил властям о находке в подвале. Пришли четыре человека. Сначала они с помощью сварочного аппарата вскрыли несгораемый шкаф. В нем нашли

множество пухлых пачек квитанций на взносы в организации «Сила в радости» и «Зимняя помощь»; квитанции были выписаны на имя покойницы, которая оказалась владелицей этого разрушенного дома.

Не выпуская из руки томака Шопенгауэра и заложив нужное место пальцем, философ с добродушной улыбкой указал на пачки квитанций:

— По-видимому, наша хозяйка даже последнего гроша не пожалела для своего фюрера.

Рабочие стали совещаться, как вывезти труп. Грузовик не мог подъехать к этому месту, — улица была сплошь изрыта глубокими воронками от снарядов.

Вилли сказал:

— Если вы снимете эту даму с кресла, она может рассыпаться у вас в руках. Лучше уж несите ее до грузовика в кресле.

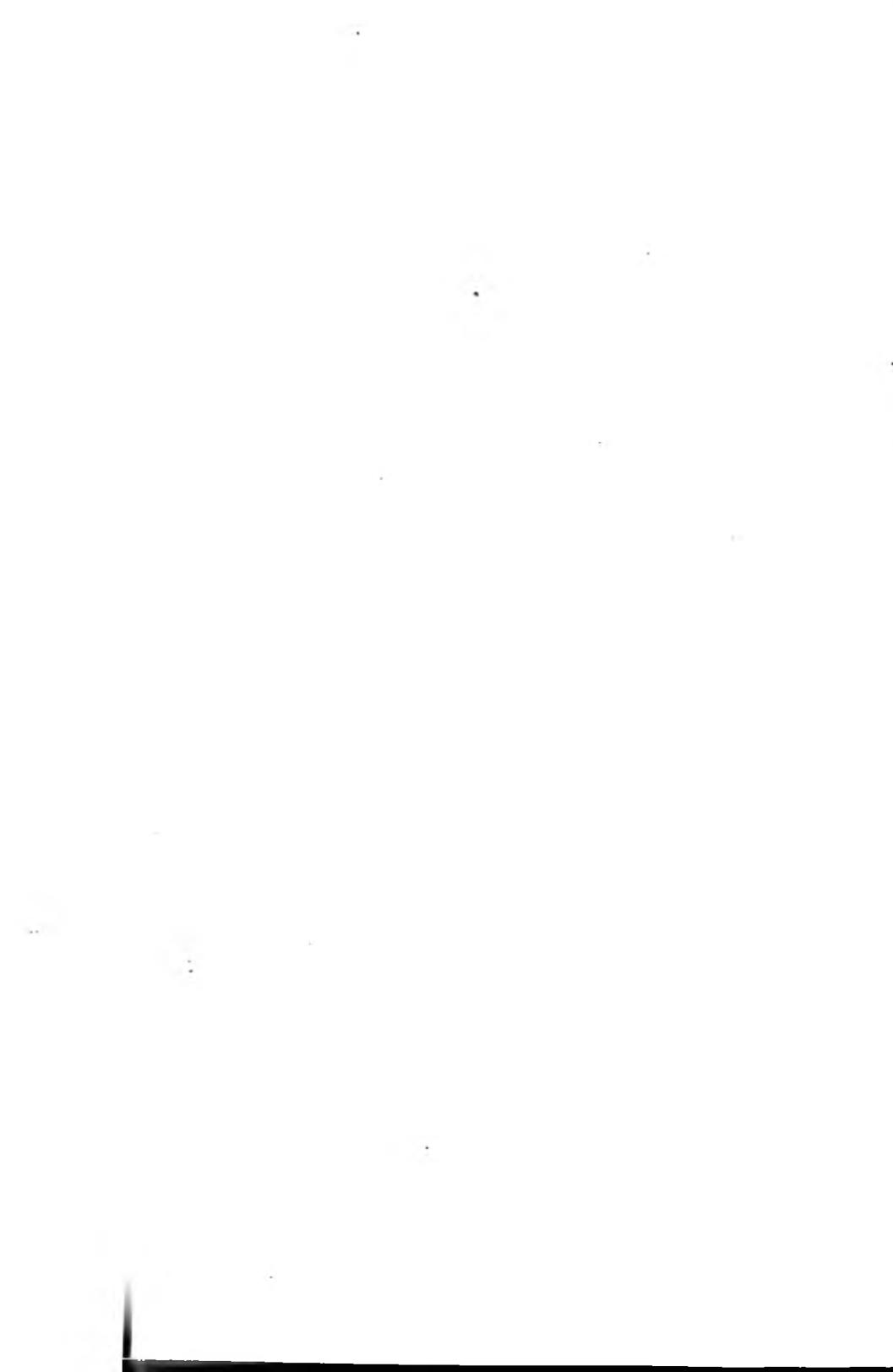
Точно так же, как носят по улицам римского папу, благословляющего человечество, — четверо носильщиков, положив на плечи длинные палки, понесли в кресле мертвую старуху, пробираясь через горы мусора, тянувшиеся по обеим сторонам дороги, там, где когда-то была улица и стояли дома.

Носильщики шли, спотыкаясь о нагроможденные камни; окоченелый, сросшийся с креслом мертвец чуть покачивался в такт их шагам. Фоном для этой картины тоже служил Берлин — разрушенные дома с разинутыми глотками мертвых окон, беззвучно рычащими: «Хайль Гитлер!»

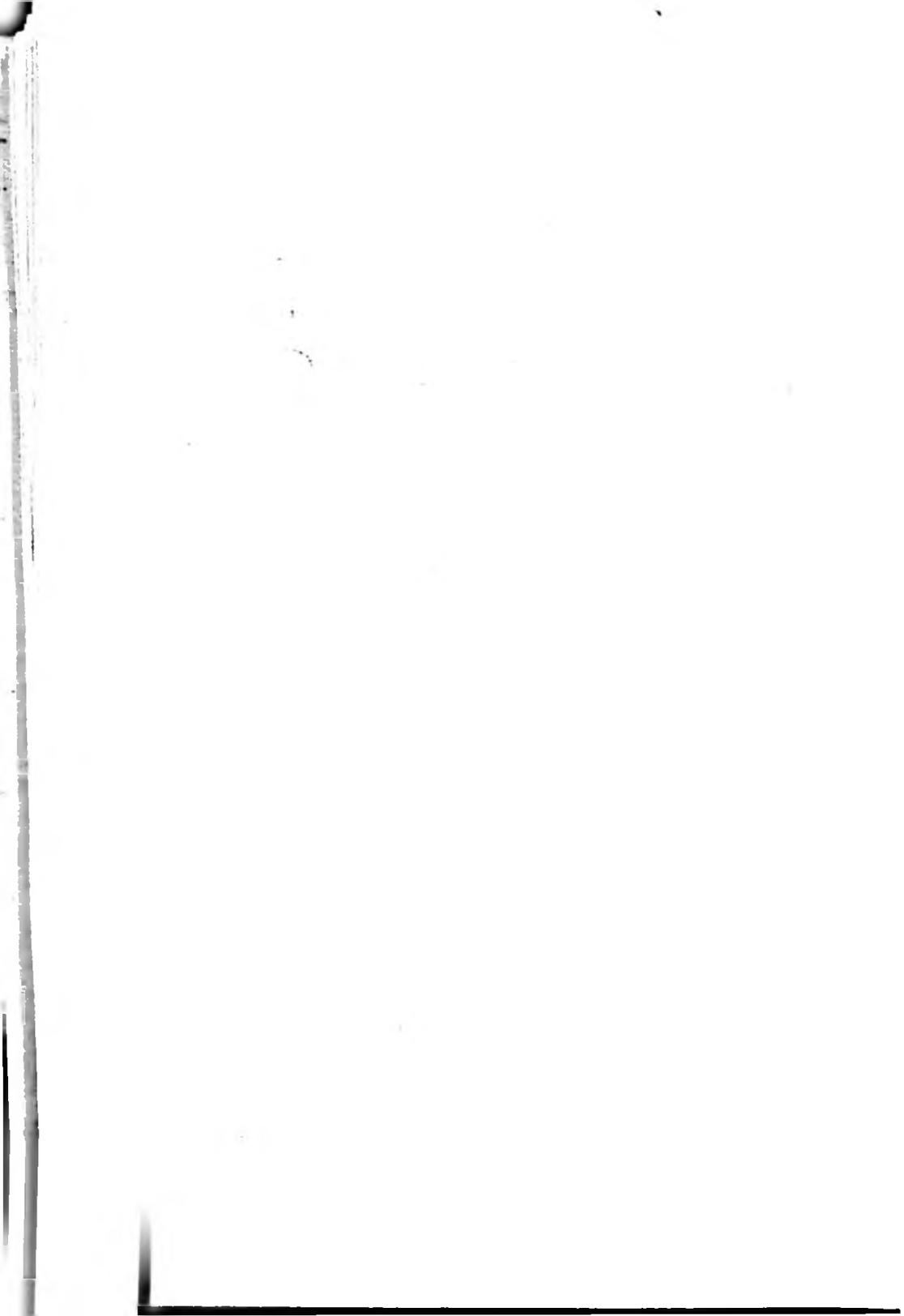
— А все-таки эту ямину, где сидела наша дама, надо будет мне засыпать. Хорошо бы всю эту пакость сейчас же подровнять с землей, чтобы я мог здесь разбить огород. Хотелось бы расположить его уступами. А вы как думаете? — спросил Вилли философа.

Философ, лежа на койке, читал «Мир как воля и представление»; он ответил, не подымая головы:

— О'кей.



3



МАТЬ ЖДЕТ НА МОНМАРТРЕ

Это был Париж. На ярко освещенных солнцем каменных ступенях, ведущих к Sacré-Cœur¹ на Монмартре, стояла женщина. Было очень жарко. По улице изредка проходили пешеходы. В церковном саду играли дети; женщины и безработные читали газеты и беседовали.

Женщина стояла на лестнице около каменной балюстрады и не спускалась вниз, чтобы отдохнуть на скамейке в тени.

Она стояла и смотрела на дорогу. Иногда она присаживалась тут же на ступеньку, но и тогда не теряла из виду дороги.

Она ждала. Ведь война закончилась. Из лагерей возвращались пленные, из лагерей с такими мрачными названиями, где они томились с того страшного года.

Война закончилась. Говорят, победоносно. А кто может радоваться? Пленные, которые должны вернуться? Они скорее заплакали бы со всеми вместе.

Мать стояла на ступенях Sacré-Cœur в Париже и смотрела на залитую солнцем улицу. Он должен прийти сюда. Так было условлено. В случае если с одним из нас что-нибудь случится, если придется уехать невесть куда и старый адрес окажется недействительным, тогда встретимся на Монмартре.

Ибо Монмартр, у подножия которого ты родился, будет стоять по-прежнему, как и эта белая церковь, возвышающаяся над Парижем, в которую мы часто ходили до того, как покинули Париж.

Там буду я стоять, сын мой, после войны и ждать тебя, если от тебя долго не будет вестей.

¹ Sacré-Cœur — Святое Сердце (франц.) — церковь в Париже.

Будь уверен, я буду там стоять.

Наши поля могут быть опустошены: кто знает, куда занесет нас судьба, поэтому договоримся о таком месте встречи, где было бы легко найти друг друга. Пусть это будет на Монмартре, под церковью Святого Сердца.

И вот мать терпеливо стоит и стоит там потому, что розыски еще ни к чему не привели.

«Это могло зависеть от тысячи обстоятельств. О Филиппе Шардроне в нашем списке не имеется никаких сведений. Его нет ни среди живых, ни среди мертвых. Он числится среди многих тысяч пропавших без вести.

Конечно, голубушка, вы правы, куда-нибудь они должны были подеваться. Пропавшие без вести где-нибудь да находятся. Человек весом в шестьдесят-семьдесят килограммов просто так испариться не может, как капля росы или дождя на солнце. И не могли они все умышленно стать невидимыми или спрятаться. Да и зачем им отворачиваться от родины и отправляться куда-нибудь в другое место, скажем, в Россию, и из Филиппа Шардрона превратиться в Петра Ивановича, или Чезаре Понтине, или Фридриха Августа Шульце? Такие фокусы возможны в отдельных случаях. Но за правило это принимать нельзя. Есть много причин, почему возвращение задерживается при существующих обстоятельствах; незачем все их перечислять, большинство из них вы можете угадать сами. Итак, мы надеемся, голубушка, что вы вооружитесь терпением. У нас записано его имя, полк, батальон, рота и номер его опознавательного знака. Видите, вот оно все в специальной папке под буквой «Ш». Как только что-нибудь станет известно, мы сразу вас найдем. И заметьте: коль скоро на человека заведена папка, где указаны все данные, пройдет немного времени — и человек объявится. Вы не поверите, это даже смешно, иногда проходит всего лишь две недели, а иногда несколько месяцев и больше, но только это очень действенное средство, все равно, что в мышеловку положить кусочек сала, мышь почует запах и — готово, она уже здесь».

Так утешали мать во всех учреждениях, куда она обращалась. И всюду, откуда бы она ни выходила, оставался лист бумаги за номером, в папке или без оной, все это было уложено в сотни папок и рядком выставлено на полках по стенам. Полки были сверху донизу уставлены этими папками и картонными коробками, их было так много, что

полки приходилось ставить посредине, так, что к столам, стоящим в глубине комнаты, с трудом можно было протиснуться. В комнатах от этого было темно, но над каждой полкой горела электрическая лампочка, словно искра надежды. Она горела как для тех, чьи имена покоились в этих папках, так и для тех, кто принес сюда их имена, оставив при этом и свое собственное.

Мать обошла множество учреждений и думала: это я делаю для моего Филиппа. Прежде чем пойти на Монмартр, он постучится сюда и узнает, что я существую, что я его не забыла, узнает, где я живу.

Выйдя на улицу, она оборачивалась и смотрела на серое низкое здание, которое больше не было чужим для нее, потому что в нем осталось кое-что от ее Филиппа. Правда, он не жил в нем, но все-таки что-то от него жило там. Ему там было отведено место, и она исполнила свой материнский долг. Скоро она придет туда справиться, как обстоят дела.

После этих посещений мать чувствовала себя мужественнее и веселее шла домой, в бедную комнатку, которую она сняла для себя в городе. И каждый встречный солдат чем-то напоминал ей ее сына, Филиппа Шардрона. Все они походили на пчел, которые жужжат над полем цветов, опускаются то на один цветок, то на другой, в чашечке которого спрятан мед, предназначенный и приготовленный для них.

И весь огромный Париж казался ей таким полем, где и для ее Филиппа приготовлен цветок. Знай, мой мальчик, твоя мать тебя не забыла. Ж-ж, ж-ж, пчелка, ж-ж.

Проходили дни. Проходили недели. В матери не расцветала безумная надежда искателя приключений, который, создав себе иллюзию, бросается куда-то в надежде найти самородок и роет и копает, но ничего не находит... Надежда рушится. Разочарование приводит его в неистовство. Он кусает себе руки от досады и ярости.

Мать не была искательницей приключений. Она ждала, как пахарь ждет дождя. Он знает свою землю, он ее обрабатывает. Он знает, что зерно покоится во взрыхленной пашне. Нет только дождя. Земле нужен дождь, и небо для того и существует, чтобы послать его. Землю обрабатывают, потому что знают — дождь должен быть. Все зависит от него, от этого обязательного дождя... Пахарь ждет его, как необходимое звено в цепи. Правда, могут наступить

тяжелые, засушливые времена, они бывают, хотя и редко. Но, несмотря на это, пахарь живет, работает, верит — дождь будет.

Так ждала мать, обработав свое поле. Она верила: земля принесет плоды.

Иногда она покидала свой обвеваемый ветрами наблюдательный пункт на Монмартре и шла вниз в кишаший людьми город не для розысков нового учреждения, а для того, чтобы послушать, что происходит вокруг, разузнать, как обстоят дела у других, а также для того, чтобы заглушить в себе нечто непонятное, что иногда непроизвольно дает о себе знать: боль, страшную, невыносимую боль, такую, что она вдруг заливалась слезами и рыдала, сама не зная почему. Она шла в гущу толпы, стояла на площадях, где продавали цветы, бродила по набережным и все высматривала.

Иногда она бегала к вокзалам. Люди возвращались с востока и с севера. Возвращались и с юга, так как война распространилась и на другие части земного шара и разбросала людей повсюду. Да, все еще прибывали поезда, привозившие людей домой. Нагруженные вещами, выбирались они из душных вагонов, в которых ехали дни и ночи, иные еще и теперь спали там, забившись в уголок, и не замечали, что они уже у цели. А иные еще не приехали, им еще нужно ехать дальше, куда-то в другое место. Эти продолжали спать, так как думали, что после короткой остановки поедут дальше. Но всем приходилось выбираться из душных вагонов, вагоны останутся в Париже, их проветрят и уберут. И еще не известно, в каком направлении эти пассажиры поедут, когда и с какого перрона. Словом, вон из вагона со всеми своими пожитками!

И тогда многие располагались прямо на перроне в надежде поспать хоть тут. Но их поднимали и посылали в залы ожиданий и в специальные помещения, приспособленные для сна еще в прошедшие военные годы. Там, в этих комнатах, где друг над другом стояли железные койки и раздавался храп, люди бросались на матрацы и засыпали, и тоже храпели, и ожидали своего поезда.

На вокзалах творились необычайные вещи... Среди множества военных сновали санитары с носилками, проталкиваясь к походным лазаретам. Кто там на этих носилках, очень бы хотелось узнать. Куда его везут? В какой госпи-

таль? Хотелось бы все это знать, но где уж... Разве узнаешь?

Возвращались военнопленные и гражданские, которые, может быть, были солдатами, но уже успели сменить свою форму в каком-нибудь гарнизоне, куда им выслали штатский костюм, или они оставили его там раньше, до выступления. Встречались и такие, что были отправлены на принудительные работы в Германию, но Филипп не мог находиться среди них, он настоящий солдат, он не стал бы работать на чужих. Множество людей: солдаты и штатские, мужчины и женщины. Бессмысленно наблюдать за всеми.

Конечно, возможен такой случай — неожиданно обращаешься, и вдруг рядом стоит Филипп! Вдруг оказывается, что именно он тот человек, который там напротив у киоска покупает газету, складывает, сует в карман и направляется к тебе.

Можно поступить и иначе. Пройти вокзал насквозь, как будто без всякой цели, остановиться около расписания поездов, изучать их прибытие и отбытие по этой линии, и как знать, кто остановится рядом? Кто ловит рыбу, должен все испробовать, часто менять место и пытаться забрасывать удочку всюду. Рыболовы говорят: только не терять терпения, и вот мимо плывут рыба за рыбой, как вдруг удочка вздрогнет, леска туго натянется и потонет — рыба клюнула.

Нет, эта мать не унывала. Если у рыболова хватает терпения для того, чтобы поймать рыбу, то сколько же терпения будет у матери, которая ждет и ищет своего любимого, единственного сына.

Она была терпелива. Она знала, что обработала свое поле и дождь будет.

Сын держал птиц и золотых рыбок. Рыбки давно погибли, и она не пустила в аквариум ни одной новой. Но обоих зябликов, веселых зеленых птичек, она привезла в клетке в Париж, кормила их и ухаживала за ними ради сына. Когда она возвращалась после поисков домой, обе птички порхали, приветствуя ее. Поднималось волнение, суматоха, щебетанье и радостный писк, она наливала им свежей воды, наполняла кормушки, посыпала чистый песок. А потом она разговаривала с ними, докладывала им о прошедшем дне. Она не рассказывала им ничего печального, а только всякие разности о том, что видела. Птички

Приходило в голову и что, по ее мнению, могло быть интересно и понятно этим маленьким созданиям.

Она говорила им, например, что на улице жарче, гораздо жарче, чем здесь в комнате, но здесь душно и нужно бы открыть окно, если только люди с верхних этажей не будут именно сейчас вытрясать ковры. Она докладывала им о том, что случилось сегодня на вокзалах; сколько людей, лошадей и вагонов скопилось на привокзальной площади. Просто невообразимо! И ведь все что-то делают. Хотелось бы знать, что именно каждый делает и куда спешит и почему все так спешат. Только те, что сидят за столиками перед кафе, позволяют себе несколько спокойных минут и пьют свой аперитив и курят сигареты; да, эти ведут себя благоразумно, а то каждый ищет что-то, и обязательно на другой улице, на другой площади, потому что они и бегают то туда, то сюда. А полицейские все это регулируют... Они держат в руках белую палочку и следят за порядком. С одной стороны через дорогу идут одни, а с другой, навстречу им, спешат другие. Но вот этим опять понадобилось на ту сторону, где они только что были. Иногда хочется пойти за ними посмотреть, что там такое, что они там ищут, но они уже идут дальше или садятся в автобус.

Так бегают люди по Парижу, и все это знают, поэтому и понастроили на всех улицах магазины с витринами и выставками, которые приманивают людей, заставляя наконец-то остановиться, выбрать себе что-нибудь, войти в магазин и купить. Есть красивые вещи, но по большей части очень дорогие. Потом люди идут дальше.

В конце концов они, наверное, сядут подкрепиться, так как эта беготня очень изнурительна.

Из-за того, что они все время бегают, трудно кого-нибудь встретить, когда нужно.

Только начальники спокойно сидят в учреждениях в приемные часы, которые указаны у них на дверях. В кабинетах тишина, много народа ожидает, а служащие все записывают, чтобы можно было наводить справки, и тогда есть надежда что-либо узнать.

О нашем Филиппе еще нет никаких известий. Но они теперь знают меня и очень любезны со мной. Приходят и другие женщины, которых я уже знаю. Мы все знаем

Женщина смотрела на это и вникала и думала. Как тяжело, как трудно выносить ребенка и поставить его на ноги. Но еще труднее вновь обрести сына, которого потеряла.

Филипп, мой Филипп. Его отняли у меня, и теперь я будто вновь произвожу его на свет! О, какие жестокие муки! Как мне больно!

На улице стоят и разговаривают. Да, многие бежали из плена и пробилась в маки к партизанам. Они говорят, что ее сын был смелый юноша, — конечно, Филипп был смелый юноша, — они убедились в этом. Многие пробилась в маки, чтобы отплатить нацистам. А там, там... Что это означает — «а там»? Там было, как на войне. Там боролись. Кто знает, чем это кончилось для многих. Многие были схвачены нацистами или вишистской милицией.

— О чем это? Какое мне до этого дело?

— Я просто рассказываю, чтобы вы были ко всему готовы. Во всяком случае, если один из них вторично попался им в руки, можете себе представить, как с ним поступали.

— Какое мне до этого дело?

Она заперлась в своей комнате, заткнула уши, кляня людей, которые рассказывали ей такие истории. Потому что эти истории, услышанные однажды, продолжают звучать в уме и сердце и переворачивают душу.

Мой мальчик, ведь тебя они не схватили. Ты не попался им в лапы. Ведь с таким же успехом могли сказать, что ты на самолете перелетел в Африку и до сих пор служишь там в иностранном легионе, так как не знаешь, куда податься, — но Филипп ведь знает, где я живу и как мы условились поступить, если потеряем друг друга.

Уже пятнадцать лет у меня нет ни мужа, ни дочери, это мой единственный сын. Что я им сделала? Что я им сделала? Почему они хотят отнять у меня сына?

В какой момент начинает колебаться вера? Отчего может зародиться в душе сомнение? Когда рушится дом, значит, что-то случилось с фундаментом. Что может поколебать веру?

Меня только успокаивают, говорит себе мать. Нас обманывают. Многие больше уже не приходят справляться. Я вижу все новые лица. Те либо нашли своих сыновей, либо отказались от поисков. А я, я? Что я буду делать? Я откажусь от поисков? Если я... если я не найду Филиппа,

если он не вернется — тогда мне конец, конец Луизе Шардрон. Я не хочу об этом думать, этого не может быть, но тогда — мне конец.

И кошмарные дни надвинулись на нее. Они не были похожи на те дни, когда она вставала, чтобы там последить, здесь поспросить, осмотреться и занять где-то свой наблюдательный пост. Это уже не были те несложные и пустые дни, когда ты могла заполнить их, чем хотела. О нет. Теперь они будили тебя скрежетом и лязгом, чтобы заранее, когда на улице еще тихо, известить, что наступил новый день. И потом они наполняли мешки камнями и ржавым железным ломом, который со страшным шумом высыпали на землю к твоим ногам, чтобы напугать тебя еще сильнее, чем ты была напугана, чтобы выставить тебя, выгнать, принудить тебя убежать, и им не было никакого дела до того, что камни и железо обрушиваются тебе на ноги.

Да, а когда наступал вечер, они давали себе полную волю и громыхали железным ломом, в то время как в доме стояла мертвая тишина и ты сидела, думала и смотрела на милых птичек. Ты вздрагивала, ты молила, ты кричала: «Потише, что с вами, с ума вы сошли?» Они высыпали весь груз, все нечистоты на твою голову, они старались задавить, удушить тебя, пока ты в изнеможении не падала на свою кровать, заливаясь слезами. И так каждый день. Каждый день они терзали тебя. Каждый день, как только будили тебя своим скрежетом.

Я не хочу больше стоять у церкви. Мои старые кости устали. Я хочу днем побыть у себя в комнатке, полежать и лишь изредка выходить на Монмартр. Лишь изредка. Я хочу лечь и побыть немного с его любимыми птичками и послушать их. В них есть что-то от него.

Но вот я опять около церкви. Вечер, стало прохладно. Почему же я все-таки пришла сюда? Какой смысл тащиться сюда и часами простаивать, как все эти долгие месяцы, и ждать его, хотя я не знаю, может быть, его уже...

Я брежу? Что я говорю?

Он не придет. Он не придет. Это же ясно. Ты стоишь здесь, как дерево осенью, которое еще тянется голыми ветвями к воздуху, к солнцу. Но у дерева нет больше листьев. Что же могут сделать его голые ветви?

Надо стоять. Только стоять.

И она стояла и держалась прямо, долго не открывая глаз, и казалось, будто она стоя заснула, но она не спала, она стояла и ждала своего сына, который где-то лежал больной или раненый, хотел прийти к ней, очень, очень хотел, но не мог, он был слишком далеко.

Он рассказывал ей о том, что было давно; иной раз ему было только семь лет и она отводила его в школу, иной раз он был старше и она гордилась им, а когда умер отец, он остался ее единственной опорой и утешением; он работал в поле и делал все. По воскресеньям они вместе шли в церковь, и он был краше всех. После обеда приходили соседи, беседовали, молодежь шла танцевать.

Мать открывала глаза и смотрела в пустоту. Город тонул в серебристом тумане.

Что может случиться с матерью и ее ребенком? Они вместе, они одно целое. И как не может сердце выпасть из груди, так не может ребенок быть оторван от матери. И когда я стою здесь или сижу в своей комнате, ты со мной, как и я с тобой. Я притягиваю тебя к себе, когда вдыхаю воздух. И ты, ты торопишься ко мне, ты держишься за меня потому, что ты тоже не можешь быть без меня.

А потом она стояла в своей комнате, смотрела на птичек, они порхали, а она кормила их; и опять бросалась на кровать, чтобы заснуть в ожидании нового дня.

Я не могу больше. Я не вынесу этого.

В Париже, когда наступило перемирие и продолжительная война наконец кончилась, многие засутились. Один праздновал, другой хотел привести в порядок свой дом; иные возвращались на родину, осматривали повреждения, лазили кругом и ругались. Но было много и таких, которые искали.

Стояла на холме белая церковь, казалось, блестящая града облаков спустилась с неба и встала над улицами Парижа; ее видно было издали, она словно витала над городом.

Холм Монмартр, церковь Sacré-Cœur.

Там много недель, удрученная горем, стояла мать.

Она не уйдет, пока в груди бьется сердце.

Нет смысла ждать.

Нет смысла ждать.

Все кончено навеки.

АНТОНИО, ЧЕЛОВЕК СО СТРАННЫМИ МАНЕРАМИ

Мое лекционное турне по Америке было утомительным, я чувствовал себя измотанным и мечтал о сельской тишине и своем домике на юге Франции. Покончив с делами в Штатах, я сел на первый же пароход, отплывавший в Европу. Пароход был небольшой, но оказался гораздо удобнее, чем я ожидал. Как хорошо было слоняться по палубе, как хорошо было лежать, растянувшись в шезлонге, и смотреть на волны, как хорошо было съесть свой обед, не чувствуя себя обязанным вести разговоры с множеством людей!

Мешала лишь одна глупая мелочь: меня раздражал мой кельнер. Это был человек лет сорока, приземистый и большоголовый; черные волосы росли у него с середины лба, низкого, изрезанного морщинами, лицо было четырехугольное и слегка приплюснутое, нос маленький, вдавленный, глаза карие, выразительные и угрюмые. Его можно было принять за испанца или португальца; во всяком случае, английским языком он владел неважно, мои приказания на немецком тоже понимал плохо и приносил не то, что я заказывал. Движения его были неловки; этому грузному человеку трудно было лавировать во время качки, когда он шел по ресторану с подносом, уставленным посудой.

Пассажиры бранились или с насмешливой покорностью пожимали плечами при виде этого нескладного человека. Я же помалкивал, хоть и не скрывал иногда своего недовольства. Препираться с кельнером не имело смысла.

Старший стюард, человек энергичный, разумеется, замечал нерасторопность своего подчиненного. Он извинился передо мной и пояснил, что взял этого человека в самую последнюю минуту, не успев узнать его как следует, и что,

как только мы придем в порт, он тут же его уволит. При других обстоятельствах я, пожалуй, возразил бы ему и сказал бы успокаивающе: «Ну, не так уж все это плохо, потерпите еще немножко» — или что-нибудь в этом роде. Но оттого, что усталость и раздражение от поездки по Америке давали себя знать, неловкость кельнера выводила меня из терпения, и я сухо ответил: «И правильно делаете».

Сообщил ли старший стюард о нашем разговоре кельнеру Антонио — он назвал мне его имя, — так и не узнал. Но мне казалось, что после этого разговора Антонио смотрит на меня с тоскою, горечью и укоризной, словно не ждал от меня такого поступка. У меня и раньше появлялось иногда неприятное ощущение, будто Антонио относится ко мне так, словно мы с ним каким-то странным образом связаны.

Столь необычное выражение дружбы-вражды, которое я, как мне казалось, читал на мясистом печальном лице Антонио, все больше удручало меня. Проще всего было бы откровенно и прямо поговорить с ним, но это казалось мне чересчур смешным. Вместо этого я в душе упрекал себя, что плохо отозвался тогда об Антонио. Если его уволят, винить он, разумеется, будет меня, но незаслуженно: бесполок Антонио так бросалась в глаза, что если бы я и вступился за него, то все равно не смог бы изменить решения старшего стюарда. Однако, хотя рассудок и оправдывал меня, в глубине души я чувствовал себя виноватым. Совесть моя была нечиста, и удовольствие от приятной поездки исчезло.

Через несколько месяцев дела привели меня на короткое время в Париж. Стоя перед светофором в ожидании, когда красный сигнал сменится зеленым, я увидел на задней площадке медленно проезжавшего мимо меня автобуса чем-то знакомого мне человека с крупным и горестно озабоченным лицом. Достаточно было нескольких секунд, и я вспомнил, что это Антонио.

И сразу же с прежней силой во мне проснулись ощущения, волновавшие меня на пароходе, страхи и мелкие тайные чувства, которые пробудила во мне вся эта история, восстановившая против меня Антонио. И снова я почувствовал угрызения совести.

Я твердил себе, что Антонио, вероятно, давно уже забыл о случившемся, если и придавал ему какое-либо зна-

чение. Что он, наверное, нашел место, более для него подходящее. Что я глупец. Но никакие доводы рассудка не могли заглушить неприятного чувства, жившего где-то в самой глубине моей души. С трудом удалось мне разузнать его адрес, и я написал ему, чтобы он зашел.

И вот он появился у меня, все такой же нескладный и угрюмый, а я никак не мог понять, чего ради навязал себе эту неприятную встречу. Антонио же, казалось, ничуть не был удивлен и даже как будто ждал, что я его позову. Ничего подобного он, разумеется, не сказал, но этот неповоротливый человек в большей степени, чем иной великий актер, обладал способностью выражать свои мысли и чувства с помощью жестов и мимики. А слова буквально приходилось вытягивать из него.

В конце концов я спросил его напрямик, считает ли он меня в какой-то степени повинным в его увольнении. Он хмуро посмотрел на меня, удивившись ненужному вопросу, и с обычной немногословностью промямлил: «Конечно».

Много ли потерял он из-за этого, спросил я, ведь профессия кельнера для него не совсем подходящее дело. Он не согласился, более того, возразил мне, что любит свою профессию, а когда я удивленно и недоверчиво посмотрел на него, снисходительно проговорил: «Вы как писатель должны бы это понимать». И загадочно добавил: «Я интересуюсь людьми», — как будто это так просто. «С ними нужно сближаться». Сначала я решил, что не понял Антонио из-за его дурного французского языка, и снова обратился к нему: «Что вы сказали?»

— Сближаться надо, — уже совершенно отчетливо повторил он.

Вид у Антонио был потрепанный, очевидно, ему жилось неважно. Выяснилось, что он служит швейцаром в каком-то сомнительном ночном кабаке на Монмартре. Виновником его падения — он не сказал этого, но ясно выразил на своем лице — был, разумеется, я.

Совесть моя не слишком огрубела, но не была и чрезмерно изнеженной. Нельзя, конечно, толкать падающего, и то, что я сказал тогда о нем старшему стюарду, возможно, было не очень гуманно. И все же слова мои не причинили Антонио зла, его и без того уволили бы.

Размышляя таким образом, я услышал вдруг свой голос:

— Послушайте, Антонио, я мог бы предложить вам работу у меня. Вы были бы вроде дворецкого, да и в доме,

где бывает много людей, работа всегда найдется». — Что за вздор я нес? Что это за невероятная глупость? Антонио был мне совсем не нужен.

И все же я почувствовал тайное облегчение от того, что предложил ему место, что дело уже решено и отныне Антонио будет находиться при мне.

Впрочем, все произошло так, как и следовало ожидать. Работы для Антонио в моем доме нашлось немного. Большую часть дня он слонялся без дела. Но он старался быть чем-нибудь полезен и при всей своей неразговорчивости и угрюмости не скрывал своей явной симпатии ко мне.

Летом на южный берег Франции толпами начали съезжаться друзья и знакомые, и мне волей-неволей пришлось принимать много гостей. Летняя праздность обитателей нашего городка порождала множество сплетен и мелких страстишек, которые вызывались завистью и ревностью, и не всегда было легко решить, кого принимать, а кому отказать от дома. Антонио, обычно такой неловкий, проявлял при этом неожиданный ум и такт. Докучливых он отваживал, слишком застенчивых привечал и вообще обнаруживал способность выполнять самые деликатные поручения.

В конце лета в нашем маленьком городе появилась женщина, с которой мне приходилось иногда встречаться в Берлине, Париже и Лондоне. Никогда не уделял я ей особого внимания. Но теперь, на юге, да еще летом, я уже не мог оставаться к ней равнодушным. Кларисса вдруг показалась мне самой желанной из всех женщин на свете.

Я увидел ее в первый раз в маленьком людном кафе красивого и шумного порта. Ее окружали поклонники, и я был почти лишен возможности поговорить с ней. Потом я встретил ее в парке на одном празднике, обставленном с чисто снобистским примитивизмом. Говоря откровенно, я пошел туда в надежде ее увидеть. На этот раз мне удалось поговорить с ней подольше. Она была чуть обижена тем, что я раньше не обращал на нее внимания, кокетничала со мной и старалась вскружить мне голову.

Я понимал очень хорошо ее намерение, но не испугался и настоятельно попросил о свидании в один из ближайших дней, так как она вскоре уезжала. Она не отказала, хотя и не могла или не хотела дать мне определенного ответа: у нее якобы здесь нет под рукой блокнота

с расписанием всех ее дней. Кларисса жила в горах, в доме, предоставленном ей ее другом; телефона там не было. Зайти же к ней ненароком, без предупреждения, она мне не разрешила. В конце концов мы условились, что я пошлю к ней кого-нибудь.

Это дело было как раз для Антонио. Однако я не мог не заметить, что, когда я назвал имя Клариссы, он слегка вздрогнул.

— Вы знаете эту даму, Антонио? — спросил я.

— Я часто видел ее в городе, — ответил Антонио. Он старался придать своему лицу равнодушное выражение, как и подобает в таких случаях хорошему слуге, и все же я заметил, что Кларисса ему не нравится. Я строго внушил ему, что заинтересован в этой встрече, и добавил, что согласен на любой час, который назначит мне Кларисса.

Когда я вернулся домой и стал нетерпеливо расспрашивать Антонио, он по своему обыкновению угрюмо ответил, что Кларисса еще ничего не решила и приказала ему прийти завтра.

На следующий день Антонио снова отправился к Клариссе. Вернувшись, он заявил мне, что не застал ее. Дом был заперт, а на соседней ферме ему сказали, что эта дама с самого утра уехала с подружкой к морю купаться. Я ничего не ответил, но в душе огорчился. Это был опять прежний Антонио, неловкий и неуклюжий.

— Завтра я сам поеду туда, — заявил я.

Однако на другой день оказалось, что с автомашиной что-то не в порядке и я не могу на ней ехать, а оба городских такси находились где-то в пути, и вызвать их было невозможно. Мне не оставалось ничего иного, как снова послать Антонио. Я не очень удивился, когда и на этот раз он вернулся ни с чем.

Наконец Кларисса уехала из нашего городка, и я так с нею и не увиделся. Не кто иной, как Антонио, сообщил мне о ее отъезде, и не без злорадства. Я не смог удержаться, чтобы не сказать ему:

— На сей раз вы особенно отличились, Антонио.

Я редко бранил Антонио: это было бесполезно: но когда случалось делать ему замечание, он придавал своему лицу то озабоченное выражение, которое было мне знакомо еще со времени поездки на пароходе. Однако теперь я такого выражения не увидел, он даже заявил мне:

— Если бы я действительно захотел, то ваша встреча с мадам Клариссой состоялась бы. Но, по-моему, так будет лучше.

Ни в его взгляде, ни в тоне не было ни капли наглости; слова его звучали, как осторожное напоминание о чем-то, как деловое и серьезное констатирование факта. Мне захотелось вышвырнуть его из дома; в то же время у меня было такое ощущение, словно я должен перед ним оправдаться. Охотно спросил бы я, почему он считает, что так лучше. Но вместо этого я осведомился:

— Вы знали мадам Клариссу раньше?

— Нет, — не колеблясь, ответил Антонио.

Я помолчал немного, потом с глупой насмешливостью заметил:

— Вот вы и показали свое умение сближаться с людьми.

— Напротив, — спокойно и без тени обиды ответил Антонио. — Но я ее видел.

Я не произнес больше ни слова. Мне казалось нелепым, что он хотел по лицу прочитать всю подноготную человека. И все же его спокойный тон меня почему-то тронул.

Месяца два спустя пришло письмо от Клариссы. Она упрекала меня за то, что я не даю о себе знать. Она писала, что живет теперь в Париже, и спрашивала, когда я снова туда приеду. Но мое влечение к ней уже угасло, я весь ушел в работу, да и странные слова Антонио никак не выходили у меня из головы. Я ответил ей любезным, ни к чему не обязывающим письмом.

Зимой я услышал о Клариссе от моего друга профессора Роберта. Роберт был милейший человек, энтузиаст, всегда немного восторженный, и он с увлечением писал мне о Клариссе.

Те годы были насыщены политическими событиями. Роберт, как и я, был подданным государства, в котором захватили власть враги свободы и приверженцы насилия. Эти люди ни перед чем не останавливались и питали лютую ненависть к своим противникам. Роберт был человек тихий и безобидный, но не отличался осторожностью и никогда не скрывал своих свободолюбивых взглядов. Эти люди его тоже ненавидели. И все же я был глубоко потрясен, когда прочитал, что Роберт арестован за антигосударственную деятельность. Он был кем угодно,

только не радикалом, и трудно было поверить, чтобы он, как писали газеты, проводил активную революционную работу. Однако его враги с торжеством заявили, что у него найдены документы, неспоримо доказывающие его виновность.

Я стал разузнавать, что же, собственно, произошло. Наш общий друг, человек, которому абсолютно можно было верить, сообщил мне, что документы, погубившие Роберта, были подброшены ему Клариссой.

Как выяснилось потом, Кларисса проделывала это уже в третий раз.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Предисловие	5
Манфред Билер «Птичник». <i>Перевод Е. Дубровинской</i>	21
Вилли Бредель История автослесаря Лю Фэн-хао и студентки Лин Пи-фань <i>Перевод Л. Иноземцева</i>	32
Бертольт Брехт Старая шляпа. <i>Перевод Э. Львовой</i>	40
Марианна Брунс Все мы люди. <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	43
Рудольф Вейс Первый вечер. <i>Перевод Е. Яновой</i>	50
Стефан Гейм. Бацилла. <i>Перевод И. Бобковской</i>	60
Анна Зегерс Крисанта. <i>Перевод И. Каринцевой</i>	77
Вольфганг Йохо Предательство. <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	101
Катарина Каммер Другого пути нет. <i>Перевод Б. Арон</i>	109
Пауль Кёрнер-Шрадер Иоганн Вильке читает книгу. <i>Перевод Р. Ковнер</i>	122
Карл Мундшток До последнего солдата. <i>Перевод Л. Лежневой</i>	129
Гейнер Мюллер Железный крест. <i>Перевод В. Золотовой</i>	151
Хильдегард М. Раухфус Гастроль. <i>Перевод Е. Яновой</i>	153

Ирена Рихтер-де Врое Полицейский вахмистр Ротдорт возвращается на родину. <i>Перевод Н. Барабановой</i>	167
Франц Фюман Однополчане. <i>Перевод В. Стеженского</i>	184
Гаральд Хаузер У подножия Спящего Рыцаря. <i>Перевод Н. Португалова</i>	223
Стефан Хермлин Командантша. <i>Перевод А. Бару</i>	239
Рейнгард Хёне Сладкая горечь ночных теней. <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	251
Эрвин Штриттматтер И все это ради пяти баянов? <i>Перевод В. Золотовой</i> .	262
Ганс Бендер Июньская ночь. <i>Перевод М. Пакович</i>	269
Генрих Бёлль Приключение. <i>Перевод Э. Львовой</i>	272
И был вечер, и было утро... <i>Перевод Э. Львовой</i> . . .	278
Вольфганг Борхерт Вдоль по длинной, длинной улице. <i>Перевод С. Раскиной</i>	286
Готгольд Глогер Долги платить — в мире жить. <i>Перевод Э. Львовой</i> . . .	305
Зигфрид Ленц Невидимый сосед. <i>Перевод Н. Высоцкой</i>	322
Ганс Пумп Субчик. <i>Перевод Н. Португалова</i>	326
Бернард Ритгоф Вёльфхен Швахула. <i>Перевод Н. Высоцкой</i>	353
Леонгард Франк Портрет. <i>Перевод Е. Гиндина</i>	361
Альфред Дёблин Мать ждет на Монмартре. <i>Перевод Е. Яновой</i>	371
Лион Фейхтвангер Антонио, человек со странными манерами. <i>Перевод В. Стеженского</i>	381

СОВРЕМЕННЫЕ НЕМЕЦКИЕ
РАССКАЗЫ

Редактор *И. Н. БОБКОВСКАЯ*
Художник *Е. Б. Бельская*
Технический редактор *Н. И. Смирнова*

Сдано в производство 30/1 1959 г.
Подписано к печати 16/V 1959 г.
Бумага 84 × 108^{1/2} = 6,1 бум. л.
20,1 печ. л. Уч.-изд. л. 19,8
Изд. № 12/3259. Цена 11 р. 40 к.
Зак. 97

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Москва, Ново-Алексеевская, 52.

Типография № 2 им. Евг. Соколовой
УПП Ленсоппархоза.
Ленинград, Измайловский пр., 29

БИБЛИОТЕКА ИГПИ

Инв. № 38070.

1959 г.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Выходят в свет

Вринаванлал Варма, Рани Джханси,
роман, перевод с хинди.

Поттекат, Новеллы, Сборник, перевод
с малайлам.

Вуолийоки Хелла, Юстина, пьеса, пе-
ревод с финского.

Палумбо Нино, Налоговый инспектор,
роман, перевод с итальянского.

Джурович Душан, В тени гор, сбор-
ник рассказов, перевод с сербохор-
ватского.